

Евгений
Тарле



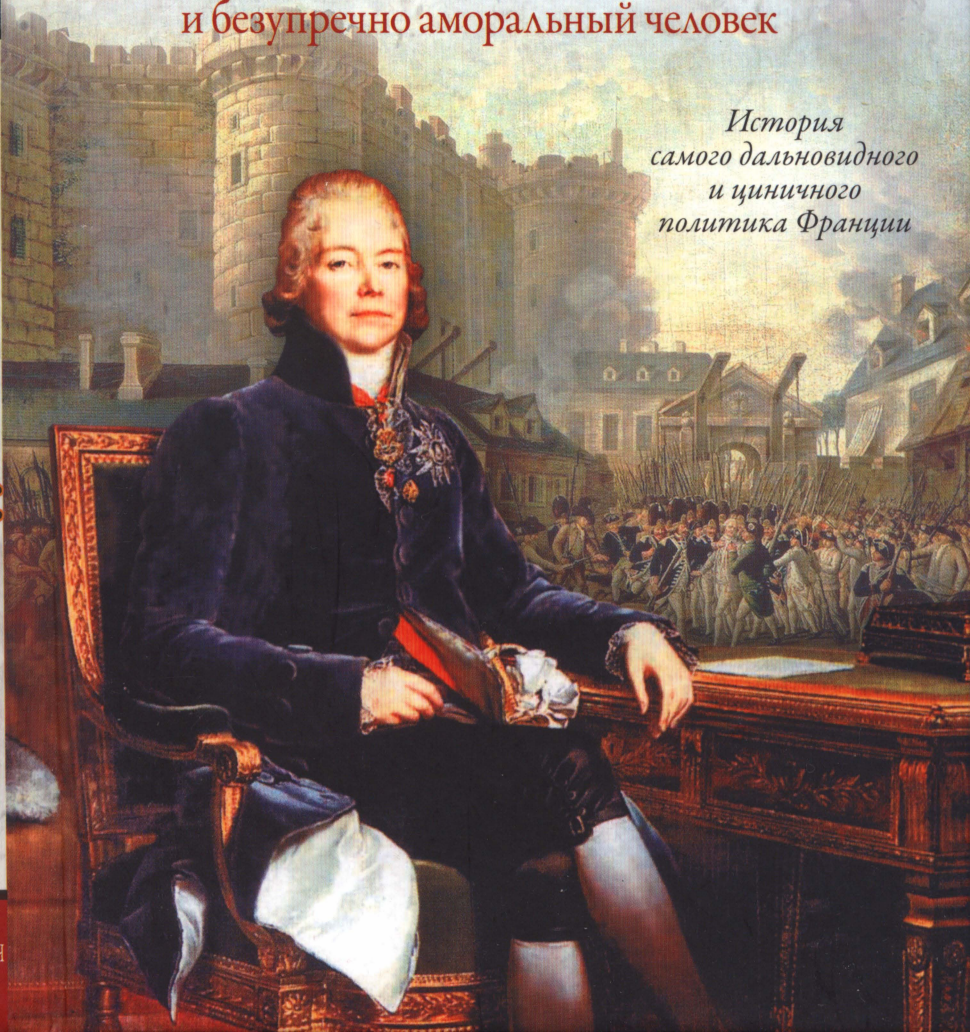
■ Евгений Тарле ■

ТАЛЕЙРАН

Великий, талантливый
и безупречно аморальный человек

*История
самого дальновидного
и циничного
политика Франции*

ТАЛЕЙРАН



ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Евгений
Тарле

■ Евгений Тарле ■

ТАЛЕЙРАН

УДК 94(44)(092)
ББК 63.3(4Фра)-8
Т20



Компьютерный дизайн С.В. Шумилина

Подписано в печать 14.01.10. Формат 84×108¹/₃₂.
Усл. печ. л. 18,48. Тираж 2500 экз. Заказ № 141

Тарле, Е.В.

Т20 Талейран / Евгений Тарле. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА,
2010. — 348, [4] с.

ISBN 978-5-17-057577-0 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-403-02719-9 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

Шарль-Морис де Талейран-Перигор.

Выдающийся европейский политический деятель конца XVIII — первой половины XIX вв.

Его имя стало нарицательным для определения гениального и циничного политика-конформиста, с легкостью меняющего взгляды и убеждения и процветающего при любом политическом режиме.

Он вовремя признал революцию, свергнувшую монархию.

И так же своевременно встал на сторону набравшего силу Наполеона, а потом — примкнул к противникам императора.

Талейран сохранял добрые отношения с Англией даже в эпоху Наполеоновских войн, блистал во время Реставрации Бурбонов, но предал их незадолго до падения.

Е.В. Тарле, обратившийся к образу Талейрана в своем известном историческом исследовании, отвечает на вопрос — что же руководило этим человеком?

Беспринципность, доведенная до высокого искусства?

Или политическая дальновидность и обостренное чувство реальности?

УДК 94(44)(092)
ББК 63.3(4Фра)-8

© Е.В. Тарле, наследники, 2009

© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

ГЛАВА I

Талейран — дипломат раннего буржуазного периода

1

Раньше чем перейти к рассказу о жизни и характерных свойствах этого человека, остановимся на вопросе: каково было отличие талейрановской дипломатии от традиционной деятельности его предшественников, старых виртуозов этого искусства? В немногих словах это отличие может быть охарактеризовано так: Талейран был дипломатом восходящего буржуазного класса начинавшегося периода буржуазного владычества, победоносного наступления капитала и крушения феодально-дворянского строя, и именно Талейран первый уловил, в каком направлении следует видоизменить старые дипломатические навыки.

Следует сказать, что новая история дипломатии поддается точному изучению, в сущности, лишь с XIV—XVI столетий, с образования и постепенного усиления больших «национальных» государств, когда впервые стали возможны крупные внешние столкновения между державами. Во времена мелких феодальных драк между по-

мещиками — государями раннего средневековья — дипломатии в феодальной Европе в точном смысле слова почти не существовало. Полная фактическая независимость феодалов от призрачной центральной королевской или императорской власти превращала Европу в средние века (до XV—XVI столетий) в конгломерат из нескольких тысяч карликовых «государств», непрерывно ссорившихся, мирившихся, снова дравшихся, снова мирившихся, и все это с непосредственной целью урвать лишний кус земли, или ограбить соседний замок, или угнать скот, принадлежавший чужой деревне.

В XIV—XVII вв., когда социально-экономические перемены создали крупные государства, когда буржуазия стала уже поднимать голову и кое-где (в Голландии, потом в Англии) определенно влиять на дела, когда широко развернулась погоня европейских держав за заморскими богатыми странами, когда захват и раздел Америки, Индии, Индонезии стал на очередь дня, когда развилась борьба за преобладающую роль в Европе — искусная дипломатия как средство земельных захватов, как «инструмент» подготовки войны в наиболее выгодных условиях стала считаться могущественным орудием успеха для любого из соперничавших государств. Но именно на истории дипломатии этих последних предреволюционных столетий мы наблюдаем любопытнейшее подтверждение справедливости старинного изречения о том, что часто «мертвый хватает живого», что старые навыки далеко не сразу уступают место новым приемам и что иной раз основные условия работы давно изменились, а работающие не хотят или не в состоянии этого понять.

Возьмем наиболее ярких представителей старорежимной дипломатии. Если исключить гениального шведа,

канцлера первой половины XVII в. Акселя Оксеншерну или Ришелье, то что нас поражает и в Шуазеле, французском министре середины XVIII столетия, и в графе Вержене, и в талантливом австрийском канцлере Каунице, не говоря уже о людях средних? Все они, руководители политики великих держав, сплошь и рядом ведут себя как прежние майордомы, «палатные мэры», или как добрые, brave, рачительные приказчики одного из бывших феодалов-помещиков. Понимание постоянных длительно действующих исторических потребностей государства им почти всегда чуждо. Это люди сегодняшних капризов и настроений их повелителя. И вместе с тем слова «двор» и «правительство» для них всегда и во всех отношениях совпадают так же, как слова «двор» и «государство». Они служат абсолютному монарху, но лишь постольку, поскольку сам этот абсолютный монарх служит дворянству, аристократической, крупноземлевладельческой верхушке. Горе ему, если он попробует хотя бы робко отклониться от этой линии! Когда Иосиф II, император австрийский, вздумал только коснуться крепостного права, его дипломаты предали и продали его. Когда глава португальского правительства министр Помбаль попробовал проводить самые умеренные буржуазные реформы, португальские дипломаты за его спиной стали подкапываться под его политику и прозрачно намекать и англичанам и испанцам, что хорошо бы сократить слишком ретивого реформатора. Внешняя политика дипломатии в этой отрасли государственной службы попала в прочное потомственное и вполне монопольное обладание к аристократическим родам; их представители, естественно, долго смотрели на эту монополию как на незаменимое средство поддерживать интересы своего класса всеми могущественными силами государственной внешней политики.

И вот, сперва при революции, потом при вышедшем из недр революции военном диктаторе Франции, а вскоре и повелителе Европы, на сцене, в одной из первых ролей в великой исторической драме, появляется утонченный, проницательнейший, талантливый аристократ, который сразу же вполне безошибочно предугадывает неизбежную политическую гибель своего собственного класса и полное торжество чуждого и антипатичного ему лично класса буржуазного. Он знает наперед, что в этой борьбе будут всякого рода остановки, попятные шаги, новые порывы, новые превратности в борьбе сторон, и всегда предугадывает наступление и правильно судит об исходе каждой такой схватки. Это чутье всегда заставляло его вовремя становиться на сторону будущих победителей и пожинать обильные плоды своей проницательности. Что такое «убеждения» — князь Талейран знал только понаслышке, что такое «совесть» — ему тоже приходилось изредка слышать из рассказов окружающих, и он считал, что эти курьезные особенности человеческой природы могут быть даже очень полезны, но не для того, у кого они есть, а для того, кому приходится иметь дело с их обладателем. «Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное», — учил он молодых дипломатов, которым напоминал также, что «язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли».

Но предавая и продавая по очереди за деньги и за другие выгоды всех, кто пользовался его услугами, менявшийся, как хамелеон, не продавший на своем веку только родную мать (да и то, по выражению одного враждебного ему журналиста, исключительно потому, что на нее не нашлось покупателей), князь Талейран, по существу, не изменял только прочно победившему, чуждому ему лично буржуазному классу, и именно потому, что считал победу

буржуазии несокрушимо прочной. Даже когда он совершил в 1814 г. очередное предательство и стал на сторону реставрации Бурбонов, он изо всех сил старался втолковать в эти безнадежные эмигрантско-дворянские головы, что они могут сохранить власть и исключительно при том условии, если будут своими руками делать нужную новой послереволюционной буржуазии политику. И только изредка по мимолетным личным соображениям и он подпевал роялистским реакционерам.

Но Талейран оказался человеком нового, буржуазного периода не только потому, что всю жизнь, изменяя всем правительствам, неуклонно служил и способствовал упрочению всего того, чего достигла крупная буржуазия при революции и что она старалась обеспечить за собой при Наполеоне и после Наполеона. Даже в самых приемах своих, в методах действия Талейран был дипломатом этого нового, буржуазного периода. Не аристократический «двор» с его групповыми интересами, не дворянство с его феодальными привилегиями, а новое, созданное революцией буржуазное государство с его основными внешнеполитическими потребностями и задачами — вот что обозначал Талейран термином «Франция». И он знал, что все эти затейливые придворные и альковные интриги, все эти маскарадные послышки эмиссаров и негласных сотрудников, все эти расчеты на влияние такой-то любовницы или на религиозное суеверие такого-то монарха, что все эти ухищрения и погрешности дипломатии XVIII столетия теперь хотя и могут быть с успехом пущены в ход, но что наступило время, когда нужно больше считаться и у себя и в чужой стране с банкиром, а не с королевской фавориткой, с биржевыми облигациями, а не с перехваченными интимными записочками, с дуэлями, где дерутся при помощи таможенных тарифов, а не при помощи рапир.

Сообразно с этим он и действовал непосредственными словесными заявлениями, нотами, меморандумами, посылкой официально аккредитованных дипломатических представителей и старался влиять при этом либо (впрочем, совсем уже редко) демонстрацией готовности к военным действиям, когда это было уместно, либо ловким, своевременным проведенным маневром сближения с той или иной великой державой. И в этом он оказался замечательным мастером. Слуга буржуазного государства, Талейран отличался от дипломатов старой школы, абсолютно не понимавших, что первая половина XIX столетия не очень похожа ни на середину, ни даже на конец XVIII в.; он нисколько не походил и на русского канцлера Карла Васильевича Нессельроде, который гордость свою полагал в том, что был всю жизнь верным слугой и прислужником Николая I.

Талейран не похож и на Бисмарка, который все-таки не изжил до конца некоторых вреднейших для дипломата буржуазной эпохи иллюзий. Бисмарк, например, долго думал (и говорил), что франко-русский союз абсолютно невозможен, потому что царь и «Марсельеза» непримиримы, и когда Александр III выслушал на кронштадтском рейде в 1891 г. «Марсельезу» стоя и с обнаженной головой, то Бисмарк тогда только, уже в отставке, понял свою роковую ошибку, и его нисколько не утешило глубокомысленное разъяснение этого инцидента, последовавшее с российской стороны, — что царь имел в виду не слова, а лишь восхитительный музыкальный мотив французского революционного гимна. Талейран никогда не допустил бы такой ошибки: он только учел бы возможный факт расторжения русско-германского пакта и справился бы вовремя и в точности о потребностях русского казначейства и о золотой наличности французского бан-

ка и уже года за два до Кронштадта предугадал бы, что царь без колебаний почувствует и одобрит музыкальную прелесть «Марсельезы».

Поскольку Талейран, совершенно независимо от своих всегда своекорыстных субъективных мотивов, способствовал упрочению победы буржуазного класса, постольку он объективно временами играл положительную, прогрессивную историческую роль. Его личные качества возбуждали негодование, смешанное с омерзением. Он многим казался каким-то «духом зла». Член Французской академии Брифо при общем смехе саркастически утверждал, будто дьявол сказал Талейрану, когда тот, прибыв после смерти в ад, явился к нему с визитом: «Милейший, благодарю вас, но сознайтесь, что вы все-таки пошли еще несколько дальше моих инструкций!» Но нас больше интересует другое.

Талейрана стали усердно поминать после Первой мировой войны, и поминают чаще всех именно критики современных дипломатов. «И не стыдно Жоржу Боннэ, который сидит в кресле великого Талейрана, что он был так позорно обманут Гитлером!» — читали мы в январе 1939 г. во французской радикальной печати. Тут все неверно. Во-первых, министр иностранных дел в кабинете Даладьё Жорж Боннэ вовсе не был «обманут» Гитлером, а сознательно и с полнейшей готовностью сговорился с Гитлером и умышленно ему помог. Он, а затем Лаваль просто продали Францию немецким фашистам. Во-вторых, нынешний критик действий Жоржа Боннэ не понимал (или не хотел понять), что Талейран жил и действовал в годы круто идущего в гору капиталистического развития, в годы начавшегося и быстро прогрессирующего расцвета буржуазного класса Франции, когда этот класс еще мог и хотел отстаивать свои интересы и претензии перед лицом бур-

жуазии других стран всеми имеющимися у него средствами: то огнем и мечом, то дипломатическим искусством. И тогда к этому классу шли на помощь самые могучие воины, самые блестящие дипломаты, самые нужные ему таланты во всех сферах политической деятельности, — к нему шли Наполеоны и Талейраны. А теперь это класс, который уже думает не о борьбе с чужой буржуазией, но часто о союзе с ней, чтобы вместе ударить на общего врага — на пролетариат, идущий на смену буржуазии. Вчера хватались за союз с Гитлером, сегодня за союз с нью-йоркской биржей. Дело вовсе не только в различии размеров умственных средств, дело вовсе не в том, что сравнивать в области дипломатического искусства, в отношении дальновидной проницательности, хитрости и тонкости того же Жоржа Боннэ, или Рейно, или Даладье, или Леона Блюма, или Бидо с Талейраном — приблизительно то же самое, что сравнивать, например, в области поэзии Тредьяковского с Пушкиным. Дело в совсем разных заданиях, которые представила могучая, молодая, хищная, алчная буржуазия своим слугам в начале XIX в. и которые дряхлая, трусливая, чующая конец, разбогатевшая, пресытившаяся, трясушаяся над своим бумажником французская буржуазия ставит им сейчас.

Нельзя требовать от человека, чтобы он одерживал дипломатические победы, когда его в лучшем случае напутствовали такими словами: «Делай вид, что борешься с врагом, с Гитлером, но помни, что очень сильно его бить все-таки не следует, потому что он, чего доброго, и всерьез может грохнуться на землю, а без него что мы тогда будем делать с мировой революцией?» Или когда ему внушают, что нужно делать вид, что ты в союзе с Советской державой, однако помнить, что этот союз кое-каким могущественным биржам неприятен и что поэто-

му должно при случае обнаруживать по отношению к СССР вражду и даже наглость. Традиции лукавства, непрерывных и разнохарактерных обманов, полной бессовестности, предательского нарушения и буквы и смысла самых торжественных трактатов и обещаний — все это благополучно передавалось буржуазным дипломатам от Талейрана через поколение в поколение вплоть до сегодняшнего дня. И уже поэтому советский читатель, который никогда не должен забывать о капиталистическом окружении, имеет основание желать, чтобы его ознакомили с исторической фигурой Талейрана и с его биографией.

Но, знакомясь с этим в самом деле абсолютно аморальным индивидуумом, читатель должен помнить, что история вырыла непроходимую пропасть между объективными и результатами деятельности Талейрана и результатами ухищрений его нынешних последышей.

«Социальный заказ», который буржуазия Франции некогда дала Талейрану, был по самому существу исторически прогрессивен; «социальный заказ», который она дала и дает талейрановским потомкам, повел прямо и непосредственно в черную ночь подчинения озверелому фашистскому деспотизму и в пучину ярого мракобесия. Талейран помогал буржуазии хоронить феодальное средневековье — и ему суждены были успехи. Его позднейшие наследники времени до Второй мировой войны стремились во имя спасения той же буржуазии круто повернуть историю вспять и изо всех сил помогали в Европе фашистским варварам, которые нагло воскрешали наихудшие стороны того же давно сгнившего средневековья. Немудрено, что этих последышей постигали на их безнадежном пути только позорные неудачи и разочарования. У Талейрана были два основ-

ных воззрения, руководствуясь которыми, как путеводным маяком, он и совершал последовательно свои всегда выгодные ему лично измены. Вот как можно эти воззрения формулировать.

Во-первых: удержать или реставрировать дворянско-феодальный строй во Франции конца XVIII и начала XIX столетия абсолютно невозможно. Поэтому он изменил монархии Людовика XVI и перешел в 1789 г. на сторону буржуазной революции, а затем вторично изменил Бурбонам и перешел на сторону буржуазной июльской монархии Луи-Филиппа после победоносной июльской революции 1830 г.

Во-вторых: создание всемирной монархии путем завоевательных войн, подчинение всех европейских монархий французскому самодержцу есть предприятие несбыточное, абсурдное, которое должно окончиться провалом и катастрофой для Франции. Поэтому он изменил Наполеону сначала (1808—1813) тайно, а потом (в 1814 г.) открыто и перешел на сторону врагов императора.

Как оценка реальной исторической ситуации, оба эти основные воззрения Талейрана были по существу правильны и были оправданы действительным ходом событий, и он сам, заметим, хочет ими же объяснить всю свою политическую биографию. Он только при этом скромно умалчивает о том, что никогда не служил этим своим двум основным идеям прямой борьбой, а всегда долги-ми тайными подкопами, за которые получал вознаграждение от тех, в пользу которых он вел свою подрывную работу, одновременно продолжая получать в изобилии все блага земные и от тех, под кого подкладывал свои мины, кого предавал и продавал и кого при случае даже намеренно сбивал с толку своими всегда корыстными советами.

Чем дальше потомство удалялось от времен Талейрана, тем больше мысль новых поколений останавливалась на доказанной исторически правильности отмеченных двух воззрений Талейрана и тем больше забывались его методы действия, позорные стимулы личного его поведения, абсолютное (без единого исключения) игнорирование чего бы то ни было похожего на совесть. Престиж конечной победы его основных воззрений и постоянный личный его успех как-то совокупно повышали всегда, а особенно к концу жизни, его авторитет в глазах буржуазной массы не только Франции, но и всей Европы и Америки.

ГЛАВА II

Талейран при «Старом порядке» и революции

1

Фигура князя Талейрана в памяти человечества осталась в том кругу людей, которые если и не направляли историю по желательному для них руслу (как это долго представлялось историкам идеалистической и особенно так называемой «героической» школы), то являлись характерными живыми олицетворениями и действующими лицами происходивших в их время великих исторических сдвигов.

Характеристика, которую я попытаюсь тут дать, не преследует и не может преследовать цели представить вполне исчерпывающую картину событий, дающих материал для выяснения исторического значения личности Талейрана.

Мы ставим в центре внимания вопрос о причинах широко распространенного безмерного преувеличения в буржуазной литературе исторической роли французского дипломата и о том, на какое действительное место в истории дает Талейрану право сколько-нибудь научно обоснованный анализ материалов, относящихся к его личному вмешательству в события.

Нельзя пройти прежде всего мимо одного любопытнейшего факта. Можно назвать ряд исключительных людей, которые иной раз признавали замечательные умственные способности Талейрана, а иной раз отрицали их. Начиная от Наполеона, считавшего, что Талейран удобен, очень способен, ловок, но что настоящего государственного ума и широты мысли у него нет, продолжая Луи Бланом, Пальмерстоном, Герценом, не говоря уже о Карле Марксе, — эти замечательные люди, совсем друг на друга не похожие, время от времени чувствовали побуждение сказать приблизительно то, что так ярко сказано у Энгельса в статье «Начало конца Австрии», где Талейран признается наряду с Меттернихом и Луи-Филиппом одним из подходящих посредственных людей «для нашего посредственного времени», хотя они и «являются в глазах немецкого бюргера теми тремя богами, которые в течение 30 лет управляли всемирной историей, как кукольным театром на веревочках»¹.

А. Герцен почти в одно время с Энгельсом и совершенно независимо от него писал в своем дневнике в июне 1843 г.: «Талейран доказал, наконец, что плутовство не значит гениальность»². Герцен только решительно ошибся, прибавив в том же дневнике, но в другом месте (и тоже в связи с Талейраном): «Плутовство в дипломатии осталось мерзкой привычкой — оно невозможно»³. Увы! Оно оказалось весьма «возможным» вплоть до новейших времен. В молодом Герцене говорили еще романтизм и оптимизм, попозже он бы этого не сказал.

И те же мыслители и выдающиеся люди в другие минуты и по иным поводам высказывались об уме Талейрана совсем по-другому, признавали за ним ум тонкий и обширный, поразительную проницательность и остроумие. Тот же Герцен, например, всегда поминает Талейрана как синоним высокоодаренного дипломата⁴.

В чем же секрет этих противоречивых отзывов? Прежде всего, конечно, в естественной реакции против нелепых преувеличений роли личного вмешательства Талейрана в исторические события. Сравнивая Талейрана с каким-либо в самом деле совсем посредственным Друэн-де-Люисом, министром Наполеона III, Маркс издевался над претензиями восторженных хвалителей Друэн-де-Люиса, которые осмеливаются сопоставлять его с Талейраном⁵. Но когда Маркс или Энгельс читали, что Талейран и Меттерних — «боги», делающие по своему произволу всемирную историю, то, естественно, они чувствовали законную потребность как можно резче квалифицировать этих «богов». Или когда Наполеону почтительно намекали, что без мудрого Талейрана не обойтись, то император, долгие годы ежедневно наблюдавший своего покорного царедворца и знавший, что ни одной творческой инициативы ни во внутренней, ни во внешней политике империи не изošло от Талейрана, тоже чувствовал, как впоследствии другие, потребность поставить на место своего «великолепного» министра. Но вещи познаются сравнением, и подобно тому как впоследствии Маркса сместило, когда обыкновенного дипломата Друэн-де-Люиса осмеливались уподоблять Талейрану, так и Наполеон сказал уже перед смертью, что Талейран был самым умным из всех министров, которых он когда-либо имел. Сухая, неэмоциональная, часто как бы мертвенная натура Талейрана совсем лишена была творчества, лишена была идейных, не узколичных стимулов, и уже поэтому истинно государственным умом его никак нельзя назвать. «Великие мысли происходят от великого чувства», — сказал в XVII столетии Ларошфуко. А никаких «великих чувств», которые владели бы Талейраном, управляли бы его стремлениями и планами, у него не было никогда и в помине, если, конечно, не говорить о планах и

предначертаниях, продиктованных ему личными, карьеристскими соображениями. Но если у него не было «великих чувств», то он одарен был могучим, вечно бдительным, совершенно безошибочным инстинктом самосохранения, который всегда вовремя давал ему предостережения. Талейран этим инстинктом распознавал, где сегодняшняя сила, и где у кого будет сила завтра, и спешил без колебаний перейти на ее сторону. А так как он делал свою карьеру именно в политике, то это инстинктивное предвидение, будившее в нем всю энергию мысли, на какую только он был способен, указывало ему наиболее верную (т.е. лично ему выгодную и лично его ограждающую от опасностей) политическую дорогу.

Но так как он жил в пору великой буржуазной революции, потом буржуазной империи, потом бессильных, обреченных на провал попыток феодально-дворянской реакции подавить крепнущую с каждым десятилетием буржуазию, потом в годы окончательно восторжествовавшей крупной буржуазии при Луи-Филиппе, то князь Талейран, епископ Отенский, отвернулся от своего класса, обреченность которого он понял, и стал служить чужому классу, которому суждено было историческое торжество.

На биографии Талейрана легче всего проследить этапы этой борьбы отживающего класса с тем, который идет ему на смену. Легче и удобнее всего именно потому, что никаких сомнений, угрызений, раскаяний в этой долгой жизни мы не найдем и следа, и, смотря на историю как на непрерывную игру сил, Талейран лишь с недоумением и пренебрежением взирал на тех, кто не сразу перебежал на сторону победителя, а еще задерживался и мучился какими-то совсем непонятными ему колебаниями. Его измены, переходы из одного лагеря в другой, все эти манипуляции, которые он проделывал с необычайной легкостью

«без борьбы, без думы роковой», — все это было отчетливыми вехами в истории «становления» буржуазии, начиная от того времени, когда устами Сиейеса она впервые провозгласила, что должна быть «все», вплоть до того момента, когда Казимир Перье и Гизо торжественно поздравили ее с конечным достижением этой цели.

Творческого, конструктивного ума у Талейрана не было вовсе, и в этом отношении он не идет ни в какое сравнение с такими, например, его современниками, как Тюргово в Франции, или М.М. Сперанский в России, или Джордж Каннинг в Англии, чтобы уже не поминать о совсем исключительных индивидуальностях. От названных только что деятелей Талейрана отличает не только их преданность известной идее, их бескорыстное служение тому, что они, правильно или неправильно, считали благом для государства, но и способность этих умов давать инициативные толчки законодательству, предлагать и проводить новые предназначения во внутренней или внешней политике, прокладывать новые пути для видоизменения правительственного механизма. Ничего даже отдаленно похожего за Талейраном никогда не было. Громадная хитрость, природный поразительный такт, тонкость, инстинктивная чуткость, понимание людей (особенно врагов) — все это у него было, хотя тут нужно тоже внести оговорки: Александра I, например, он никогда в точности не понимал и из-за этого иной раз попадал впросак.

Известный французский критик и историк литературы Сент-Бёв в своих статьях о Талейране тоже не склонен сверх меры восторгаться мудростью князя. Напоминающая о совершенно неудачном пророчестве Талейрана касательно испанского похода французских войск в 1823 г., Сент-Бёв пишет: «Когда говорят о непогрешимой мудрости г. Талейрана, слишком охотно забывают его речь (о вой-

не 1823 г.). Но в отношении предсказаний люди вспоминают только те из них, которые оправдались»⁶.

Несравненно реже предвидение Талейрана изменяло ему, когда дело шло о его карьере и его непосредственных интересах, но и тут иной раз ему случалось попадать в беду. Достаточно вспомнить о том, как в 1815 г. (после Ста дней) он хотел только сманеврировать, пригрозив Людовику XVIII своей отставкой, а тот взял да и принял эту отставку совершенно всерьез, и на пятнадцать лет Талейран, к величайшему своему удивлению и огорчению, был отстранен от всякого участия в политической деятельности.

Мы упомянули выше имя Тюрго. Ведь Тюрго, старший современник Талейрана, тоже понял (гораздо раньше Талейрана), что французская монархия губит себя, все тесней и тесней связывая свои исторические судьбы с судьбой дворянства, не желающего расставаться со своими привилегиями. Тюрго тоже считал, что растущая буржуазия — класс, которому принадлежит будущее, и Тюрго пошел и в своих законодательных проектах и в своей административной практике по тому пути, который он считал спасительным для Франции и для монархии. И когда враждебная ему дворянско-придворная реакция во главе с Марией Антуанеттой сломила его, он ушел в отставку и в ссылку и после своего скоротечного (1774—1776) министерства навсегда удалился от дел. Но можно ли себе представить, что перед угрозой отставки Тюрго вдруг перебежал бы на сторону королевы и придворной своры, окружавшей ее, и стал бы немедленно разглагольствовать в духе, противном всем своим убеждениям, и все это затем только, чтобы его не лишили его звания и сопряженных с ним доходов?

Прошло ровно сорок лет со времени отставки Тюрго. Давно уже в могиле Тюрго, давно уже гильотинированы король и королева и многие из их окружения, отгремели

громы революции и наполеоновской эпопеи. Перед нами Париж 1814 г. На престоле снова только что вернувшиеся Бурбоны. Вокруг них сыновья и внуки тех, кто так легко и с таким ликованием прогнал вон Тюрго. Группируются они не вокруг Марии Антуанетты, а вокруг тупого фанатика дворянской реакции, еще гораздо вреднее и глупее ее, вокруг графа Карла д'Артуа, брата короля. Волей обстоятельств Бурбоны застают на первом месте князя Талейрана, который, подобно Тюрго, уверен, что единственное спасение для династии — отвернуться от дворянско-феодальной реакции и пойти по стезе не дворянской, а буржуазной монархии. Он и старается действовать в таком духе. Но опять повторяется в других формах кризис 1776 г.; реакционеры крепнут при дворе, перед Талейраном выбор: отставка или подчинение. И Талейран мигом берет назад все, что он только что говорил, и пишет позорное письмо Александру I, в котором упрощает царя не настаивать на конституции для Франции... Читатель дальше найдет анализ этого письма, — здесь мы хотели лишь иллюстрировать разницу между государственным умом Тюрго и пронырливой хитростью и тонкостью беспринципного, корыстолюбивого карьериста и царедворца Талейрана.

Князя Талейрана называли не просто лжецом, но «отцом лжи». И действительно, никто и никогда не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины, такого умения при этом сохранять величаво-небрежный, незаинтересованный вид, безмятежное спокойствие, свойственное лишь самой непорочной, голубиной чистоте души, никто не достигал такого совершенства в употреблении фигуры умолчания, как этот в своем роде необыкновенный человек. Даже те наблюдатели и критики его действий, которые считали его ходячей коллекцией всех пороков, почти никогда не называли его лицемером. Этот

эпитет к нему как-то не подходит, так как слишком слаб и невыразителен. Талейран сплошь и рядом делал вещи, которые, по существу, скрыть было невозможно уже в силу самой природы обстоятельства: взял с американских уполномоченных взятку сначала в два миллиона франков, а потом, при продаже Луизианы, гораздо бóльшую; почти ежедневно брал взятки с бесчисленных германских и негерманских мелких и крупных государей и державцев, с банкиров и кардиналов, с подрядчиков и президентов; потребовал и получил взятку от польских магнатов в 1807 г.; был фактическим убийцей герцога Энгиенского, искусно направив на него взор и гнев Наполеона; предал и продал сначала католическую церковь в пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу Бурбонов, потом Бурбонов в пользу Орлеанов; способствовал больше всех реставрации Бурбонов, изменив Наполеону, а после их свержения помогал больше всех скорейшему признанию «короля баррикад» Луи-Филиппа английским правительством и остальной Европой, и так далее без конца. Вся его жизнь была нескончаемым рядом измен и предательств, и эти его деяния были связаны с грандиозными историческими событиями, происходили на открытой мировой арене, объяснялись всегда (без исключения) явно своекорыстными мотивами и сопровождались непосредственно материальными выгодами для него лично. При своем большом понимании Талейран никогда и не рассчитывал, что простым, обыденным и общепринятым, так сказать, лицемерием он может кого-нибудь в самом деле надолго обмануть уже после совершения того или иного акта. Важно было обмануть заинтересованных лишь во время самой подготовки и затем во время прохождения дела, без чего немислим был бы успех предприятия. А уже самый этот успех должен быть настолько решительным,

чтобы гарантировать князя от мести обманутых, когда они узнают о его ходах и проделках. Что же касается так называемого «общественного мнения», а еще того больше — «суда потомства» и прочих подобных чувствительностей, то князь Талейран был к ним совершенно равнодушен, и вполне искренне, — в этом не может быть никакого сомнения.

Вот эта-то черта непосредственно приводит нас к рассмотрению вопроса о позиции, которую занял князь Талейран-Перигор, князь Беневентский и кавалер всех французских и почти всех европейских орденов, в годы повторных штурмов, которым в продолжение его жизни подвергался родной ему общественный класс — дворянство — со стороны революционной в те времена буржуазии.

Талейран родился, когда только что умер Монтескье и только что успели выступить первые физиократы, когда уже гремело имя Вольтера и на сцене появился Жан Жак Руссо, когда вокруг Дидро и д'Аламбера уже постепенно формировался главный штаб Энциклопедии. А умер в 1838 г., в эпоху полной и безраздельной победы и установившегося владычества буржуазии. Вся его жизнь протекала на фоне упорной борьбы буржуазии за власть и — то слабой, то свирепой — обороны последышей феодального строя, на фоне колебаний и метаний римско-католической церкви между представителями погибающего феодального строя и побеждающими буржуазными завоевателями, действовавшими сначала во Франции гильотиной, потом вне Франции — наполеоновской великой армией. Что, кроме дворянства, буржуазии, церкви и собственнического крестьянства, есть еще один (голодающий, а потому опасный) класс людей, который, начиная с апреля 1789 г., с разгрома фабрикантов Ревельона и Анрио и кончая прериа-

лем 1795 г., много раз выходил из своих убогих троглодитовых пещер и нищих чердаков Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий и улицы Муффтар и, жертвуя геройски жизнью, своим вооруженным вмешательством неоднократно давал событиям неожиданный поворот, — это князь Талейран знал очень хорошо. Знал также, что после 1-го (а особенно после 4-го) прериаля 1795 г. эти опасные (для его интересов) голодные люди были окончательно разбиты, обезоружены и загнаны в свои «логовища», причем эта победа оказалась настолько прочной, что вплоть до 26 июля 1830 г., целых тридцать пять лет кряду, ему, Талейрану, можно было почти уже вовсе не принимать их в расчет при своих собственных «серьезных», т.е. карьеристских, соображениях и выкладках. Это он твердо усвоил себе. Знал также, что и после 26 июля 1830 г. с этим внезапно вставшим грозно после тридцатипятилетнего оцепенения, голодающим по-прежнему «чудовищем» нужно было как-то возиться и считаться всего только около двух недель, но что уже с 9 августа того же 1830 г. вновь появились те знакомые элементы, с которыми «приличному и порядочному» человеку, думающему только о своей карьере и доходах, всегда можно столкнуться и сторговаться: появились новый король и новый двор, однако с прежними банкирами и прежним золотом. И опять все пошло как по маслу вплоть до мирной кончины в 1838 г., которая одна только и могла пресечь эту блистательную карьеру и которая поэтому вызвала, как известно, тогда же наивно-ироническое восклицание: «Неужели князь Талейран умер? Любопытно узнать, зачем это ему теперь понадобилось!» До такой степени все его поступки казались его современникам всегда преднамеренными и обдуманными, всегда целесообразными с карьеристской точки зрения и всегда в конечном счете успешными для него лично.

Итак, рабочий класс, если игнорировать редкие указанные выше моменты, Талейрану можно было пока не принимать во внимание как решающую политическую силу. Крестьянство, т.е. та часть его, которая является серьезной силой, в политике активно не участвует и пойдет за теми, кто стоит за охрану собственности и против воскрешения феодальных прав. Значит, остаются три силы, с которыми Талейрану нужно так или иначе считаться: дворянство, буржуазия и церковь. Он только позже окончательно разглядел, что церковь в игре социальных сил имеет лишь подсобное, а не самостоятельное значение, но, впрочем, уже с 1789 г. при самых серьезных своих шагах он никогда не принимал церковь за власть, способную в самом деле сыграть роль ведущую и решающую.

Дворянство и буржуазия — вот две силы, находящиеся в центре событий, силы, из которых каждая в случае победы может осыпать, кого захочет, золотом, титулами, лентами, звездами, одарить поместьями и дворцами, окружить роскошью и властью. Но важно лишь не ошибиться в расчете, не поставить ставку на дурную лошадь, по стародавнему спортивному английскому выражению. Талейран в своем выборе не ошибся.

2

Князь Шарль Морис Талейран-Перигор появился на свет 2 февраля 1754 г. в Париже, в очень знатной, аристократической, но обедневшей семье. Предки его родителей были при дворе еще с X в., при первых Капетингах.

У него было нерадостное детство. Мальчика никто не любил, никто на него не обращал никакого внимания.

Мать постаралась поскорее сбуть его с рук, чтобы он не мешал ее светским развлечениям.

Ребенка отправили к кормилице, жившей близ Парижа, и просто забыли его там на время. Первые четыре года своей жизни маленький Шарль провел у этой чужой женщины, которая очень мало была занята уходом за ним. Однажды, уходя из дома, она посадила ребенка на высокий комод и забыла его там. Он упал и настолько сильно повредил себе ногу, что остался хромым на всю жизнь, причем хромал так, что на каждом шагу его туловище круто клонилось в сторону. Передвигаться он мог с тех пор до конца жизни только при помощи костыля, с которым не расставался, и ходьба была для него довольно мучительным процессом. Его правая сломанная нога была всегда в каком-то специально сделанном кожаном сапоге, похожем на кругловатый футляр.

Взяв Шарля от кормилицы, родители поместили его у одной старой родственницы, княгини Шалэ. Мальчик тут в первый раз в жизни почувствовал, что его любят, и сейчас же привязался к своей старой тетке. «Это была первая женщина из моей семьи, которая выказала любовь ко мне, и она была также первой, которая дала мне испытать, какое счастье полюбить. Да будет ей воздана моя благодарность... Да, я ее очень любил. Ее память и теперь мне дорога, — писал Талейран, когда ему было уже шестьдесят пять лет. — Сколько раз в моей жизни я жалел о ней. Сколько раз я чувствовал с горечью, какую ценность для человека имеет искренняя любовь к нему в его собственной семье».

Он всей детской душой привязался было к старухе, но пробыл у нее всего полтора года — шести лет его навсегда увезли от старой женщины, единственного существа, которое его любило и которое он любил в своем детстве. По-видимому, чем больше он рос, тем острее становилось в

нем сознание обиды и чувство горечи по отношению к забросившим его родителям, и воспоминание о детстве, из которого он вышел искалеченным физически, навсегда осталось какой-то душевной травмой у этого человека. При всей его скупости на слова это можно рассмотреть довольно ясно.

Забрав мальчика от тетки, родители распорядились поместить его в коллеж в Париже. Они не полюбопытствовали даже взглянуть на ребенка, семнадцать суток проведенного в дилижансе. «Старый слуга моих родителей ожидал меня на улице д'Анфер, в бюро дилижансов. Он меня отвез прямо в коллеж... В двенадцать часов дня я уже сидел за столом в столовой коллежа», — вспоминает Талейран.

Он никогда не забыл и не прости́л. «То, как проходят первые годы нашей жизни, влияет на всю жизнь, и если бы я раскрыл вам, как я провел свою юность, то вы бы меньше удивлялись очень многому во мне», — говорил он уже в старости придворной даме императрицы Жозефины, госпоже де Ремюза.

Он жил на полном пансионе в коллеже и только раз в неделю посещал дом родителей. Когда он двенадцати лет заболел оспой, родители его не посетили. «Я чувствовал себя одиноким, без поддержки, — вспоминает он, — я на это не жалуясь». А не жалуется он потому, что, по его словам, именно это чувство одиночества и привычка к самоуглублению способствовали зрелости и силе его мысли.

Учился он не очень прилежно, но пятнадцати лет все же окончил коллеж и перешел в духовную семинарию при церкви Сен-Сюльпис. Родители решили сделать его аббатом, потому что к военной службе он не годился из-за искалеченной ноги.

Он не желал принимать духовное звание, терпеть не мог длиннополой черной сутаны, которую на него нацепили

по выходе из коллежа, но делать было нечего. Отец и мать даже и не спросили, желает ли он быть священником или не желает. Духовное звание было способом подкармливать дворянских сыновей, которые почему-либо не годились для военной службы и у которых не было достаточно денег, чтобы «купить» себе какую-нибудь почетную и прибыльную должность по гражданскому ведомству.

Так окончилось отрочество и наступила молодость Талейрана. Он выступил на жизненную арену холодным, никому не верящим, никого не любящим скептиком. Самые близкие родные оказались по отношению к нему бессердечными эгоистами. На себя и только на себя, и притом не на свои физические силы, а исключительно на свою голову возлагал юноша все свои надежды. Умерла любившая его старая тетка, потухло с ней единственное светлое воспоминание безрадостных детских лет. Кругом были только чужие люди, начиная с наиболее чужих, т.е. собственных родителей. А чужие люди — это конкуренты, враги, волки, если показать им свою слабость, но это — послушные орудия, если уметь быть сильным, т.е. если быть умнее их.

Такова была основная руководящая мысль, с которой Талейран вышел на жизненную дорогу.

Он начинал жизнь и с первых же шагов обнаружил те основные свойства, с которыми сошел в могилу. В двадцать один год он был в моральном отношении точь-в-точь таким, как в восемьдесят четыре года. Та же сухость души, черствость сердца, решительное равнодушие ко всему, что не имеет отношения к его личным интересам, тот же абсолютный, законченный аморализм, то же отношение к окружающим: дураков подчиняй и эксплуатируй, умных и сильных старайся сделать своими союзниками, но помни, что те и другие должны быть твоими орудиями, если ты в

самом деле умнее их, — будь всегда с хищниками, а не с их жертвами, презирай неудачников, поклоняйся успеху!

Окончив обучение в семинарии Сен-Сюльпис и посвященный в духовное звание, Талейран стал искать прибыльного аббатства, а пока отдался любовным приключениям. Им не было счета. Он вовсе не был хорош собой, был искалечен, но женщин он брал своим всепобеждающим тонким умом и остроумием, и не они его покидали, а он их покидал первый, и они говорили потом, что после него им было со всеми скучно. Связи у него были в самых аристократических кругах. Все женщины без исключения были для него лишь орудием наслаждения или выгоды — и только. За всю свою жизнь он встретил — да и то уже в старости — лишь одну, к которой привязался надолго: это была жена его племянника, герцогиня Дино. В молодости и зрелом возрасте у него подобных привязанностей не было. «Отчего вы так грустны? — спросила его раз фаворитка Людовика XV, госпожа Дюбарри, когда он в числе других знатных молодых людей был в ее салоне. — Неужели у вас нет ни одного романического приключения?» — «Ах, мадам, — вздохнул в ответ Талейран, — Париж — это такой город, где гораздо легче найти себе женщину, чем хорошее аббатство!»

Но ему недолго пришлось вздыхать по этому поводу: уже в 1775 г., двадцати одного года от роду, он стал аббатом в Реймсе, и карьера его развивалась быстрыми темпами.

Вскоре он уже был генеральным викарием Реймса. Он жил то в Реймсе, то в Париже, его командировало духовенство на собрания делегатов от церкви, которые сговаривались с правительством по вопросу о налогах и по другим финансовым вопросам, касавшимся церкви. Он вел беспечальную жизнь, полную всяких развлечений, имел

новые и новые любовные связи и умудрялся даже через женщин споспешествовать своей духовной карьере. При дворе шансы молодого аббата стояли высоко: он умел вкрасься в милость к влиятельным людям, и разница между ним и обыкновенными карьеристами заключалась в том, что он задолго умел распознавать, какой именно невлиятельный человек со временем непременно будет влиятельным, и заблаговременно расстилал вокруг него свои сети и начинал маневрировать.

Накануне революции, 2 ноября 1788 г., король Людовик XVI подписал приказ о назначении генерального vicария города Реймса Шарля-Мориса Талейрана-Перигора епископом Отенской епархии.

3

Взрыв революции застал Талейрана делающим блестящую карьеру. Он, потомок, правда очень аристократического и старинного, но обедневшего рода, при отсутствии настоящих серьезных связей к тридцати четырем годам был уже епископом, кандидатом в кардиналы; вступив в свет без всяких средств, он имел разнообразные и довольно значительные, хотя и очень неверные доходы, пополняемые удачными финансовыми спекуляциями. Правда, положением своим он был недоволен. Вступив в духовное звание, как сказано, исключительно потому, что вследствие несчастного случая хромотал и был неспособен к военной службе, он ненавидел свой священнический сан всеми силами души и делал все, чтобы заставить себя и других забыть о нелепом костюме, который должен был носить. Он вел светскую жизнь, имел несколько любовных связей с аристократическими и неаристократическими дамами, вел

жизнь отчасти царедворца, отчасти биржевого спекулянта; но несмотря на ловкое добывание денег (тут же спускаемых на женщин, на кутежи и карты), ничего похожего на сколько-нибудь прочный, обеспеченный капитал у него не было и в помине вплоть до самого начала революции. И, кроме того, к тому времени налицо было еще одно неприятное и беспокойное обстоятельство: его ближние успели за это время довольно хорошо раскусить молодого и преуспевающего епископа. «Это человек подлый, жадный, низкий интриган, ему нужна грязь и нужны деньги. За деньги он продал свою честь и своего друга. За деньги он бы продал свою душу, — и он при этом был бы прав, ибо променял бы навозную кучу на золото» — так отзывался о нем за два года до революции, в 1787 г., Мирабо, имевший несчастье нуждаться в дорогом покупавшихся услугах Талейрана. Есть еще и еще отзывы в том же роде. Никто не отрицал громадных способностей этого человека, но никто не сомневался в полной готовности его на любой, самый черный поступок, если это может принести ему выгоду.

К чему он стремился? Что в нем было сильнее? Честолюбие или корыстолюбие? Подавляющее большинство современников полагало, что корыстолюбие, и документы, которые мы теперь знаем, но которых они не знали, вполне это подтверждают. «Прежде всего — не быть бедным», — прежде всего. Этот совет-афоризм неоднократно высказывался Талейраном. Проходят Бурбоны, проходят Дантоны и Робеспьеры, проходят Директории и Бонапарты, но земли, и дворцы, и франки (если они в золотой чеканке) остаются. Что земли и франки тоже (изредка) подвергаются большой опасности, в особенности пока не загнаны в свои трушобы и не обезоружены люди Сент-Антуанского предместья, это Талейран тоже хорошо понимал, но именно поэтому он и не сомневался, что

на его веку, по крайней мере, эти опасные для него люди всегда будут в конечном счете загнаны в свои «пещеры». Значит, об этом нечего и говорить, и можно для практических целей при деловых соображениях, считать земли и франки вечными благами, а титулы и министерские кресла — преходящими.

Власть для него — большая ценность, только власть и дает деньги, это главная ее функция; конечно, власть дает сверх того и приятное ощущение внешнего почета и могущества, но это уже на втором плане.

То же можно сказать и о женщинах, в которых ряд биографов видели другую основную страсть Талейрана. Женщины хороши главным образом потому, что через их посредство и протекцию можно легче и скорее всего добиваться назначения на хорошие (т.е. доходные) места. Правда, полагал он, женщины и сами по себе дают, сверх того, много хороших минут, но это для Талейрана тоже было на втором плане.

И власть и женщины нужны прежде всего для достижения богатства. Деньги, деньги — все остальное приложится. Если мы взглянем внимательно в поступки и движения Талейрана, мы увидим, что от этого основного принципа он никогда не уклонялся, не в пример всем прочим своим «принципам».

Вот первая, молодая предреволюционная эпоха его жизни, первые его тридцать пять лет. Известны классические слова Талейрана: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни». Этой сладости ничуть не мешали такие досадные обстоятельства, что, во-первых, у Талейрана не было никакой власти и, во-вторых, была довольно твердо установлена репутация сомнительного дельца, если даже не просто мошенника. Зато были в изобилии женщины и если не в изобилии, то в довольно большом количе-

стве деньги; женщины помогали его карьере, помогали ему пробираться на весьма теплые местечки по части расчетного баланса католического духовенства с правительством; женщины облегчали добывание нужных сведений и связей по бирже, по подрядам, по откупам, по спекуляциям; женщины создавали ему успех во влиятельных салонах.

Что же касается репутации, то эта статья — заметим с самого начала — занимала Талейрана чрезвычайно мало. И в переходные эпохи, когда дворянско-феодалный класс и поддерживаемый им политический строй все больше и больше вынуждены не только считаться с напором буржуазии, но и брать к себе на службу, включать в служилое сословие людей новых общественных слоев, в эпохи, подобные, например, последним предреволюционным десятилетиям Франции XVIII в. или России конца XIX и начала XX в., — это чуть ли не намеренное, презрительное бравоирование «общественным мнением» становится явлением весьма характерным и почти обыденным, и именно для представителей отходящего, гибнущего аристократического класса. Стоит ли считаться с общественным мнением, когда его представляют какие-то неведомые разночинцы? Появляется цинизм откровенности, прежде немислимый. И при Людовике XIV министры воровали весьма часто и обильно. Но только при Людовике XVI, за пять лет до взятия Бастилии, на вопрос: «Как вы решились взять на себя управление королевскими финансами, когда вы и свои личные дела совсем расстроили?» — генеральный контролер Калонн осмелился с юмором громогласно ответить: «Потому-то я и взялся заведовать королевскими финансами, что личные мои финансы уж очень оказались расстроены». Процветали казнокрадство и взяточничество в России и при Александре I, и при Николае I, но только в период между

1 марта 1881 г. и 28 февраля 1917 г. на слова подрядчика: «Я дам вашему превосходительству три тысячи — и никто об этом и знать не будет» — стал возможен переданный потомству директором Горного департамента К.А. Скальковским классический ответ его превосходительства: «Дайте мне пять тысяч и рассказывайте кому хотите».

В подобной атмосфере, свойственной предреволюционным эпохам, проходила молодость Талейрана. Кого ему было стесняться? Спекулянты, биржевики, откупщики, маклеры — весь этот люд, кишевший на Rue Vivienne и от которого так зависел молодой аббат, а потом епископ в своих аферах, считал удачное мошенничество высшим проявлением ума и таланта. Мирабо, так в Талейране разочаровавшийся, сам был не очень чист на руку, при дворе все покупалось, продавалось и выменивалось. Стесняло досадное, долгополое аббатское платье, стесняло иногда безденежье; хотя деньги и плыли в руки, как сказано, но уплывали так же быстро и даже еще быстрее. На вечный праздник роскоши, на женщин, на вино и на карты иногда не хватало. Стесняло в особенности сознание, что досадное платье, во-первых, нельзя никак, при нормальных условиях, до конца жизни сбросить с плеч, во-вторых, если бы и было бы возможно по каноническому праву, то немыслимо по бюджетным соображениям: епископу Отенскому, завтрашнему кардиналу, наживать деньги было несравненно легче и удобнее, чем простому князю Талейрану. Вот это в самом деле, как мы знаем фактически, заставляло изредка пригорюниваться Талейрана. Правда, эти минуты неприятного раздумья приходили редко. «Сладость жизни» от этого, в общем, для него не уменьшалась.

Но вот грянула революция.

Предвидел ли Талейран революцию? Ее наступление предвидели не такие пронизательные умы, но мало кто предсказал хотя бы даже в общих чертах ее дальнейшее развитие и особенно ее формы; пресловутое пророчество Казотта о казни королевской семьи и гибели всех его друзей-аристократов сочинено впоследствии, хотя оно и прельстило историка Ипполита Тэна, а еще до Тэна вдохновило Лермонтова («На буйном пиршестве задумчив он сидел...»). Пиршества, на которых так часто сиживал Талейран, не омрачались никакими зловещими пророчествами. Этому избалованному легкой и беспечальной жизнью кругу людей революция еще весной 1789 г. представлялась интересной пикировкой просвещенных умов с придворными реакционерами и с их главной покровительницей, королевой Марией Антуанеттой, состязанием в красноречии на разные великодушные и популярные темы. Революция казалась также прежде всего перераспределением мест, пенсий, министерских портфелей. А потом, когда наступит к концу лета каникулярный перерыв, то члены Генеральных штатов разъедутся на отдых по своим деревням и замкам, где и будут пожинать лавры за свои либеральные подвиги среди облагодетельствованных ими поселян. Самая деятельность Генеральных штатов, созванных на 5 мая 1789 г. в Версале, вовсе представлялась протекающей в атмосфере ожесточенной, а тем более вооруженной борьбы.

Но уже очень скоро, в первые недели после начала заседания, Талейрану стало ясно, что надвигаются такие времена, когда и бесполезно и опасно сидеть между двух стульев и когда наибольшая ловкость заключается именно в самой отчетливой постановке вопроса. Что третье сословие подавляющее, вне всяких сравнений сильнее двух дру-

гих и в Генеральных штатах и везде, — это он понял с первых дней, а поэтому, как он сам говорит, «оставалось лишь одно разумное решение — уступать до того времени, как к этому принудят силой и пока еще можно было поставить себе эти уступки в заслугу». Он и занял позицию самую прогрессивную, позицию епископа, который хочет быть другом народа, врагом привилегий, защитником угнетенных. Он даже стоически отказался на первых порах от взятки, которую поспешил предложить ему потихоньку королевский двор. Ему приписывают замечательные слова при этом геройском для него и совсем исключительном в его биографии отказе: «В кассе общественного мнения я найду гораздо больше того, что вы мне предлагаете. Деньги, получаемые через посредство двора, впредь будут лишь вести к гибели».

Талейран без колебаний покинул погибающий корабль, — точнее, те части погибающего корабля, где так беспечально и роскошно протекала до сих пор его жизнь, — и поспешил пока что перебраться в более безопасные помещения: в Версале он перешел из зала духовенства в зал третьего сословия.

Но события развивались. Взятие Бастилии было для него страшным ударом грома, который показал, что опаснейшая политика, которую вел королевский двор, политика бессильного, но явно злостного сопротивления, ставит на очередь борьбу за власть с оружием в руках между революцией и контрреволюцией. Буря заливала водой уже не те или иные помещения корабля, а грозила немедленно потопить его. Необходимы были быстрые и притом окончательные, бесповоротные решения.

Талейран твердо знал, что старый режим нужно немедленно пустить на слом и провести все требуемые буржуазией реформы. Но сделать это нужно было, по его мнению,

«самим»: правительство должно было делать дело буржуазии, не выпуская руля из рук. Для Талейрана революционный процесс был с самого начала и остался до конца его дней, по существу, в полной мере неприемлемым, враждебным, губительным. Он никогда ни на один момент не принимал искренне, не мирился от души с полной передачей власти восставшей народной массе. В этом отношении никогда у него не было даже и мимолетного увлечения новыми идеями, новыми перспективами, освободительными и «уравнительными» мечтаниями, как бывали эти скоропреходящие увлечения у некоторых других аристократов, у Лафайета, у Ларошфуко-Лионкура, у Монморанси в последние годы перед революцией. Отвращение и боязнь — других чувств к восставшей массе Талейран никогда не питал.

Но пронизательный и отчетливый ум ясно указывал ему, что перемежающаяся политика слабости и насилия, уступчивости и упрямства есть наихудшая из возможных позиций. А страх перед надвигающимся крутым, кровавым переворотом был в нем так силен, ненависть к предстоящему уничтожению самой обстановки беспечальной жизни так велика, что Талейран — в первый и в последний раз в жизни — решил раньше чем перейти в стан сильного врага, попытаться повести с ним борьбу открытой силой. Никогда больше с ним этого не случилось.

Через два дня после взятия Бастилии, когда Париж был уже вполне во власти революционной Национальной гвардии, а король готовился съездить из Версаля в столицу, чтобы заявить свое одобрение случившемуся и украсить свою шляпу трехцветной кокардой, — в ночь с 16 на 17 июля в Марли, во дворец явился епископ Отенский, князь Талейран, и просил свидания с братом короля, графом д'Артуа. Карл д'Артуа уже успел прослать именно тем членом ко-

ролевской семьи, кто решительнее всех стоит за энергичное военное сопротивление наступившей революции. Более двух часов кряду продолжалась эта беседа.

Талейран настаивал, что нужно немедленно начать действовать открытой силой, подтянуть наиболее надежные войска и сражаться, что это — единственный возможный еще шанс спасения. Карл говорил, что король не согласится. Талейран настаивал, что нужно немедленно разбудить короля и убедить его начать сопротивление.

Граф д'Артуа пошел будить Людовика XVI. Но когда граф вернулся к Талейрану, он сообщил ему, что король решил уступить революционному потоку и ни в каком случае не допустит пролития хотя бы одной капли народной крови. Решение обоих собеседников было тогда принято немедленно, тут же. «Что касается меня, — сказал граф д'Артуа, — то мое решение принято: я еду завтра утром, и я покидаю Францию». Талейран сначала пытался отговорить его от этого намерения, а в заключение разговора заявил: «В таком случае, ваше высочество, каждому из нас остается лишь думать о своих собственных интересах, раз король и принцы покидают на произвол судьбы свои интересы и интересы монархии». На предложение Карла эмигрировать вместе с ним Талейран ответил категорическим отказом.

Бурбонов Талейран презирал за их слабость, глупость, неумелость, трусость, нежелание ни предвидеть опасность, ни бороться, когда она наступает. Людовик XVI был ему всегда противен именно тем, что он «обладал храбростью женщины в момент, когда она рождает»⁷.

Подобное же «уважение» питал он впоследствии и ко всем Бурбонам: и к Карлу X, которого всегда считал старым дураком, и к Людовику XVIII, который по трусости превосходил своего старшего брата, погибшего на гильотине.

Он остался. Не затем, конечно, он остался, чтобы спасти, что еще можно было спасти, как он писал и говорил впоследствии. Он в данном случае лжет так же отъявленно, так же бессовестно, с таким же величавым спокойствием и с таким же видом умудренного жизнью философа, как и везде и всегда, едва лишь дело доходит до мотивирования его поступков.

Ничего и никого он не спасал ни при революции, ни при Наполеоне; напротив, с полной готовностью толкал людей, где это было ему выгодно, к гильотине или к венсеннскому рву (куда, например, именно он и никто другой толкнул герцога Энгиенского в марте 1804 г.). Он остался во Франции, чтобы не влачить нищенского эмигрантского существования, чтобы попытаться поладить с новыми господами положения и раздавателями земных благ, чтобы «переселиться», заменив павшую лошадь новым скакуном. С того момента, как граф д'Артуа сообщил ему после ночного разговора с своим братом, что королевская власть отказывается от вооруженной борьбы, Талейран без колебания отвернулся от Бурбонов и перешел в стан победителей.

Он тотчас же сообразил, что хотя они и победители, хотя буржуазия одним ударом вымела прочь дворянско-абсолютистский строй, но что кое в чем такие люди, как он, еще могут, если не терять попусту золотого времени, очень и очень пригодиться и выгодно продать свои услуги, и не только потому, что у него голова хорошая, но и потому, что на этой голове находится епископская митра. Оказалось, что и при революции этот ставший старомодным головной убор может иметь свою меновую ценность. Дело в том, что как раз в это время, в конце лета и осенью 1789 г., Учредительное собрание было очень озабочено гнетущим вопросом о финансах. Предстоял обильный выпуск бумаж-

ных денег, для которых следовало найти хоть некоторое обеспечение. Таким обеспечением мог послужить крупнейший земельный фонд, принадлежавший католической церкви во Франции. Следовало его отнять у духовенства и перечислить в казну. И вот тут-то предстояли некоторые трудности.

Во-первых, как нарушить священный и неприкосновенный принцип частной собственности? Торжествующая буржуазия столько раз и так велеречиво его провозглашала, подтверждала, внедряла и славословила, и в то же время она так боялась, чтобы до сих пор помогавшие ей массы не обратились от штурма Бастилии к мануфактурам, домам и меняльным лавкам, что всякий раз, когда вопрос хоть отдаленно касался перемен имущественного характера, в речах и поведении собрания замечался какой-то разноречивой, наблюдались колебания, трения, некоторая растерянность и нерешительность. А тут ведь дело шло об экспроприации колоссальных церковных земельных фондов. Не могло ли это послужить соблазнительным примером, например, толчком к требованию перераспределения всех вообще земельных имуществ, поощрением к «аграрному закону», к земельной реформе в стиле братьев Гракхов, о которых так часто и с таким беспокойством поминали в те времена?

А во-вторых, эта экспроприация касалась ведь большого, прекрасно организованного сословия, того самого духовного сословия, которое хотя и было очень многими и крепкими нитями связано со старым режимом, но до сих пор вело себя с большою осторожностью, вовсе еще не становилось в ряды врагов революции и, обладая значительным влиянием в деревне, нигде не было пока замечено в контрреволюционной агитации среди крестьян. Сразу сделать эту громадную, сплоченную, полуторатысячелетнюю

организацию своим врагом буржуазные законодатели тоже отнюдь не желали. Если бы еще, отнимая эту землю у церкви, ее отдали немедленно крестьянам, было бы основание надеяться на то, что материальные выгоды, получаемые крестьянами, обезвредят контрреволюционную пропаганду обиженного и раздраженного духовенства.

Но ведь эти земли вовсе не предназначались к раздаче: они должны были поступить в казну, которая уже и озабочилась бы их продажей с публичного торга. Опасное и полное соблазна насилие над принципом частной собственности, переход духовенства в контрреволюционный лагерь — вот перспективы, вставшие перед обеспокоенным взором Национального учредительного собрания.

Без конфискации этих колоссальных земельных богатств обойтись было никак нельзя. Как бы сделать так, чтобы и земли оказались в руках казны и чтобы конфискации никакой при этом не было?..

Вот тут-то и пригодились князю Талейрану его епископское облачение и пастырский посох, тут-то он и понял, что подвергывается сам собой случай и (уже, конечно, последний случай) получить за эти красивые, но несколько устаревшие вещи гораздо больше, чем мог бы дать за них самый щедрый антикварный магазин.

Восстание парижского народа 5 и 6 октября 1789 г. в ответ на монархические провокации в Версале, перевезение королевской семьи в Париж, новый и яркий триумф революционного движения — все это сломало последние колебания Талейрана, если бы таковые еще оставались с лета, после взятия Бастилии. 9 октября, готовясь на другой день выступить в Учредительном собрании с предложением национализации земельных владений церкви, Талейран пишет своей бывлой интимной приятельнице, княгине Ламбеск, замечательное письмо, в котором оправды-

вает свой переход на сторону революции⁸. «Мне кажется, что часто вы должны меня бранить, но смею думать, что я могу оправдаться. Обо мне всегда говорят или слишком дурно, или слишком хорошо». (Тут князь Талейран жестоко ошибался: о нем никогда никто не говорил ни «слишком хорошо», ни даже просто хорошо.) «Одна истина должна дойти до вас: революция, которая теперь происходит во Франции, необходима в порядке вещей, при котором мы живем, и эта революция в конце концов окажется полезной. Нынешние смуты и несчастья происходят оттого, что одни делают с целью помешать им, а другие с целью ускорить их. Дворянство и духовенство вообразили, что старые предрассудки будут продолжать идти им на пользу и что во Франции изменились лишь притязания людей, которые не принадлежали к их сословию. Придираясь к формам, они дали (противникам) возможность затронуть дело по существу. Проиграв первую тяжбу, они затеяли более живую и более важную ссору. У первых двух сословий были только одни страсти, поэтому они не могли составить план действий и действовать в согласии с ним. Третье сословие говорило о своих правах, оно их имело и оно должно было восторжествовать. Все, что произошло, произошло в состоянии войны. При данной позиции невозможно было сомневаться в том, что случилось. Поэтому стало необходимым иметь определенное мнение, настолько мужественное, насколько того требовали обстоятельства. Должно было вырваться из узкого круга притязаний и условностей, чтобы рассмотреть гораздо более широко отношения и встретить новую эпоху, до которой дожили». Никто не умел, когда это ему казалось нужным, писать так темно, как Талейран. Но дальше эта своеобразная исповедь становится яснее: «Тогда принимать полурешения (*prendre des demi-partis*) становилось опасным для людей слабых и по-

зором для тех, которые ценили себя больше. Единственное поведение, достойное некоторого уважения, заключалось в том, чтобы высказаться громко. Все, что затем произошло, не раскрыло глаз тем, кто не хочет видеть. Еще тешат себя иллюзиями, которые уже стали преступными, еще питают себя химерами, чтобы утешиться в удручающей действительности, которой нельзя противиться. Сил идти вслед [за движением] нет, и является претензия задержать его. Мы еще не дошли, может быть, до конца бедствий, которым нас уже подвергло это настроение, столь же ребяческое, как и жестокое. Когда-нибудь, княгиня, мне отдадут должную справедливость...

...Конечно, вам будут говорить, что я очень худо обошелся с духовенством. Ответ на это: я очень хорошо с ним обошелся, и я убежден, что я дал единственное возможное средство, чтобы избавить его от отвратительного положения, близкого к абсолютному уничтожению духовенства».

Подобным рассуждением Талейран на всякий случай перестраховывал (или думал, что перестраховывает) себя в глазах духовенства и аристократии. Но трезвая и отчетливая оценка нелепой политики двора и двух привилегированных сословий, приведшей к взрыву 5 и 6 октября, очень характерна для Талейрана.

10 октября 1789 г. — утром Учредительное собрание, а вечером весь Париж были потрясены неожиданным изумительным и радостным известием. Оказалось, что живы еще в греховном веке святые Христовы заповеди, повелевающие во смирении и нищете видеть истинное блаженство! Сами высшие служители алтаря, пастыри душ людских, без всякого давления со стороны, движимые одной лишь беззаветной любовью к ближним, возжелали отдать все, что имеют, в пользу отечества, вспомнили, что они являются прямыми наследниками и продолжателями босых

и нищих рыбаков, палестинских апостолов, и добровольно отказались от всех своих земель! Даром! Без выкупа! И кто же совершил этот подвиг, достойный блаженнейших угодников божиих? Скромный епископ Отенский, он же (в миру) князь Талейран-Перигор! Именно он, не предупредив даже никого из других духовных лиц, увлекаемый индивидуальным сердечным порывом, внес в Учредительное собрание предложение — взять в казну церковные земли и представил тут же разработанный проект закона об этом. В пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не похожа на обыкновенную частную собственность, что государство смело может ею овладеть и что эта мера «согласуется с суровым уважением к собственности». «Иначе я бы эту меру отвергнул», — бестрепетно заявлял при этом принципиальный автор.

Все эти оговорки, а главное, духовный сан автора законопроекта сразу снимали прямо гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось: церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании.

Правда, чувствовалась некоторая неувязка: епископ Отенский уже с давних пор снискал себе моральную репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древлеблагочестивому святителю и подвижнику господню, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за епископом Отенским, даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовные связи одновременно и что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камил Демулен даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епис-

коп Отенский, посвящая дни своей работе в Национальном учредительном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Враги епископа Отенского не хотели понять, что карты — дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего человеком касательно дел своего кармана серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим и объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания, и испанский посол в ответ на это сообщение подарил Талейрану сто тысяч долларов американской монетой в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам; а во-вторых, Талейран той же осенью 1789 г. выпросил у своей любовницы, графини Флао, драгоценное ожерелье, которое немедленно и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров.

Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвященника Отенской епархии.

Но теперь (на время) значительное большинство Учредительного собрания и задавшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносило Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не ве-

рил его искренности, считали, что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. «Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калонне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале» — так жил и таков был прежде епископ Отенский; «а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвопреступление и сеет раздоры, возвещая при этом мир». Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета «Les Actes des Apôtres» по поводу секвестра церковных имуществ.

Зато популярность Талейрана в Учредительном собрании с этого момента быстро возрастала.

5

Парламентская карьера Талейрана развернулась блестяще. Ему поручались доклады по важнейшим вопросам, наконец, ему, как горячему и преданному делу революции человеку, Учредительное собрание в феврале 1790 г. доверило политическое дело первостепенной важности. Провинцию еще больше, чем Париж, забрасывали контрреволюционными брошюрами, листками, стихами, памфлетами всякого рода. Поэтому Талейрану было поручено обратиться как бы с речью к французской нации, чтобы от имени Учредительного собрания воодушевить граждан и вдохнуть в них революционный энтузиазм. Талейран немедленно исполнил это поручение с полнейшим успехом: «Депутаты плакали, аплодировали, предавались восторгам умиления и радости». Это происходило 10 февраля, а 16 февраля Талейран был избран председателем Учреди-

тельного собрания. «Революционный епископ» решительно шел в гору, не обращая ни малейшего внимания на яростные нападения на него в роялистских или полуроялистских органах и памфлетах.

Перед праздником федерации популярность Талейрана выросла в необычайной степени. Газеты отмечали, что прохожие, встречая его на улице, собираются гурьбой и бурно его приветствуют.

Толпа народа, узнав, что Талейран присутствует на одном банкете, собирается под окнами и громкими криками вызывает его, и когда в окне показывается Талейран, имея по левую руку Сиейеса, а по правую Мирабо, то овация бурно возрастает, переходит в «бурю криков и рукоплесканий»⁹. Он в этот момент популярнее всех, он затмевает даже прославленного трибуна Мирабо... Революционно настроенные люди с восторгом повторяют горячую революционную речь Талейрана, произнесенную им в два приема — 7 и 8 июня, когда он поддержал декрет об устройстве 14 июля 1790 г. праздника федерации в Париже.

В 1790 г. Талейрану было поручено выработать проект введения метрической системы мер. Такой проект уже разрабатывался в Англии, и Талейран намерен был работать совместно с английским инициатором реформы Риггс-Мюллером¹⁰. Однако Вильям Питт нисколько не поощрил не только этой реформы вообще, но и сколько-нибудь последовательно проведенного хотя бы на данной чисто научной и технической почве сближения с французскими революционерами, и дело замерло, к огорчению Талейрана, который уже успел очень оптимистически обнадежить Учредительное собрание перспективой будущего укрепления научных и дипломатических связей между обеими странами.

Метрическая система была проведена во Франции, но лишь впоследствии, когда Талейран уже давно находился в эмиграции. Как увидим дальше, Талейран именно под предлогом дальнейших переговоров о том же предмете получил в 1792 г. заграничный паспорт от Дантона.

Пойдя по новой дороге, работая для Учредительного собрания, Талейран не обращал на стрелы враждебной прессы ни малейшего внимания. Ему важно было теперь мнение его новых хозяев, к которым он пошел на службу, презирая их точно так же, как он презирал оставленных им аристократов и епископов, и еще вдобавок холодно осмеивая тайком новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, своей полнейшей бытовой отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Талейран никогда не блистал ораторским искусством, да и опасался он выступать на этой беспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам — вроде дипломатического и финансового, где негласно и без особого риска можно было подзаработать. «Видите ли, — поучал он впоследствии барона Витролля, — никогда не следует быть бедняком, *il ne faut pas être pauvre diable*. Что до меня, — то я всегда был богат». На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться. Таков был руководящий жизненный принцип князя Талейрана вплоть до гробовой доски.

Духовенство и дворянство яростно его возненавидели за инициативную роль в реквизиции церковных имуществ. Но они были бессильны и поэтому несколько Талейрана не интересовали. Торжествовавшая в Национальном со-

брании буржуазия демонстративно возблагодарила так кстати выступившего епископа Отенского, избрав его президентом Национального собрания, как уже сказано выше. Он быстро шел в гору.

Во время громадного торжества праздника федерации (14 июля 1790 г., в первую годовщину взятия Бастилии) Талейран появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своей особой слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоническое целое. Он оказался в центре действия. Он величаво благословил королевскую семью, Национальную гвардию, членов Национального собрания, несметные толпы обнажившего перед ним свои головы народа, он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посередине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот аристократ, так бескорыстно служащий возрождению отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в тот день даже некоторое умиление.

Сам Талейран, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал, но вот почему: к вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме (графине Лаваль). После обеда он снова съездил в игорный дом, но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай: он снова сорвал банк! «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковые билеты. Я был покрыт ими. Между прочим, и шляпа моя была ими полна». Так с воодушевлением повествовал он об этом отрадном со-

бытии много лет спустя легитимисту барону Витроллю, когда речь зашла о дне праздника революционного братства 14 июля 1790 г.¹¹.

Вскоре снова пригодилась Талейрану его епископская митра: он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвящать.

Папа ответил на это отлучением Талейрана от церкви. Но тот и ухом на это отлучение не повел и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил (осенью 1791 г.) собранию обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции. Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в собрании в качестве епископа, Талейран сбросил наконец свое епископское одеяние окончательно и бесповоротно: ведь папское отлучение, в сущности, отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком.

Очень скоро услуги Талейрана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было снискать себе историческую славу, — на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 г. должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 г. Талейран был командирован в Лондон с целью убедить Вильяма Питта остаться нейтральным в предстоящей схватке. «Сближение с Англией — не химера, — заявил тогда же Талейран, — две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание главным образом на торговле, а другая — на земледелии, при-

званы неизменной природой вещей к согласию, ко взаимному обогащению».

Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели «этого интригана, этого вора и расстригу», как они его величали. С эмигрантами сам Питт считался мало, но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень с ними считались. Королева на аудиенции, когда Талейран со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа подошел к ней, повернулась и ушла. На улицах Лондона Талейрана иногда вполголоса, а иногда и во весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами. Но Талейран и тут, на международной сцене, обнаружил впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такой царственной величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, что не этим уколам и демонстрациям было его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае, выступление Англии было отсрочено больше чем на год. Англичан поразила, между прочим, самая личность французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скупое и намеренно не очень ясно по существу, очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника.

В первых числах июля 1792 г. Талейран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия, после полуторатысячетелнего своего существования.

Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло не хватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Талейран тотчас же взял на себя поручение составить ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. «Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. С самой скандальной щедростью из рук короля лилось золото и расточались подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, беспокоивший его». С таким праведным революционным гневом изъяснялся в этой ноте князь Талейран, оправдывая низвержение Людовика XVI перед иностранными державами и прежде всего перед Англией.

И буквально чуть не в тот же самый день, когда он писал эту проникнутую суровым революционным пафосом ноту, Талейран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Дантону просить заграничный паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Предлог был до курьеза явственно придуманный и фальшивый. Но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней назад за полной подписью писал Англии ноту о совершеннейшей необходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа. Дантон согласился. Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Талейран ступил на английский берег.

Опоздай он немного — и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 г. Это можно утверждать совершенно

но категорически: дело в том, что в знаменитом «железном шкафу» короля, вскрытом по приказу революционного правительства, оказались два документа, доказывавшие, что еще весной 1791 г. Талейран тайно предлагал королю свои услуги; дело было сейчас же после смерти Мирабо, и Талейран имел тогда все основания рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, Талейран имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы остались, хотя и очень слабые (он был крайне осторожен), и, как сказано, обнаружались. 5 декабря 1792 г. декретом Конвента было возбуждено обвинение против Талейрана. Присланное им объяснение не помогло, и он официально был объявлен эмигрантом.

Это было — или казалось — до известной степени жизненным крушением для Талейрана.

Путь во Францию был закрыт если не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмя кишели эмигранты-роялисты, которые печатно поспешили заявить, что бывший епископ Отенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты — «люди 1789 года», как их называли, — они относились к Талейрану гораздо терпимее, так что составилась небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати, приехала в Лондон и госпожа Сталь, у которой были с Талейраном тогда интимные отношения. Зажил он в конце концов спокойно, как всегда не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов-эмигрантов он презирал от всей души, главным образом за убожество их умственных средств, в частности за полнейшее, детское

непонимание ими всей грандиозности того, что случилось.

Для Талейрана было уже тогда (и даже раньше, сразу после взятия Бастилии) ясно, что, какие бы сюрпризы и перемены ни ждали Францию, одно вполне доказано: старый феодально-дворянский режим в том виде, как он существовал до 1789 г., никогда уже не вернется. Мало того, не вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это — даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и в возвращение Бурбонов ни в малейшей степени не верил.

Оттого-то Талейран и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против его особы со стороны роялистов-эмигрантов, которые истошали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном «расстриге». С его точки зрения, эти белые эмигранты были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить, и только. Однако кое-какие и даже очень крупные неприятности косвенным путем эмигранты все-таки могли ему доставить; они не преминули воспользоваться случаем.

В один прекрасный день (дело было в январе 1794 г.) английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать куда пожелает. Но куда? В монархическую континентальную Европу ему показаться нельзя было: там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты, враги его, имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Талейран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный и совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. «Я прибыл туда, полный отвращения к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства».

Тут характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему и никогда не было «любопытства», — ни к какому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему лично прямого отношения.

В 1942 г. в Вашингтоне вышло собрание неизданных документов — писем и мемуаров Талейрана, относящихся ко времени его пребывания в Америке в 1794—1796 гг. Эти документы не представляют большого интереса с точки зрения анализа политической деятельности князя, скорее они могут быть любопытны для истории экономических и финансовых отношений в Соединенных Штатах в последние годы XVIII в. Ясно одно: Талейран полагал, что ему придется остаться в Америке гораздо более продолжительное время, чем оказалось в действительности. Документы сплошь посвящены экономическим и финансовым вопросам и комбинациям. Талейран явно хочет спекулировать на покупке и продаже земель, на привлечении в Европу американских капиталистов: кое с кем из них он ведет даже обстоятельную деловую переписку.

Документы обнаруживают основательное изучение Талейраном условий, при которых вложение капитала в земельные спекуляции в Америке может принести значительные выгоды. Он предвидит, что Америка станет богатым рынком сбыта для европейских мануфактурных товаров и фабрикатов, потому что, по его соображениям, еще долго американская промышленность не сможет идти в своем более медленном росте вровень с быстро увеличивающимся населением и развитием вкуса к роскоши в высшем классе¹².

С политическими кругами в Соединенных Штатах Талейрану сблизиться не удалось. Вашингтон не пожелал принять Талейрана, зная достаточно много о его разнообразных добродетелях из очень хорошо известных писем американского резидента в Париже, губернатора Морриса. Но горячая защитница и восторженная современная нам почитательница Талейрана Анна Додд старается объяснить отказ Вашингтона главным образом причинами дипломатическими: протестом французского официального представителя (от Конвента) Фоше, придавая этому протесту решающее значение¹³. Так или иначе, знаменитый президент отказал себе в удовольствии познакомиться с бывшим епископом Отенским, амурные и биржевые похождения которого были ему давным-давно известны. Все домогательства Талейрана остались тщетны.

В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями и, по-видимому, небезуспешно.

Но французская политика с каждым месяцем все более и более отвлекала Талейрана от вопросов американской экономики. И только после воцарения Директории с ее «новыми богачами», с ее ажиотажем и культом наживы, с ее Тальенами, Баррасами, хищниками-подрядчиками и банкирами Уврарами пробил долгожданный час возвращения Талейрана на родину. А до той поры приходилось промышлять чем попало на новом месте. Но его стала томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завязать связи с революционным правительством, чтобы просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом ему можно было лишь после 9 термидора, а в особенности после 1 прериала, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий в начале лета 1795 г. Он начал деятельно хлопотать, и уже 4 сентября 1795 г. ему было дано разрешение вернуться во Францию. Силь-

но ему помогла именно та яркая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в Конвенте, на заседании 4 сентября 1795 г., Шенье сказал: «Я прошу о нем во имя республики, которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами; я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвой которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать».

Получив (в ноябре того же 1795 г.) известие об этом событии, Талейран тотчас стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 г. он прибыл в Париж.

7

Началась новая эпоха его жизни, а одновременно начинался и новый период мировой истории. «Революция кончилась во Франции и пошла на Европу», — говорили одни. «Революция вышла из своих берегов», — говорили другие. За Альпами уже гремела слава Бонапарта, молодого завоевателя, которого феодальная Европа назвала впоследствии «Робеспьером на коне». Предстояли великие перемены и во Франции, и в Европе. Буржуазная революция, победившая во Франции, готовилась помериться силами с абсолютистской Европой, с полуфеодальным строем, решившим дорого продать свою жизнь. На авансцену истории выступали армии; ораторы готовились уступить место генералам. Буржуазная революция, отбросив врагов от границ Франции, преследовала их на их собственной территории. Революционная война сменялась постепенно войнами захватническими. Талейран не сомневался ни минуты относительно того, на чьей стороне

в этой борьбе буржуазии против пережитков феодализма будет победа. Оттого-то он и приехал во Францию из Америки. Его час пришел.

В этом самом 1796 г. в одну бессонную ночь завоеватель Италии, генерал Бонапарт, по собственному своему позднему признанию, впервые спросил себя: неужели же ему всегда придется воевать «для этих адвокатов»? А в то же время в далеком Париже только что вернувшийся князь Талейран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке, — прощенный эмигрант князь Талейран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики, тоже решал вопрос: искать ли себе нового господина или довольствоваться «этими адвокатами», как они ни плохи? Он решил, что прежде всего нужно вкратце в милость и в ближайшее окружение нынешних владык, а потом уже думать о будущем властелине. Что страна безусловно идет к военной диктатуре, — это Талейран ясно предвидел.

Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги Директории. Тут дело пошло весьма не гладко. Обнаружилось досадное обстоятельство: слишком уж оказалась громкой в известном смысле репутация бывшего епископа Отенского. «С медным лбом он соединяет ледяное сердце», — писал о нем Лебрэн в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первой буквой и несколькими точками: печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Хуже всего для его карьеры было то, что в самой пятичленной Директории трое считали его взяточником, четвертый считал его вором и взяточником, а пятый (Ребель) — изменником,

вором и взяточником. «Талейран состоит на тайной службе у иностранных держав! — восклицал Ребель на заседаниях Директории. — Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа». Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно, когда сам он говорил о нашем «герое»: «Талейран потому именно так презирает людей, что он много изучал самого себя... Он меняет принципы, как белье».

Уже в эти годы говорить о бесчестности Талейрана считалось наскучившим общим местом, набившей оскомину азбучной истиной.

Одно из действующих лиц романа Стендаля «Люсьен Левен» поучает собеседника: «У вас недостаточно толстая кожа, чтобы не ощущать презрение общества. Но к этому привыкают, нужно лишь иначе направить свое тщеславие. Пример: князь Талейран. Можно даже заметить по поводу этого знаменитого человека, что когда презрение становится общим местом, то выражают его только глупцы»¹⁴.

Якобинцы считали Талейрана изменником, случайно ушедшим от гильотины, а термидорианцы впоследствии в своем отношении к нему ни в малейшей степени не отличались от якобинцев. «Без души, без совести, без стыда, без нравственности... слишком достойный презрения, чтобы заслуживать доверие, слишком презираемый, чтобы его можно было бояться» — так отзывался о нем Буасси д'Англа, которого издатель документов «Mélanges» Лакур-Гайе почему-то называет «героем первого прериала»¹⁵. Что «геройского» видит Лакур-Гайе в поведении Буасси д'Англа, председательствовавшего в Конвенте в день первого прериала, понять мудрено. Своими показаниями перед военной комиссией Буасси д'Англа способствовал осуждению на смерть Ромма, Бурботта, Субрани и других подлинных

«героев первого прериаля», но решительно никакого другого отношения к героям и героизму у него не было ни первого прериаля, ни позже. В приведенном отзыве Буасси д'Англа все верно, кроме последнего утверждения: как бы презираем ни был Талейран, он показал всей своей жизнью, что его очень и очень можно и должно было бояться. Это был осторожный, зоркий, терпеливый хищник, опасный своим тонким, пронизательным умом, своим даром далекого предвидения, своей способностью найти каким-то инстинктом правильную тактику в самых запутанных случаях и затейливых комбинациях. Термидорианцы и затем созданная ими Директория вскоре испытали эти качества Талейрана на самих себе. И ее члены это как будто предчувствовали.

Все упования Талейрана были возложены на Барраса. Баррас тоже знал, что Талейран способен решительно на все, но он знал также, что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат, тонкий ум, нужен человек, обладающий способностью к долгим извилистым переговорам, к словесным поединкам самого трудного свойства. Баррас понимал, что эта сложнейшая дипломатическая функция и есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас, в 1797 г., имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни «адвокаты», ни генералы. Не буду передавать во всех деталях (они все известны и даже приведены в систему вследствие стародавной любви французской историографии к мелочам и к альковным сплетням), не буду даже касаться того, как госпожа Сталь, бывшая его любовница, помогла в этом деле Талейрану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее (в тот момент) любовником, Бенжаменом Констаном, как он умолял госпожу Сталь, чтобы она разжалобила Барраса и

уверила долго колебавшегося директора, что ему, Талейрану, жить нечем, что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров, и т.д. «Il m'a dit, qu'il allait se jeter, à la Seine, si vous ne le faites pas décidément ministre des affaires étrangères». Баррас не скрыл от своей гостьи (она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни), что вся Директория относится к покровительствуемому госпожой Сталь другу как к отъявленному плуту и что вообще она, Сталь, ему, Баррасу, очень уж надоела с этими назойливыми приставаниями. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня в восьмой раз. В конце концов Баррас, при всеильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Талейран может пригодиться, что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил в Директории вопрос о назначении Талейрана. После прений три голоса оказались за назначение, два — против.

Когда Бенжамен Констан вбежал к Талейрану с этим известием, тот чуть ли не в первый и в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которой он сейчас же поехал с Константином и с одним своим собутыльником благодарить Барраса, он, как будто забыв о существовании слушателей, повторял всю дорогу, как помешанный, одну и ту же фразу: «Место за нами! Нужно себе составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние!» («Nous tenons la place! Il faut y faire une fortune immense, une fortune immense, une fortune immense!»)

Такова была та основная пружина, тот самый глубокий, основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который Талейран высказал, как только узнал, что назначен министром Французской

республики, высказал в пароксизме стихийной, пьянящей радости, единственный раз в своей жизни забыв собственное свое правило, что «язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли». Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из нищего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 г., получив официальную бумагу о своем назначении, князь Талейран совершенно опомнился и взял себя в руки. Перед служащими министерства иностранных дел, перед просителями, перед дипломатическим корпусом стоял, величаво опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, полномочный представитель Великой французской революции, борющейся со всеми этими английскими Георгями, русскими Павлами, австрийскими Францами, а главное — человек, спокойно и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клеветают на него, то это никак не может осквернить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие, и после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу: «Вы сами теперь видите, как я хорош!»

Итак, он министр, он настоящая власть и сила! Некоторое время уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию эмигранты побаивались мести этого человека, которого они так яростно бранили и преследовали своей ненавистью и даже, как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему, члену правитель-

ства, теперь ничего не будет стоить жестоко расправиться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это тоже характерная его черта: он вовсе не был мстителен. При полнейшем, законченном своем аморализме он был бы способен деятельно поработать, чтобы хоть живьем закопать совсем перед ним ни в чем не повинного человека, если это хоть сколько-нибудь требовалось в карьеристских целях, но он пальцем о палец не ударил бы, чтоб покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Месть сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он в самом деле не умел сильно ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивой фразой в устах их ходульных героев, то в Талейране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тирад о ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге; а если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растапывал пятой, после чего снова забывал о них. Да и были у нового министра гораздо более его интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней принятия им министерства в дипломатическом корпусе стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики.

В эпоху Директории, в годы развеселых кутежей директора Барраса, в разгар спекуляций финансиста и хищника Уврара, во времена оргий крупных и мелких казнокрадов и поставщиков было трудно, казалось бы, удивить кого-либо взятками, их обилием и повседневностью. Но Талейран все-таки удивил даже своих современников, давно отучившихся в этом смысле чему-либо удивляться. Он брал

взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединенных Штатов, брал с колоний и метрополий, с материков и островов, с Европы и с Америки, с Персии и с Турции; брал со всех, кто так или иначе зависел от Франции, или нуждался во Франции, или боялся Франции. А кто же в ней тогда не нуждался и кто ее не боялся? Взятки он брал огромные, даже как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с нее маленькую взятку. Так, он сразу же дал понять прусскому послу, что меньше трехсот тысяч ливров золотом он с него не возьмет. С Австрии — по случаю Кампоформийского мира — он взял миллион, с Испании — за дружеское расположение — миллион, с королевства Неаполитанского — полмиллиона. В современной ему печати еще при его жизни неоднократно делались попытки сосчитать, хотя бы в общих итогах, сколько Талейран получил взятками за время своего пребывания на посту министра. Но эти враждебные ему счетоводы обыкновенно утомлялись и сбивались в своих подсчетах и останавливались лишь на первых годах его управления делами. Так, писали, что за 1797—1799 гг. Талейран получил больше тринадцати с половиной миллионов франков золотом (собственно 13 650 000). Но ведь эти первые два года были, можно сказать, лишь детской игрой сравнительно с последующими годами, с годами полного владычества Наполеона над Европой, когда Талейран продолжал оставаться министром.

И взятки вовсе не были единственным средством обогащения. Через своих любовниц и своих друзей, и через друзей своих любовниц и через любовниц своих друзей Талейран почти беспроектно играл на бирже: ведь он заблаговременно знал, как сложится ближайшее политическое будущее, он предвидел биржевые последствия подготавливаемых им или заблаговременно известных только

ему политических актов, и соответственные его указания золотым потоком возвращались затем к нему с биржи. Наконец, кроме взяток и биржевой игры, был еще и третий заработок: подряды. Талейран имел в своем распоряжении тьму агентов, которые рыскали по вассальным или полувассальным, зависимым от Франции странам и просил там у правящих лиц подрядов на поставку тех или иных товаров и припасов. Курьезный случай на этой почве произошел в Испании. Когда туда явились из Парижа какие-то проходимцы и чуть не с шантажными намеками и угрозами стали вымогать у испанского короля разные поставки, то французский посол, адмирал Трюгэ, убежденный, что проходимцы действуют на свой собственный риск и страх, выслал их вон из Испании. Но послу Трюгэ очень скоро пришлось убедиться, что за спиной этих пострадавших предпринимателей стоит величественная фигура самого министра Французской республики, князя Талейрана-Перигора. Посол был за недостаточно проворную сообразительность уволен в отставку, а проходимцы, после краткого своего затмения, вновь воссияли в Мадриде.

Могут спросить: неужели на общее направление европейских дел в самом деле оказывали влияние эти взятки и подкупы? Конечно, нет. Не требовалось обладать умом и хитростью Талейрана, чтобы понять, что, например, если генерал Бонапарт завоевал Италию, то никак нельзя заставить ни Директорию, ни генерала вдруг великодушно освободить из когтей свою добычу. Или если Франция требует от Испании помощи флотом в борьбе против Англии, то ни за что французское правительство от этого требования не откажется. Талейран знал, что даже простая его попытка советовать своему правительству явно невыгодные для Франции действия может для него кончиться в лучшем случае немедленным увольне-

нием, а в худшем случае — казнью. Он никогда (до 1808 г.) и не делал и не пытался делать таких нелепых и отчаянных вещей. Он брал взятки лишь за снисходительную редакцию каких-либо второстепенных или третьестепенных пунктов договоров, соглашений, протоколов; за пропуск в той или иной ноте слишком точной и жесткой формулировки, за обещание «содействия» по вопросу, по которому, как он знал, и без его содействия дело уже решено верховной властью Франции в принципе благоприятно для его просителя. Ему платили за ускорение каких-нибудь реализаций; за то, чтобы на три месяца раньше эвакуировать территорию, которую Франция уже согласилась эвакуировать, за то, чтобы на полгода раньше получить субсидию, которую Франция уже обещала дать, и так далее. Лишь с эрфуртских дней 1808 г. он стал на путь настоящей государственной измены в точном смысле.

С точки зрения психологической любопытно отметить, что Талейран желал обнаруживать — и обнаруживал — суровую этику в своих делах со взяткодателями: если взял — исполни; если не можешь — возврати взятку. Например, когда Наполеон, стоя зимним лагерем в Варшаве, приказал Талейрану в январе 1807 г. приготовить проект восстановления самостоятельной Польши, то министр тотчас же потребовал от польских магнатов четыре миллиона флоринов золотом. Они устроили складчину, сколотили поспешно четыре миллиона и в срок доставили. Талейран обещал зато уж в самом деле сделать дело старательно и на совесть. И действительно, он сделал императору доклад, в котором с глубоким чувством говорил о непростительной ошибке Франции, допустившей некогда разделы Польши, и о провиденциальной обязанности его величества восстановить несчастную страну. Но дело повернулось так, что Наполеон, вступив спустя полгода в Тильзите в союз с

Александром I, не мог сделать для поляков то, что раньше в самом деле собирался было сделать. Тогда Талейран возвратил четыре миллиона. Правда, этот героический жест мог быть объяснен также страхом, что обиженные и обманутые поляки доведут обо всем до сведения императора. Могли выйти неприятности...

Во всяком случае, Талейран осторожно и умно обделывал эти темные дела и прежде всего никогда не делал даже отдаленной попытки влиять на ход событий в основном и сколько-нибудь важном в ущерб французским политическим интересам. Но при всяком удобном дипломатическом случае он ухитрялся сорвать со своих контрагентов более или менее округленную сумму. Иногда (на первых порах) дело доходило, впрочем, и до скандала; это бывало, когда князю Талейрану случалось нарваться на людей, еще сравнительно недавно приобщенных к старой европейской цивилизации. Так, например, в 1798 г. произошла следующая неприятная история. В Париже (еще с осени 1797 г.) сидели специальные американские уполномоченные, прибывшие по поводу очень затянувшегося дела об исходатайствовании законно причитающихся американским судовладельцам денежных сумм. Талейран тянул дело, подсылая своих агентов, которые объясняясь по-английски, заявили туго соображавшим американцам, что министр хотел бы предварительно получить от них «сладенькое», *the sweetness* — так они перевели «*les douceurs*». «Сладенькое» потребовалось в таких несоответственно огромных размерах, что терпение американское лопнуло. Не только делегаты обратились с формальной жалобой к президенту Соединенных Штатов, своему прямому начальнику, но и сам президент Адамс в послании к конгрессу 3 апреля 1798 г. повторил эти обвинения. Американские представители укоризненно вспомнили по этому случаю недавнюю эми-

грацию Талейрана. «Этот человек, по отношению к которому мы проявили самое благожелательное гостеприимство, он и есть тот министр французского правительства, к которому мы явились, прося только справедливости. И этот неблагодарный наш гость, этот епископ, отрекшийся от своего бога, не поколебался вымогать у нас пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на «сладенькое» the sweetness, пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на удовлетворение своих пороков».

Скандал получился невероятный. Все это было напечатано. Талейран ответил небрежно и свысока, сославшись на каких-то неведомых обманщиков и на «неопытность» американских уполномоченных¹⁶. Затем министр поспешил удовлетворить их требования, уже махнув рукой на «сладенькое». Но эти неприятности у него выходили только с такими неуклюжими, упрямыми пуританскими дикарями от Миссисипи и Скалистых гор. Европейцы были гораздо терпеливее и избегали скандалов. Да и положение их было опаснее: их не охранял от Франции Атлантический океан.

Одновременно с быстрым наживанием огромных сумм Талейрана озабочивали и другие вопросы. Он тогда не хотел возвращения Бурбонов, потому что если и не боялся «колесования», которым ему грозили эмигранты, то все же понимал, как невыгодна и даже опасна для него реставрация. Поэтому, когда буржуазная реакция стала частично принимать форму реставрационных мечтаний, он очень приветствовал событие 18 фрюктидора — внезапный арест роялистов и ссылку их и разгром роялистской партии. Ему нужна была другая форма этой реакции, — ему нужна была монархия или даже диктатура, но без Бурбонов, т.е. ему нужно было то же, что было или казалось нужно в тот момент «новым богачам» и новым земельным собственникам,

всей новой буржуазии: строй, который предохранял бы их не только от Бабефа, не только от прериальцев, но и от нового Робеспьера и который в то же время делал бы невозможной феодальную реакцию, попытку реставрировать дореволюционные социально-экономические порядки.

Когда победы Бонапарта заставили Австрию подписать перемирие в Леобене 20 апреля 1797 г., Талейран, давно предвидевший «чудесный удел» победоносного генерала, писал в Америку своему тамошнему «другу» по финансовым делам, Оливу: «Вот и мир вскоре будет окончательно заключен, так как прелиминарные условия подписаны, и какой прекрасный мир! Но и какой же человек наш Бонапарт! Ему еще нет и 28 лет, а над его главой все роды славы, слава войны, мира, умеренности, благородства. У него все есть». И он с радостью сообщает, что «Париж совершенно спокоен» и что через год здесь можно будет делать хорошие дела (т.е. спекуляции), потому что «капиталы извне начинают прибывать» во Францию¹⁷.

Лучезарное будущее открывалось перед Талейраном. И старая, дореволюционная, и новая, послереволюционная, денежная буржуазия, раздавив последние попытки плебейских масс Парижа, обезоружив в прериале 1795 г. Сент-Антуанское и Сент-Марсельское предместья, торжествовала свою победу и над своими противниками слева и над противниками справа. И одновременно уже восходила звезда молодого завоевателя, которому суждено было стать выразителем стремлений и интересов крупной буржуазии. Талейран чувал, что его час пришел, что политическое возвышение, этот прямой для него путь к личному обогащению, — не за горами.

И все внимательнее и льстивее, все почтительнее и сердечнее делались талейрановские деловые письма к воевавшему за Альпами молодому генералу. Талейран уже в 1797

и 1798 гг. писал ему не как министр генералу, командующему одной из нескольких армий республики, а скорее как верноподданный, влюбленный в своего монарха. Он один из первых предугадал Бонапарта и понял, что это не просто победоносный рубака, а что-то гораздо более сложное и сильное. Он понял, что этот человек посильнее «адвокатов» и что следует поэтому заблаговременно прикрепить свою утлую ладью к этому выплывающему на простор большому кораблю. Тут уместно было бы сказать хоть несколько слов для общей характеристики отношений Талейрана к Наполеону, тем более что значительная часть его мемуаров касается именно эпохи наполеоновского единодержавия. Конечно, собственные заявления Талейрана можно тут оставить в стороне: они дают понятие только о том, в каком свете ему хотелось бы представить свои отношения к императору, и больше ничего не дают. Вглядимся в факты и наблюдения посторонних лиц.

Несомненно, что Талейран постиг раньше очень многих, какие дарования, какие возможности заложены в этом угрюмом молодом полководце, такими неслыханными подвигами начавшем свою военную карьеру. Казалось бы, что общего могло быть между этими двумя людьми? Один — изящный, изнеженный представитель старинной аристократии, другой — из обедневших дворян далекого, дикого, разбойничьего острова. Один — всегда (кроме времени эмиграции) имевший возможность прокучивать за пиршественным или игорным столом больше денег за один вечер, чем другой мог бы истратить за несколько лет своей скудной казарменной жизни. Для одного все было в деньгах и наслаждениях, в сибаритстве и даже внешний почет был уже делом второстепенным; для другого слава и власть, точнее, постоянное стремление к ним, были основной целью жизни. Один к сорока трем годам имел прочную репу-

тацию вместилища чуть ли не всех самых грязных пороков, но был министром иностранных дел. Другой имел репутацию замечательного полководца и к двадцати восьми годам был уже завоевателем обширных и густонаселенных стран и победителем Австрии, а пожирающее честолюбие влекло его дальше и дальше. Для одного политика была «наукой о возможном», искусством достигать наилучших из возможных результатов с наименьшими усилиями; у другого — единственное, чем никогда не мог похвалиться его необычайный ум, было именно недоступное ему понимание, где кончается возможное и где начинается химера. Но и роднило их тоже очень многое. Во-первых, в тот момент, когда история их столкнула, они стремились к одной цели: к установлению буржуазной диктатуры, направленной острием своего меча и против нового Бабефа, и против нового Робеспьера, и против повторения прериала, и одновременно против всяких попыток воскрешения старого режима. Было тут, правда, и отличие, но оно еще более их сблизило: Бонапарт именно себя, и никого другого, прочил в эти будущие диктаторы, а Талейран твердо знал, что сам-то он, Талейран, ни за что на это место не попадет, что оно и не по силам ему, и не нужно ему, и вне всяких его возможностей вообще, а что он зато может стать одним из первых слуг Бонапарта и может получить за это гораздо больше, чем все, что до сих пор могли дать ему «адвокаты». Во-вторых, сблизжали этих обоих людей и некоторые общие черты ума: например, презрение к людям, абсолютный эгоизм и эгоцентризм, нежелание и привычка подчинять свои стремления какому бы то ни было «моральному» контролю, вера в свой успех, спокойная у Талейрана, нетерпеливая и волнующая у Бонапарта. Эмоциональная жизнь Бонапарта была интенсивной, посторонним наблюдателям часто казалось, что в нем клокочет

какой-то с трудом сдерживаемый вулкан; а у Талейрана все казалось мертво, все застыло, подернулось ледяной корой. В самые трагические минуты князь еле цедил слова, казался особенно индифферентным. Было ли это притворством? В таком случае он артистически играл свою роль и никогда почти себя не выдавал. Бонапарт был гораздо образованнее, потому что был любознательнее Талейрана. Затруднительно даже представить себе, чтобы Талейран тоже мог заинтересоваться каким-то средневековым шотландским бардом Оссианом (хотя бы в макферсоновской фальсификации), или гневаться на пристрастия Тацита, или жалеть о страданиях молодого Вертера, или так беседовать с Гете и с Виландом, как Наполеон в Эрфурте, или толковать с Лапласом о звездах и о том, есть ли бог или нет его. Все сколько-нибудь «абстрактное» (т.е., например, вся наука, философия, литература), не имеющее прямого или косвенного отношения к кошельку Талейрана и к его карьере, было бы ему глубоко чуждо, не нужно, скучно и даже, кажется, попросту противно.

Понимали ли эти две себялюбивые натуры друг друга? «Это — человек интриг, человек большой безнравственности, но большого ума и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел», — так отзывался к концу жизни Наполеон о Талейране. И все-таки Наполеон его недооценивал и слишком поздно убедился, как может быть опасен Талейран, если его интересы потребуют, чтобы он предал и продал своего господина и нанимателя. Что касается Талейрана, то весьма может быть, что он и не лжет, когда утверждает, будто искренне сочувствовал Наполеону в начале его деятельности и отошел от него лишь к концу, когда начал понимать, какую безнадежно опасную игру с судьбой и какое насилие над историей затеял император, к какой абсолютно несбыточной грандиозной цели он стремится

ся. Конечно, тут надо понимать дело так, что Талейран убоился не за Францию, как он силился изобразить, ибо «Франция» тоже была для него «абстракцией», но за себя самого, за свое благополучие, за возможность спокойно пользоваться, наконец, нажитыми миллионами, не прогуливаясь ежедневно по самому краю пропасти.

Во всяком случае, если бы князь Талейран вообще был способен «увлечься» кем-нибудь, то можно было бы сказать, что в последние годы перед 18 брюмера и в первые годы после 18 брюмера он именно «увлекся» Бонапартом. Он считал, что над Францией нужно проделать геркулесову работу, и видел тогда именно в Бонапарте этого Геркулеса. Он не тягался с ним, не соревновался, с полной готовностью, конечно, признавал, что их силы и их возможности абсолютно несоизмеримы, что Бонапарт будет всегда повелителем, а он, Талейран, будет его слугой.

Уже 10 декабря 1797 г. (20 фримера VI года по революционному календарю), когда в Париже происходило торжественное чествование только что вернувшегося из Италии в Париж победоносного Бонапарта, Талейран произнес в присутствии Директории и массы народа речь, полную самой верноподданнической лести, как будто Бонапарт уже был самодержавным монархом, а не простым республиканским генералом, и вместе с тем Талейран умудрился подчеркнуть мнимую «скромность» генерала, его (никогда не существовавшее) желание удалиться от шумного света под сень уединения и так далее, — все то, что было необходимо, чтобы ослабить подозрения директоров касательно будущего диктатора и уже проснувшееся неопределенное беспокойство Директории за собственное существование.

«Дружба» этих двух людей была непосредственно вслед за тем скреплена грандиозным новым предприятием гене-

рала Бонапарта: нападением на Египет. Для Бонапарта завоевание Египта было первым шагом к Индии, угрозой англичанам. Для Талейрана, как раз тогда выдвинувшего идею создания новых колоний, Египет должен был стать богатой французской колонией. Талейран горячо защищал этот проект перед Директорией, особенно подчеркивая огромные торговые перспективы, связанные с завоеванием этой страны. Экспедиция была решена. Бонапарт с лучшими войсками уехал в Египет, а для Директории наступили вскоре трудные дни. Снова пол-Европы шло на Францию. В Италию явился в 1798 г. великий русский полководец Суворов, и плоды бонапартовских побед 1796—1797 гг. были потеряны. Непопулярность Директории росла со дня на день: министров — и особенно Талейрана — обвиняли в измене, в том, что они нарочно, в угоду врагам, услали в Египет Бонапарта, который мог бы спасти отечество.

Талейрану непременно нужно было отделиться вовремя от непопулярного правительства, и он, придравшись к одному делу о клевете, за которую он привлек к суду клеветника, но не получил удовлетворения, подал довольно неожиданно в отставку. Случилось это 13 июля 1799 г. Неделю спустя, 20 июля, отставка была принята, а спустя три месяца, 16 октября, в Париж прибыл из Египта неожиданный и неприятный для Директории гость — Бонапарт.

Следует сказать, что у Талейрана, который и предвидел и приветствовал грядущего диктатора, были некоторые причины все-таки сомневаться в особой теплоте будущей первой встречи с внезапно вернувшимся завоевателем Египта. Дело было вот в чем.

Отправляясь в египетскую экспедицию, генерал Бонапарт взял с Талейрана обещание, что тот поедет в Константинополь в качестве французского посла немедленно по отбытии эскадры из Тулона. Бонапарту казалось необхо-

димым сохранить фикцию мирных и даже вполне дружеских сношений Франции и Турции во время завоевания Египта, бывшего тогда турецкой провинцией. Это достаточно головоломное дипломатическое дело мог с полным успехом выполнить именно Талейран. Так надеялся генерал Бонапарт. Обещание было Талейраном дано, но исполнено не было, и никогда Талейран в Турции до конца своих дней не побывал.

Чем этот поступок Талейрана объясняется? Новейшего американского ученого Локка (С. L. Lokke) не удовлетворяет ни одно из высказанных мнений: ни Раймон Гюйо, который в своей большой книге (*Le Directoire et la paix de l'Europe*). Paris, 1911) считает, что Талейран не хотел удалиться из Парижа, когда предстояли выборы на освободившееся место члена Директории; ни Булэ де ла Мерт (*Le Directoire et l'Expédition d'Egypte*). Paris, 1885), считающий, что просто Талейрану оказалось удобнее и безопаснее оставаться в качестве министра иностранных дел в Париже, чем ехать на опасный пост константинопольского посла, да еще к туркам, раздраженным против французов атакой Бонапарта на Египет. К мнению Булэ де ла Мерта примыкает и автор трехтомной биографии Талейрана, Лакур-Гайе (*Talleyrand*), t. I. Paris, 1930). Локк не согласен с этими суждениями и дает свое собственное. Он связывает этот отказ Талейрана от путешествия в Константинополь с тем поручением вести важные деловые переговоры с американцами, которые на него возложила Директория. А когда как раз в апреле и в мае разразился этот так называемый скандал с «иксом, игреком и зетом», т.е. с обвинением Талейрана во взяточничестве, то Директория сначала приняла на веру доклад, который представил ей в пылу благородного негодования «оклеветанный» американскими судовладельцами Талейран 31 мая 1798 г., а затем уже и не смог-

ла сместить Талейрана с поста министра, чтобы, так сказать, не дезавуировать его. Но так как переговоры с американцами летом и осенью 1798 г. пошли успешно и видоизменились обстоятельства, то и отпала вся комбинация с отправлением Талейрана в Константинополь. Умозаключение Локка: и Директория искренне хотела сначала послать Талейрана в Константинополь, и министр тоже вполне добросовестно хотел сполна сдержать обещание, данное Бонапарту. И если Бонапарт потом сердился и обвинял Талейрана в обмане, то он действовал под влиянием несправедливого раздражения¹⁸.

Все эти новейшие объяснения не весьма убедительны. Переговоры с Америкой не так интересовали Директорию, как это представляется профессору Колумбийского университета Локку, а назначение полномочным и чрезвычайным послом в Константинополь ничем бы не выразило, что Директория дезавуирует Талейрана. Этот поступок, т.е. нарушение во имя эгоистических мотивов данного обещания поехать в Турцию, до такой степени похож на Талейрана, на все его приемы и ухватки, что выдумывать слишком мудреные объяснения нисколько не приходится. Бросать доходнейшее и высокое место министра в Париже и ехать к туркам, которые сажают под сердитую руку иностранных послов в Семибашенный замок и держат их там годами (как они держали русского посла Якова Булгакова), Талейрану никакого личного расчета не было, тем более при таких шекотливых условиях: Бонапарт сражается с турками и их вассалами в Египте, а Талейран должен в это же время отводить глаза туркам в Константинополе и уговаривать их ласково, что французы, отнимая у султана Египет, в сущности, хотят ему добра...

Конечно, нарушив слово, Талейран учинил очень большое коварство по отношению к своему другу Бонапарту.

Генерал так правильно это и понял. Это было первое по отношению к нему предательство со стороны Талейрана. Оно оказалось первым, но далеко не последним.

Но теперь, в октябре 1799 г., все опасения Талейрана оказались напрасными. Не только он нуждался в Бонапарте, но и Бонапарт нуждался в Талейране.

Бонапарт шел к прямому захвату власти, и такие люди, как Талейран, были нужны завоевателю. Талейран знал всю правительственную машину Директории, весь высший служебный аппарат, все слабые стороны администрации и уязвимые места обороны.

Восторги и овации, которыми Наполеон был встречем на всем долгом пути от Фрежюса, где он высадился с корабля еще 9 октября, до Парижа, куда прибыл 16 октября, ясно показали всем и каждому, что Директории осталось жить недолго. И в самом деле: она просуществовала ровно двадцать три дня, считая с момента появления Бонапарта в столице.

Эти двадцать три дня были временем сложнейших и активнейших интриг Талейрана. Завоеватель Италии, завоеватель Египта, популярнейший человек во всей Франции нуждался в нем, в опытном политическом дельце, знающем все ходы и выходы, все пружины правительственного механизма, все настроения директоров и других первенствующих сановников. И Талейран верой и правдой служил в эти горячие три недели восходящему светилу, расчищая путь для государственного переворота. В самый день переворота, 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), на долю Талейрана выпала деликатная миссия — побудить директора Барраса добровольно подать немедленно в отставку. Бонапарт при этом вручил Талейрану для передачи Баррасу довольно крупную сумму, размеры которой до сих пор не установлены в точности. Талейран встретил, однако, у

струсившего на сей раз, хотя вообще неробкого, Барраса полную и немедленную готовность подать в отставку и так обрадовался этой неожиданно подвернувшейся возможности оставить за суматохой в собственном кармане приготовленную было для Барраса сумму, что в порыве благодарности бросился... целовать руки директора, с жаром изъявляя ему за его «добровольную» отставку признательность от имени отечества. Обо всем этом повествует Баррас, разузнавший лишь впоследствии, как дорого в денежном смысле обошлась ему излишняя поспешность в самоустранении, проявленная им в утренние часы 18 брюмера при разговоре с Талейраном. Сам Талейран, конечно, скромно умалчивает обо всем этом происшествии, очевидно, считая, что не стоит утруждать внимание потомства такими мелочами.

Дни 18 и 19 брюмера 1799 г. отдали Францию в руки Бонапарта. Республика кончилась военной диктатурой. А спустя одиннадцать дней после переворота первый консул Бонапарт назначил Талейрана своим министром иностранных дел.

Эти решающие дни, вечер 18 и весь день 19 брюмера, Талейран провел на месте действия, в Сен-Клу. Он предусмотрительно все-таки запасся экипажем и двумя кровными рысаками, в породистости которых был вполне уверен. Удастся генералу Бонапарту переворот — можно будет спокойно иноходью возвратиться в Париж, прямо в министерство иностранных дел. Не удастся переворот и убьют Бонапарта — можно будет на рысях, переходящих в галоп, умчаться за границу.

ГЛАВА III

Талейран при консульстве и Империи

1

Талейран и при Империи, и после Империи до конца дней своих утверждал то, о чем говорит и в мемуарах: «Я любил Наполеона; я даже чувствовал привязанность к его личности, несмотря на его недостатки; при его выступлении я чувствовал себя привлеченным к нему той непреодолимой обаятельностью, которую великий гений заключает в себе; его благодеяния вызывали во мне искреннюю признательность... Я пользовался его славой и ее отблесками, падавшими на тех, кто ему помогал в его благородном деле». Мы теперь знаем также, что даже в своем политическом завещании*, составленном 1 октября 1836 г., когда ему было восемьдесят два года, когда царствовал Луи-Филипп, когда престарелому князю уже ничего ни от кого не было нужно, когда династия Бонапартов считалась актом Венского конгресса навсегда исключенной из престолонаследия и никто не мог предвидеть, что этой династии еще раз суждено в будущем царствовать, Талейран писал: «Поставленный самим Бонапартом в необходимость выбирать между ним и Францией, я сделал выбор, который мне предписывался самым

* Его впервые опубликовал полностью в 1932 г. Лакур-Гайе (G. Lacour-Gayet. Talleyrand, t.III. 1815—1838).

повелительным чувством долга, но сделал его, оплакивая невозможность соединить в одном и том же чувстве интересы моего отечества и его интересы. Но тем не менее я до последнего часа буду вспоминать, что он был моим благодетелем, ибо состояние, которое я завещаю моим племянникам, большей частью пришло ко мне от него. Мои племянники не только должны не забывать этого никогда, но и должны сообщить это своим детям, а их дети — тем, кто родится после них, так чтобы воспоминание об этом было увековечено в моей семье из поколения в поколение, чтобы если какой-либо человек, носящий фамилию Бонапарта, очутится в таком положении, когда он будет иметь надобность в поддержке или помощи, чтобы мои непосредственные наследники или их потомки оказали ему всевозможную зависящую от них помощь. Этим способом более чем каким-либо другим они покажут свою признательность ко мне, почтение к моей памяти».

В чем тут дело? Зачем он всегда твердил и писал все это? Почему он выделял так упорно Наполеона из всех правителей и людей, которых он на своем долгом веку предал и продал? Могло быть отчасти, что единственно только Наполеон из всего множества жизненных встреч Талейрана в самом деле ему импонировал своим умом, своими гениальными и разнообразными способностями, своей гигантской исторической ролью. Отчасти же могло быть и то, что Талейран наиболее сильные свои эмоции обнаруживал хотя, правда, в редчайших, единичных случаях, но всегда исключительно в связи со своей неутолимой страстью к стяжанию, к золоту; мы уже видели, например, как он вел себя в первые минуты после назначения его министром в 1797 г. или 18 брюмера 1799 г., когда сообразил, что может присвоить себе тишком сумму, предназначенную для подкупа Барраса. Если в этой холодной, мертвенной душе мог-

ло зародиться нечто похожее на чувство благодарности за быстрое обогащение, то, в самом деле, это чувство могло больше всего быть заронено в нее именно Наполеоном, его «благодетелем», как он говорил.

Что такое была для Талейрана наполеоновская империя? Блеск и неслыханная роскошь придворной жизни, которые изумляли даже выдавшего виды русского посла, екатерининского вельможу Куракина; положение министра, служащего самодержавному и могущественнейшему владыке и грабителю богатейших в мире земель и народов, конгломерат которых превышал в Европе размеры былой Римской империи; пресмыкающиеся перед ним, Талейраном, короли, королевы, герцогини, великие герцоги, курфюрсты; непрерывная лесть, раболепное преклонение, заискивание со стороны бесчисленных коронованных и некоронованных вассалов; и — золото, золото, золото, бесконечным потоком льющееся в его карманы.

В счастливую для себя пору вступил Талейран в управление иностранными делами Франции при первом консуле. Австрия была побеждена в 1800 г., Пруссия была в выжидательном нейтралитете еще с Базельского мира 1795 г. С Россией в 1800-м и начале 1801 г. дело шло к тесному сближению, и хотя убийство Павла прекратило ходившие в Европе толки о союзе, но и при его наследнике отношения довольно долго оставались терпимыми.

Император Павел уже два дня лежал в гробу с закрытым кисеей лицом, когда курьер из Парижа, прибывший в Петербург 14 марта (ст. ст.) 1801 г., привез графу Федору Васильевичу Ростопчину, русскому министру иностранных дел, следующее письмо князя Талейрана (оно очень значительно по намекам, почему и приводим его полностью): «Господин граф. Курьер Нейман, который везет его императорскому величеству ответ первого консула, был бы от-

правлен раньше, если бы (мы) не ждали известия о прибытии во Францию господина графа Колычева. Теперь у нас есть уверенность, что он будет в Париже через несколько дней, и я должен выразить удовлетворение, которое я испытываю, видя, что пришел момент, когда путем открытых и углубленных переговоров обо всех предметах общего интереса будет возможно укрепить мир на континенте и подготовить свободу морей. Примите, господин граф, выражение моего высокого уважения. Шарль-Морис Талейран»¹.

Каков внутренний, скрытый, но совершенно ясный смысл в этих выложенных французских фразах талейрановского письма, фатально и непоправимо опоздавшего на двое суток? Речь идет об оформлении франко-русского соглашения, которое установит прочный мир на континенте, т.е. в понимании Наполеона, с одной стороны, и Ростопчина — с другой, обеспечит владычество франко-русского союза на европейском континенте. Вторая задача — «освобождение морей» — означает войну Франции и России против Англии, войну всеми средствами как на море, так в особенности на суше, на путях в Индию.

Подобное соглашение стало после убийства Павла, в ночь на 12 марта 1801 г., конечно, невозможным, но и ни малейших враждебных намерений против Франции со стороны России ни первый консул, ни его министр иностранных дел усмотреть на первых порах не могли. Новый император только осматривался и не спешил примкнуть ни к французской, ни к английской группировке держав. Продолжать после ночи на 12 марта политику тесного сближения с Бонапартом было, разумеется, совершенно невысказано. Но, с другой стороны, у русской дипломатии не было никаких особых побудительных причин открыто стать на сторону Англии и этим сразу же навлечь на Россию враж-

ду первого консула и его вассалов. Документы нашего Архива внешней политики показывают даже, что Александр вовсе не чуждался в некоторых случаях прямого делового дипломатического сотрудничества с Бонапартом.

Нужно сказать, что первые сношения Талейрана с Александром, начавшиеся вскоре после смерти Павла, были отмечены полной любезностью и предупредительностью. В 1801—1802 гг. новый император еще только осматривался и зондировал почву в разных направлениях. В момент гибели Павла отношения между Россией и первым консулом были необычайно дружественными, и в Европе усиленно говорили о предстоящем франко-русском наступательном и оборонительном союзе. Александр на союз не пошел, казаков, посланных разведывать дорогу в Индию, немедленно вернул, с Англией вошел в самые мирные отношения, но ссориться с могущественным Бонапартом ни в коем случае еще не собирался. В эти годы, когда первый консул стал распоряжаться в Западной Германии как хозяин, тасовать владетельных князей, герцогов, епископов, как карточных королей, одних вознаграждать за счет других и т.д., французской дипломатии важно было обеспечить за собой поддержку России, чтобы вполне обезвредить возможное противодействие со стороны Габсбургской державы и Пруссии. И Талейран в это время вовлек в работу по всему этому переустройству Западной Германии и перераспределению земель русского представителя в Париже графа Моркова. В нашем Архиве внешней политики есть письмо (черновик, «проект письма») князя Куракина Талейрану, очень интересное и по содержанию и особенно по тону. Поведение графа Моркова в Париже обыкновенно рисуется в таких красках, что выходит, будто его сварливость, несговорчивость, нескрываемая вражда к консульскому правительству были виновны в резкой порче

отношений между Парижем и Петербургом. Это было, во всяком случае в 1802 г., вовсе не так. Между Талейраном и Морковым наладились отношения такого типа, как бывает между представителями совсем дружественных держав. Достаточно ознакомиться с текстом этого письма, чтобы увидеть, до какой степени еще летом 1802 г. были не только любезны, но близки и «дружественны» в то время отношения обоих правительств. Талейран с русским послом вдвоем решали вопросы о разных возмещениях и вознаграждениях всех этих маленьких германских потентатов, и никаких затруднений, не говоря уже о протестах, со стороны России не возникало². Мало того: Куракин очень доволен, что это «могущественное посредничество» и вмешательство Франции и России в германские дела должны и будут иметь «консолидирующее» влияние на все принимаемые им и Талейраном сообща решения. При этом царь только просит, чтобы были приняты во внимание два его протеже: герцог Мекленбург-Шверинский и владетельный епископ Любекский. Все это совсем по-новому рисует и роль Моркова в Париже, и общий характер франко-русских отношений накануне Амьенского мира между Францией и Англией.

2

После Люневильского мира с Австрией в 1801 г., после Амьенского договора с Англией в 1802 г., после установления корректных отношений с Александром I руки у Бонапарта оказались развязанными для ограбления соседей.

В эти годы почти непрерывных захватов и перетасовок территорий роль французского министра иностранных дел была не весьма затруднительной: первый консул (вскоре

превратившийся в императора) захватывал чужую землю, а Талейран стилистически оформлял сообщение о случившемся. Так, например, осенью 1802 г. первый консул ввел войска в Швейцарию, — и Талейран спешит циркулярно разъяснить, что это сделано «не затем, чтобы лишить Швейцарию свободы, но затем, чтобы успокоить раздирающие ее смуты» (каковых вовсе не было)³.

Таковы были методы как властелина, так и исправного исполнителя его велений, князя Талейрана, который впоследствии с такой благороднейшей грустью изъяснял, как ему бывало тяжело «быть палачом Европы».

Наполеон проявлял благоволение к своему министру, а это благоволение сказывалось усилением его влияния и, параллельно, увеличением его доходов в неслыханной степени. Талейрану везло в эти годы во всех отношениях.

Его светские успехи в это время были невероятны, и в свои пятьдесят лет он оказывался так же неотразим для женщин, как и в самую цветущую пору молодости.

Одна из этих авантур окончилась неожиданно для князя досаднейшей и крупнейшей неприятностью — женитьбой. Инцидент интересен для истории быта.

Еще в 1798 г. Талейран, министр иностранных дел при Директории, познакомился с молодой разведенной женой одного служившего в Индии чиновника, госпожой Гран, которая и родилась и воспитывалась в Индии. Ее заподозрили в переписке с эмигрантами, когда она поселилась в Париже, и арестовали. Талейран и устно и письменно ходатайствовал за нее перед Баррасом, и Директория (не без труда) ее освободила. Госпожа Гран была необыкновенно красива лицом и обладала классически прекрасной фигурой. Талейран увлек ее, как он всегда умел очаровывать женщин, которыми желал овладеть. Она в конце концов поселилась у него в доме. Дело было в 1802 г. Но тогда жены

послов и другие дипломатические дамы дали понять, что они-де оскорблены в своих непреодолимо высоконравственных чувствах и что поэтому отныне не будут посещать балов в министерстве иностранных дел. Неприятная история эта дошла до Наполеона. Сначала он предложил Талейрану на выбор: или прогнать немедленно из дома госпожу Гран, или (тоже немедленно) с ней обвенчаться. А повидавшись с госпожой Гран, первый консул стал настаивать именно на женитьбе своего министра. По слухам, ходившим в тогдашних светских кругах в Европе, Бонапарта деликатно уведомили (может быть, по наущению самого Талейрана), что госпожа Гран отличается совсем непозволительными, из ряда вон выходящими размерами глупости. Но, как известно, Наполеон вовсе не считал для женщин ум предметом первой необходимости. Он остался поэтому непреклонен. Талейран знал, что Наполеон, будучи деспотом с ног до головы, кого угодно женил на ком хотел, и выдавал замуж за кого хотел, и разводил с кем хотел. Именно по поводу брака Талейрана Фредерик Лолье привел из неизданных семейных архивов следующий случай. Наполеон однажды приказывает явиться владельческому западногерманскому князю Аренбергу и объявляет ему без малейшего предупреждения: «Вы завтра женитесь». — «Государь, мое сердце не свободно, избранная мной невеста рассчитывает на мое слово и на то, что мы с ней связаны навеки». «Ну что же, развяжитесь (*désengagez vous*). Вы женитесь завтра и женитесь на той, которую я вам назначаю. Если же вы будете представлять возражения, то мы с вами увидимся в Венсеннском замке!» Свадьба после этого обещания возымела моментальный успех. На другой же день вечером свадьба состоялась. Новобрачная, которая давно уже была тоже со своей стороны обречена с другим, узнала о своей участи и об имени свое-

го нового жениха так же внезапно, как Аренберг об имени своей новой невесты.

Талейран понимал, что если так обращаются с суверенными князьями, то с ним и подавно не будут церемониться. Да при наполеоновском дворе даже и в голову не могло прийти сопротивляться воле владыки. Раздумывать было бесполезно. Талейран махнул рукой и вступил в законный брак.

По преданию, Талейран, еще когда при Директории хлопотал об освобождении этой красавицы, в которую был уже тогда влюблен, говорил об этой своей будущей жене властям: «Примите во внимание, что она глупа до самой крайней степени вероятия и не в состоянии ничего понимать».

Большой роли эта особа в жизни Талейрана не играла. «Ведь глупая жена не может компрометировать умного мужа, — говаривал князь Талейран, — компрометировать может только такая, которую считают умной». Впрочем, у нас есть точные данные, что легендарная глупость княгини Талейран несколько не мешала ей тоже брать взятки с просителей, например, с графа Бентгейма. Для выполнения такого рода поручений своего мужа у нее ума хватало.

Супруги впоследствии жили раздельно с тех пор, как Талейран приблизил к себе и поселил у себя жену своего племянника, герцогиню Дино, которая и стала хозяйкой его дома до самой смерти князя.

При дворе карьера Талейрана развертывалась с каждым годом все шире и ярче. Его звезда была в зените.

Наполеон последовательно сделал его министром иностранных дел, великим камергером, вице-электором, владетельным князем и герцогом Беневентским. Даже не считая оклада министра иностранных дел, Талейран получал за все эти должности без малого полмиллиона франков

золотом в год (495 тысяч, а с министерским окладом — больше 650 тысяч в год). Для сравнения напомним, что в эти самые годы рабочая семья в Париже, получавшая от общей работы всех ее членов полторы тысячи франков в год, считалась благоденствующей и на редкость взысканной милостями судьбы.

Кроме колоссальных законных доходов, у Галейрана были и тайные доходы, несравненно более значительные, о точных размерах которых можно лишь догадываться по некоторым случайно ставшим известными образцам. Эти нелегальные доходы исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами. Наполеон, завоевывая Европу и превращая в вассалов и покорных данников даже тех государей, которым он оставлял часть их владений, постоянно тасовал и менял этих подчиненных ему крупных монархов и мелких царьков, перебрасывал их с одного трона на другой, урезывал одни территории, прирезывал новые уделы к другим территориям. Заинтересованные старые и новые, большие и маленькие монархи вечно обивали пороги в Тюильрийском дворце, в Фонтенбло, в Мальмезоне, в Сен-Клу. Но Наполеону было некогда, да и нелегко было заставить его и получить аудиенцию при непрерывных его войнах и походах. И кроме того, Наполеон принимал свои решения, только выслушав доклад своего министра иностранных дел.

Можно легко себе представить, какие беспредельные возможности открывались на этой почве перед князем Галейраном. Тут уже дело могло идти не о скромном «сладеньком» (sweetness) в каких-нибудь пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, по поводу которых так неприлично скандалила в свое время «неотесанная деревенщина» из Соединенных Штатов. Впрочем, даже и эти «косолапые дикари» из девственных прерий в конце концов попривыкли к столичному обхождению, и, например, когда Роберт Ливинг-

стон заключал от имени Штатов торговый договор с Францией, то он уже беспрекословно выложил Талейрану предварительно два миллиона франков золотом, во избежание проволочек. (Проволочек не последовало.) Когда Наполеон заключил мир с Австрией после победы своей при Маренго, то он подарил Талейрану за труды триста тысяч франков, что не помешало Талейрану получить одновременно и от императора австрийского Франца четыреста тысяч франков, а кроме того, ловко маневрируя в деле о замаскированной контрибуции, которую должна была уплатить Австрия, Талейран заработал на внезапном подписании и обнародовании мирного (Люневильского) трактата в 1801 г. около пятнадцати миллионов франков. Из этих пятнадцати миллионов семь с половиной миллионов были им получены «авансом» еще во время переговоров. По существу дела далеко не всегда можно определить цифру его взяток. Например, когда Наполеон приказал продать Луизиану Соединенным Штатам, то переговоры о сумме вел Талейран, и американцы вместо восьмидесяти миллионов, о которых шла речь вначале, уплатили Франции всего пятьдесят четыре миллиона: точная цена аргументов, которыми американцы вызвали такую широкую уступчивость со стороны французского министра иностранных дел Талейрана, осталась невыясненной и доселе.

Знал ли Наполеон о том, как его обманывает и обворовывает его министр? Конечно, знал, точно так же, как Петр I знал о проделках Александра Даниловича Меншикова. И Наполеон по той же самой причине долго не прогонял прочь Талейрана, по которой Петр не гнал, а только бил Меншикова дубиной. Наполеон, впрочем, не колотил Талейрана дубиной, а только один раз (хотя, правда, с затратой мускульной энергии) схватил его публично за шиворот; но расстался с ним нехотя, не скоро — и, в сущ-

ности, не только из-за взяток. Очень уж он был нужен и полезен Наполеону.

Для «бытовой», так сказать, истории Талейрана в годы его министерства при Наполеоне можно привести довольно много любопытных документов. Хотя обыкновенно и взятодатели и взятополучатели очень скромно, скупно и неохотно повествуют на бумаге о своих деяниях, но при ежедневной практике Талейрана все-таки кое-какие детали сохранились.

Приехал граф Бентгейм-Штейнфурт из мелких немецких князьков, обивавших неделями, месяцами, годами пороги у Талейрана, хлопоча о своих владениях и приращении таковых. Ничего как-то не выходит. Датский посол дрейер его учит, что без взятки не обойдется и что лучше бы всего в данном случае действовать через жену Талейрана. Князек боится. Тогда Дрейер берет на себя щекотливые переговоры с супругой министра иностранных дел, которая отличалась не только поразительной красотой и выходящей за всякие пределы глупостью, но и невероятной жадностью. Месяц идет за месяцем, приехал Бентгейм в декабре 1803 г., уже идет май 1804 г., а дело — ни с места. Он вручает другу Дрейеру пятьдесят тысяч франков золотом для передачи княгине. Но не тут-то было: «Дрейер (пишет князь Бентгейм) имел страшную сцену с г-жой Талейран, которая потребовала у него в самых оскорбительных выражениях сто тысяч франков, не желая довольствоваться пятьюдесятью тысячами»⁴. Пришлось дать — и мигом все было сделано: Талейран доложил наконец Наполеону дело, и император, ничего этого не знавший, подписал без всяких споров. Такова была ежедневная практика.

Сент-Бёв, поместивший в 1869 г. несколько статей в газете «Temps» о Талейране по поводу довольно поверхностной книги английского историка и романиста Бульвер-

Литтона, прибавляет от себя кое-какие интересные черты на основании рассказов и устных воспоминаний людей, которых французский критик еще застал в живых. Вот одно из этих воспоминаний.

«Господин Талейран, что вы сделали, чтобы так разбогатеть?» — неблагосклонно спросил Наполеон. «Государь, средство было очень простое: я купил бумаги государственной ренты накануне 18 брюмера и продал их на другой день», — ответил тонкий льстец, напоминая этим Наполеону, как сразу же после переворота, сделавшего Наполеона самодержцем, все французские ценные бумаги повысились в цене. «На этот раз не было возможности рассердиться; лисица ловким приемом, свойственным ей, выскользнула из когтей льва», — прибавляет, рассказав это, Сент-Бёв⁵.

Интереснее всего, что оба были правы: и государь, и подданный. Наполеон был прав, явно подозревая Талейрана в плутнях и взяточничестве, а Талейран, отвечая грозному вопрошателю, тоже по-своему был прав, потому что он в самом деле сильно нажился на биржевой игре после переворота 18 брюмера. Талейран всю свою жизнь плутовал и играл на бирже, и одно нисколько не мешало другому, — напротив.

Обогащение шло в грандиозных размерах. Такие наблюдатели, как Стендаль, всегда подчеркивали, что сам Талейран приучил людей «презирать маленькие низости, когда они не приносят абсолютной пользы»⁶.

Золотой дождь лился над империей, захватившей постепенно, прямо или косвенно, почти весь континент Европы. Императорская казна была неистощима, подрядчики быстро пополняли кадры крупной буржуазии и составляли себе громадные состояния. «Во время империи никто не торговался, кроме Талейрана, и то толь-

ко когда он продавал свои ноты и мнения. Недостало денег в одном месте, — контрибуция в другом, две контрибуции в третьем» — это замечание Герцена, случайно им брошенное по поводу владычества Наполеона в Швейцарии в путевых заметках («Альпийские виды»), необычайно подходит к тому, что только что нами рассказано и о времени Наполеона вообще и о деяниях его величественного министра иностранных дел в частности.

3

Император, разумеется, знал и презирал Талейрана за его характер и за его «мораль» (если позволительно тут до курьеза нехстати употребить этот термин), но он восхищался тем, как умеет работать эта голова, как умеет она искать и сразу находить разрешение сложных и запутанных дипломатических проблем. А за это он прощал все. В огромной апокрифической литературе о Наполеоне, распространенной во Франции уже в половине XIX столетия, передается фраза, будто бы сказанная Наполеоном относительно министра полиции Фуше после провокаторского раскрытия Фуше одного террористического заговора: «Те, кто хочет меня убить, дураки; а те, кто меня от них спасает, — подлецы». Вероятно, он ничего подобного, во всяком случае, во всеуслышание, не говорил. Но такой апокриф мог легко возникнуть, потому что всем хорошо было известно, как император относится к Фуше. Талейрана он, в смысле нравственных качеств, иногда приравнивал к Фуше, но в оценке интеллекта, конечно, никогда не ставил их на одну доску.

Полицейская, шныряющая, подпольная хитрость и провокаторская ловкость Фуше были нужны Наполео-

ну для охраны своей жизни, а ум Талейрана был ему нужен для оформления, систематизации и для дипломатических функций по окончательной реализации тех грандиозных задач, в которых Наполеон видел свою историческую славу. Талейран не подсказывал ему, что нужно сделать, но давал превосходные советы о том, как лучше оформить желаемое императором.

Талейран, по своим манерам старорежимный вельможа, умел передать как следует повеление Наполеона, умел провести трудное объяснение с иностранными дипломатами без той резкости и казарменной грубости, без тех приступов гнева, которые далеко не всегда были чисто актерскими выходками у Наполеона и которые именно в тех случаях, когда не были умышленным комедианством, очень вредили императору.

Талейран жил «душа в душу» с Наполеоном все первые восемь лет диктатуры, и — что бы он впоследствии ни утверждал — никогда он в эти годы не отваживался остановить Наполеона, уговорить его хоть несколько умерить территориальное и всяческое иное завоевательное грабительство, никогда он не пытался давать советы умеренности и благоразумия, на которые он так щедр задним числом в своих мемуарах. Он изменил Наполеону лишь тогда, когда убедился в своевременности и выгоды для себя этого поступка. Но это было лишь впоследствии. Талейран хотел бы навязать себе в глазах читателей его мемуаров роль шиллеровского маркиза Позы, говорившего правду Филиппу II, или (если бы он знал русскую историю) роль, аналогичную позиции князя Якова Долгорукого при Петре, — словом, опасное, но почетное амплуа бесстрашного правдолюбца, видящего честную свою службу в том, чтобы удерживать государя от

необузданного произвола. Эта претензия до курьеза необоснованная: он и пальцем не двинул, чтобы хоть раз удержать или успокоить Наполеона, предостеречь его от несправедливости или жестокости. Лучшим в этом отношении примером может послужить кровавое дело о казни герцога Энгиенского, с которым крепко связано имя Талейрана, несмотря на упорные его усилия скрыть и извратить истину; а ведь Талейран доходил даже до специальных поисков и истребления официальных документов уже в начале Реставрации (в апреле 1814 г.).

Роль Талейрана в этой драме такова. Именно Талейран ложно указал Наполеону (в разговоре 8 марта 1804 г.), будто живущий на баденской территории герцог Энгиенский руководит заговорщиками, покушающимися на жизнь первого консула и заявил при этом, что очень легко и удобно приказать начальнику пограничной жандармерии, генералу Коленкуру, просто-напросто послать отряд жандармов на баденскую территорию, схватить там герцога Энгиенского и привезти его в Париж. Маленькое затруднение было в том, что приходилось, таким образом, среди мира вдруг вопиюще нарушить неприкосновенность чужой территории. Но Талейран сейчас же взялся уладить и оформить дело и написал соответствующую бумагу баденскому правительству, причем, чтобы не дать герцогу Энгиенскому возможности как-нибудь проведать и бежать из Бадена, Талейран поручил генералу Коленкуру передать это письмо, полное лживых обвинений, баденскому министру уже после ареста и увоза во Францию герцога Энгиенского.

Герцог Энгиенский был схвачен французскими жандармами, привезен в Венсеннский замок, немедленно судим военным судом и в ту же ночь, 21 марта 1804 г., расстрелян, несмотря на полнейшее отсутствие улик. Сам Наполеон, никогда не любивший сваливать на кого бы то

ни было ответственность за свои поступки, через много лет в припадке гнева, как увидим далее, в глаза и публично бросил Талейрану роковые слова: «А этот человек, этот несчастный? Кто меня уведомил о его местопребывании? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним?» И Талейран ничего не посмел ответить. Он, таким образом, принял деятельное и, по существу, инициативное участие в этом кровавом событии. Ему это было нужно, во-первых, чтобы доказать Наполеону свою ретивость в охране жизни от покушающихся, во-вторых, чтобы терроризовать роялистов казнью принца Бурбонского дома, так как Талейран продолжал все время опасаться за свою участь в случае реставрации старой династии. Словом, ему это убийство показалось тогда полезным, — он и подтолкнул на это дело Наполеона и активно помог в совершении самого акта.

Вот что сообщил Наполеон английскому доктору Уордену на острове Св. Елены, говоря о герцоге Энгиенском: «Министры настаивали на аресте герцога Энгиенского, хотя он жил на нейтральной территории. Я все еще колебался. Князь Беневентский дважды мне подносил приказ и со всей энергией, на какую он был способен, настаивал, чтобы я подписал... Мне прожужжали уши (*j'avais les oreilles gabattues*) тем утверждением, что новая династия никогда не будет упрочена, пока останется хоть один Бурбон. Талейран никогда не отклонялся от этого принципа. Это было основой, краеугольным камнем его политического кредо... Результатом моих размышлений было то, что я всецело примкнул к мнению Талейрана»⁷.

Говоря об этом же деле с лордом Элбрингтоном, Наполеон прибавил, что его тронуло, когда ему сказали, что герцог Энгиенский (уже после приговора) хотел с ним говорить. «Но Талейран мне помешал, сказав: не компромети-

руйте себя с Бурбоном! Вы не знаете, какие могут от этого быть последствия!»⁸

Письмо, которое герцог Энгиенский перед расстрелом написал Наполеону и которое, безусловно, повело бы к помилованию, именно поэтому было задержано Талейраном, который вручил его Наполеону тотчас после состоявшейся казни. Стендаль видел копию этого письма в руках Ласказа⁹.

Это ничуть не помешало Талейрану представить потом дело так, будто он был решительно ни в чем не повинен и всецело осуждал несправедливый, варварский поступок Наполеона. Это ему не помешало также (что гораздо любопытнее и с психологической стороны гораздо сложнее) разыграть впоследствии в самом деле потрясающую сцену встречи с отцом расстрелянного герцога Энгиенского, сцену, которую ни Шекспир, ни Достоевский не выдумали бы.

Дело было в 1818 г., уже при Реставрации. Князь Талейран состоял тогда великим камергером при короле Людовике XVIII (на той же самой придворной должности, как и при Наполеоне I), и ему было очень неприятно, что как раз тогда, в 1818 г., переселился в Париж старый принц Конде, отец расстрелянного за четырнадцать лет до того герцога Энгиенского. Старик все не мог утешиться в потере своего единственного, обожаемого им с детства сына. Предстояла тягостная встреча этого королевского родственника с великим камергером Талейраном. Было неловко. Тогда Талейран очень искусно устраивает себе знакомство с близкой принцу Конде женщиной и рассказывает ей великую, святую тайну, которую доселе скромно хранил в благородной груди своей, но теперь, так и быть, поведает: не только на него напрасно клеветают, укоряя в убийстве герцога Энгиенского, но он, князь Талейран, даже своей собственной головой рискнул, лишь бы спасти не-

счастливого молодого человека! Да! Он послал тайком письмо с предупреждением герцогу, чтобы тот немедленно спасся, но герцог не внял совету, остался — и на другой день был схвачен французскими жандармами и увезен в Венсенн. Ясно, что узнай Наполеон об этом отчаянном поступке своего министра, — и голова Талейрана скатилась бы с гильотины. Можно ли требовать от человека большего благородства и великодушия?.. Излишне прибавлять что-либо о полной вздорности этой курьезнейшей выдумки. Но, как это ни странно, принц Конде поверил (не следует забывать, что улики против Талейрана тогда еще не были полностью известны), и при ближайшей встрече старик бросился со слезами благодарить Талейрана за самоотверженные, почти геройские, хотя, увы, и безуспешные усилия спасти его несчастного сына. Талейран принял эти изъявления признательности с тем же тактом, с той же спокойной сдержанностью и достойной скромностью, с какими тогда при Наполеоне он принял особые награды (в том числе командорскую ленту Почетного легиона), посыпавшиеся на него вскоре после расстрела герцога Энгийенского, за его заслуги в деле обнаружения и ареста герцога. Эти награды Талейран получил как раз перед принятием Наполеоном императорского титула.

Принятие императорского титула Наполеоном в 1804 г. было лишь чисто внешним переименованием самодержца, захватившего верховную власть 18 брюмера 1799 г. Но вот как красноречиво объяснял Талейран в официальной бумаге к французским послам за границей значение коронования 2 декабря 1804 г.: «Помазание и коронование его императорского величества окончило революцию. Они поставили Францию под управление правительства, которое приличествует ее пространству и ее привычкам и от которого отказались после четырнадцати столетий только

затем, чтобы броситься в туманные умствования, не имеющие связи с прошлым и не дающие никакой гарантии для будущего». Описывая далее все великолепие коронавания, «энтузиазм» народа по адресу «того, кто спас государство, укрепил внутренний мир, исполняет надежды всех», Талейран подчеркивает, что «отныне власть императора освящена»¹⁰.

4

Прошли торжества коронации Наполеона, на которых Талейран играл блестящую роль, и замелькали феерические события императорской эпопеи: непрерывные великолепные балы в Париже и окрестных дворцах, изредка поездки Талейрана в новый его собственный замок Валансэ, колоссальный и роскошно убранный, поездки в свите императора то в Булонь, откуда готовилось нападение на Англию, то в поход против Австрии, в Вену и к Аустерлицу, то в поход против Пруссии, в Берлин, в Варшаву, в Тильзит, то опять в Париж, где жизнь для осыпаемого милостями и наградами императорского министра протекала в роскоши, в почете, в новых любовных приключениях, в наслаждениях всякого рода, в аудиенциях и доверительных беседах с императором, когда он первый узнавал о предстоящих переменах в судьбах Европы и получал инструкции. По-прежнему он не отваживался противоречить Наполеону, — напротив, поддакивал ему во всем, даже не заикнулся, например, о том, что считает губительной мерой континентальную блокаду, провозглашенную Наполеоном 21 ноября 1806 г. в Берлине. А Талейран считал ее таковой. Разгром Пруссии окончательно сделал Наполеона полным хозяином всей Германии. Все пресмыкались во

прахе перед императором и все чаяли себе спасения только в милостивом заступничестве со стороны Талейрана. Саксонский король в знак благодарности за разные милости дал Талейрану миллион франков золотом. Вообще говоря, золотой дождь продолжал литься на министра иностранных дел. Тратил он деньги тоже совсем без счета: и на украшения своего великолепного замка в Валансэ и дворца в Париже, и на волшебные-роскошные балы, банкеты и ужины, где бывало по пятьсот человек приглашенных, и на охоты, и на карточную игру, — а новые и новые груды золота пополняли его кассу.

Но в эту новую войну, 1806 и 1807 гг., Талейран стал впервые серьезно ставить перед собой один вопрос: чем все это кончится? Правда, счастье продолжало сопутствовать Наполеону. Пруссия была раздавлена и ампутирована Тильзитским трактатом так, что от нее остался лишь какой-то небольшой обрубок; русская армия потерпела поражение под Фридрихсвандом; в Тильзите Александр принужден был вступить с Наполеоном в союз. Но Талейран хорошо помнил недавнее страшное побоище при Эйлау, где легли десятки тысяч с каждой стороны и где, в сущности, русские вовсе не были разбиты, вопреки наполеоновскому бюллетеню. Талейран с беспокойством провел эти четыре месяца между Эйлау и Фридрихсвандом. Все в конце концов обошлось и на этот раз благополучно: Наполеон вернулся в Париж с новой силой, с новым блеском, с новым колоссальным приращением могущества. Но надолго ли?

Талейран всегда утверждал также, что еще весной и летом 1806 г., перед войной с Пруссией, он делал все от него зависящее, чтоб этой войны избежать. Он жаждал мира с Англией и Россией. Именно он вел сложные переговоры сначала с лордом Ярмутом, а потом с лордом Лаудердэлем

о мире с Англией. Именно ему удалось совсем пленить русского дипломата Убри (Oubril) и даже составить проект мира с Россией, не ратифицированный Александром I. Наполеон нехотя склонялся летом 1806 г. к этой мирной программе. Талейран решительно видел еще до разгрома Пруссии в 1806—1807 гг., что незачем все снова и снова рисковать и ставить на карту великолепное положение Франции, которого страна достигла в первые годы наполеоновской диктатуры.

Но император уже утратил представление о границах возможного и неудержимо шел к дальнейшему расширению своего могущества.

Талейран видел ясно, что на этом пути остановиться трудно и что Наполеон хочет идти и уже идет прямой дорогой к созданию мировой империи, которая для своей консолидации потребует опрокинуть два оставшихся препятствия — Англию и Россию. Князь убежден был, что дело затеяно фантастическое, несбыточное и что Наполеон не может не погибнуть, если будет упорствовать.

Всемирная монархия если и осуществилась бы, то на мгновение, и неизбежная гибель ненасытного завоевателя повлечет за собой катастрофу для Франции. Именно этим соображениям Талейран и приписывает внезапную свою отставку, последовавшую сейчас же после Тильзитского мира, 10 августа 1807 г. Именно ненасытная завоевательная жадность и жестокость Наполеона в Тильзите и заставила будто бы Талейрана решиться на этот шаг. «Я не хочу быть палачом Европы», — якобы сказал при этом уходящий министр. В тираническом самовластии победителя и повелителя Европы он видел неминуемый зародыш новых войн и конечной гибели Наполеона и хотел вовремя отойти и «думать о будущем». Таково объяснение отставки со стороны наиболее заинтересованного лица, т.е. самого Та-

лейрана. Послушаем теперь объяснение Наполеона: «Это талантливый человек, но с ним ничего нельзя сделать иначе, как платя ему деньги. Король баварский и король вюртембергский приносили мне столько жалоб на его алчность, что я отнял у него портфель». Где же правда? Как иногда (далеко не всегда) бывает, истина на этот раз, вероятно, обретается «посередине». Талейрана в самом деле напугал Тильзит именно тем, что полная победа над всей Западной Европой и одновременное принуждение императора Александра I к союзу делали Наполеона хозяином поработанного европейского континента, что, по существу, не могло не быть причиной новых отчаянных и кровопролитнейших войн; и действительно, министр Талейран уже искал себе нужного положения в том далеком будущем, когда выгоднее будет быть не с Наполеоном, а против Наполеона. Он поэтому не прочь был уйти после Тильзита, может быть, даже еще после Эйлау. Но, с другой стороны, прав по-своему и Наполеон, полагавший, что это он, император, прогнал Талейрана за слишком бесцеремонные вымогательства у вассальных королей. Было и то и другое. Наполеон, конечно, стал выговаривать Талейрану по поводу этих грабительских и взяточнических поступков. Но ведь император не первый, а десятый раз говорил со своим величавым министром на эту шекотливую тему, и тот всегда умел тактично выслушать, с достоинством раскланяться и сановито помолчать или перевести разговор на менее шекотливые предметы. Но на этот раз, когда Талейран уже сам подумывал об уходе, он, конечно, мог ухватиться за предлог, мог обнаружить внезапную обидчивость и подать в отставку.

Он и сделал это так тонко и умно, что еще сам же Наполеон почел нужным щедро вознаградить своего уходящего министра, и спустя четыре дня после подачи в отставку

ку император дал указ сенату, которым объявлял о назначении Талейрана, князя Беневентского, великим вице-электором, с титулом «высочества» (как принцы императорской фамилии) и с наименованием «светлейшего» (*serenissime*), а сверх того — с окладом в триста тысяч франков золотом в год. Обязанности же Талейрана состояли отныне лишь в том, чтобы являться в торжественные дни ко двору в costume из красного бархата с золотым шитьем и белых атласных панталонах и становиться сбоку императорского трона. Все это очень устраивало Талейрана. Можно было издали и в безопасности ждать развития событий, отделив отныне личную свою судьбу от судьбы Наполеона, с которым, однако, после этого милостивого назначения отношения установились самые лучшие.

Конечно, Наполеон знал, что ни первый преемник Талейрана по должности министра иностранных дел герцог де Кадор, ни преемник де Кадора статс-секретарь Маре не идут по своим способностям ни в какое сравнение с Талейраном.

Наблюдая надменное поведение Маре, сразу же очень возгордившегося, когда Наполеон пожаловал ему титул «герцога Бассано», Талейран сказал: «Теперь есть во Франции человек, который глупее Маре; а именно герцог Бассанский»¹¹.

Подобные выходки Талейрана становились известными далеко за пределами Франции и возбуждали непримиримую к нему ненависть со стороны новых министров, которыми приходилось обзаводиться Наполеону после отставки Талейрана и Фуше. Именно герцог Бассано и его жена помешали в 1812 г. назначению Талейрана полномочным представителем в Варшаву вместо Прадта, о чем подумывал некоторое время Наполеон. Император впоследствии жаловался на эти «интриги» супругов Бассано герцогу Коленкуру.

Вообще Талейран решил, что есть полная возможность, уже не неся никакой формальной ответственности, пользоваться беспрепятственно всеми выгодами, которые может дать близость к императору. Затеял Наполеон в 1808 г. (собственно, еще в 1807 г., вскоре после Тильзита) завоевание Испании и Португалии. Талейран и впоследствии относился к этому предприятию как к проявлению самого дикого, возмутительного и, главное, ненужного произвола, так как обе династии, царствовавшие на Пиренейском полуострове — и Браганца в Португалии, и Бурбоны в Испании, — рабски повиновались Наполеону, трепетали от каждого его слова, ловили на лету его приказы, угадывали и исполняли все желания. Поэтому Талейран много раз утверждал, что нападение на Испанию и Португалию было грубейшей, губительной ошибкой, что император себя этим поступком ослабил.

Но все эти благоразумные мнения Талейран стал выражать лишь попозже.

Теперь может считаться доказанным, что еще в 1807 г. Талейран очень одобрял планы Наполеона, касавшиеся Испании, и громогласно говорил (например, придворной даме Ремюза), что испанские Бурбоны — неудобные соседи для императора и что хорошо бы эту династию ликвидировать («я не думаю, чтобы возможно было их сохранить»). И в Испании это знали. По крайней мере, когда наследник испанского престола Фердинанд был отправлен на подневольное жительство в замок Талейрана в Валансэ, то гости не могли скрыть своего страха и отвращения к изящному и «гостеприимному» хозяину замка. Это не помешало Талейрану, когда испанские дела Наполеона запутались, пустить слух, будто он, мол, не советовал императору начинать испанское предприятие, но что же с го-

сударем поделаешь, когда он не слушается благоразумных советов своих верных слуг?

Приведем еще показание участника наполеоновских войн, Стендаля: «Талейран не переставал твердить Наполеону, что не будет безопасного существования для его династии, пока он не уничтожит Бурбонов. Лишить их престола было недостаточно...» Это он говорил по поводу низложения династии испанских Бурбонов с престола в 1808 г.¹² Стендаль был очень осведомлен в испанских делах Наполеона, и это показание современника подкрепляет другие аналогичные свидетельства.

Несмотря на то что Талейран, по-видимому, в самом деле подталкивал Наполеона к тому, чтобы отправить на тот свет всю испанскую ветвь Бурбонов, император на это не решился и удовольствовался их арестом и отсылкой на долгие годы в плен во Францию.

Когда затем, весной 1808 г., испанский народ начал совсем неожиданно свое яростное сопротивление завоевателю, тогда и по давню Талейран стал смотреть на этот не потухавший пожар народной войны в Испании, как на начало грядущей катастрофы великой империи. Талейран все это весьма красноречиво излагает и в своих мемуарах и в разговорах с современниками (которым доверял, вроде госпожи де Ремюза), но самого Наполеона он не только не предостерег от губительного шага, а, напротив, похваливал его, льстил ему и все норовил урвать что-нибудь и для себя лично от этого нового наполеоновского завоевания. Словом, он столь верноподданнически и преданно поддакивал императору, что тот, захватив Фердинанда, наследника испанского, и еще двух принцев испанского дома в Байонне (куда завлек их обманом), отправил этих испанских принцев в качестве пленников в замок Талейрана, в Валансэ, где они и прожили почти до конца Империи. Талейран с горечью говорил

впоследствии в мемуарах, что император выбрал его поместить, «чтобы сделать его замок тюрьмой» для испанских Бурбонов. Талейран забывает при этом прибавить, что, очевидно, с целью хоть несколько смягчить свою великодушную скорбь по этому поводу, сам он спустя некоторое время стал настойчиво выпрашивать у казны два миллиона франков на ремонт замка Валансэ, якобы необходимый ввиду содержания там принцев. На самом деле колоссальнейший и уже до той поры роскошно убранный и меблированный замок с многочисленными пристройками ни малейшего ремонта не требовал для размещения трех человек и нескольких служителей. На их содержание, впрочем, деньги обильно отпускались казной с первых же дней их плена.

Испанский пожар начинал разгораться. Испанцы заставили при Байлене капитулировать целый французский корпус генерала Дюпона. Европейские вассалы и коронованные вассалы и рабы Наполеона, глядя на Испанию, начали смутно надеяться; ходили слухи об австрийских вооружениях; среди германской университетской молодежи возникало брожение против грозного завоевателя. И вдруг Талейран получает извещение, что Наполеон желает взять его с собой, хотя он уже и не министр, в Эрфурт, на свидание с Александром I.

Так наступил новый решающий миг, новый поворот в судьбе Талейрана.

5

Александр Павлович, император всероссийский, ехал в Эрфурт к Наполеону в сентябре 1808 г. в не весьма бодром состоянии духа. Перед самым отъездом он получил большое письмо от матери. Мария Федоровна выражала в

этом письме не только общедворянские и общепридворные озлобленные, растерянные настроения касательно дружбы и заключенного в 1807 г. в Тильзите союза царя с французским завоевателем, но и еще более острые и злободневные тревоги, вызванные этой поездкой царя в далекий город, занятый наполеоновскими войсками. У всех свежо было в памяти, как всего за четыре месяца перед тем, в мае того же 1808 г., дружески приглашенная Наполеоном в Байонну испанская королевская семья была в полном составе предательски арестована и разслана — кто в Фонтенбло, кто (как упомянуто выше) в замок Валансэ. Где было ручательство, что Наполеон не проделает того же в Эрфурте с Александром, который будет там всецело в его руках? Экономические интересы русского дворянства и купечества жестоко подрывались навязанной Наполеоном России континентальной блокадой и прекращением сбыта русского хлеба и сырья в Англию. В Зимнем дворце получались анонимные письма, которые напоминали царю об участи, постигшей его отца, Павла, именно как только он тоже вступил в дружбу с Бонапартом. Рубль быстро падал в своей прежней покупательной силе. Конечно, Александр ответил своей матери твердо и обстоятельно, подчеркивая необходимость оставаться в мире с колоссальной Французской империей. Аустерлиц, Фридланд и Тильзит, две проигранные войны и «позорный» мир научили осторожности. Но хорошего от свидания с «союзником» ни Александр I, ни его свита не имели оснований ожидать. Мощь Наполеона казалась в тот момент монолитной гранитной скалой. На континенте царило безмолвие, прерываемое только неясными слухами, шедшими из далекой Испании, — слухами о поголовном крестьянском восстании, о яростных партизанских боях и массовых расстрелах

этих партизан французами. Но остальная Европа покорялась, страшилась и молчала.

28 сентября 1808 г. оба императора съехались в Эрфурте. В свите Наполеона было столько королей и прочих монархов, французская императорская гвардия была так огромна и великолепна, смотры и парады, чуть не по два в день, были так блестящи, что впечатление несокрушимого могущества Наполеона должно было еще более усилиться у русских гостей.

И вот Александра ждало тут одно изумительнейшее и абсолютно неожиданное для него происшествие. Это событие было связано со встречей царя и Талейрана.

Предварительно следует сказать несколько слов о репутации Талейрана в России.

В России не только очень хорошо знали вообще о душевных красотах князя Талейрана, но были с давних пор подробно осведомлены и о многих конкретных фактах из его обширной деятельности. Знали, например, что в конце 1804 г. Талейран, успешно поторговывая большими и малыми княжествами и герцогствами средней Европы, приценивался к продаже Голландии и готов был получить с одного из претендентов четырнадцать миллионов франков¹³. У нас очень хорошо знали, что окончательное порабощение Голландии было оформлено, согласно приказам Наполеона, именно Талейраном в специальных декретах и декларациях. «Виданы ли были когда-нибудь более возмутительные (заявления), чем те, которые изложены в «Монитере» от 18 апреля и которые, конечно, могут быть только делом рук подлого Талейрана, этого монаха-расстриги, такого же порочного в моральном, как и в физическом отношении?» — так писал Нессельроде, бывший русским представителем в Гааге 25 апреля 1806 г.¹⁴.

И вот Талейран собственной особой предстал перед русским императором, приехавшим в Эрфурт.

Когда Александр сидел вечером, после одного из утомительных парадных эрфуртских дней, в гостиной княгини Турн-и-Таксис, туда пришел Талейран и повел странные речи.

Нужно сказать, что до тех пор личные отношения между Александром и Талейраном не отличались никакой особой теплотой. Александр прекрасно помнил, что именно Талейран нанес ему кровное оскорбление в 1804 г. знаменитым своим ответом на протест Александра по поводу нарушения неприкосновенности баденской территории и ареста герцога Энгийенского. Талейран тогда ответил в таком духе, что, мол, если бы Александр узнал, что убийцы его покойного отца, Павла I, находятся недалеко от русской границы, хотя бы на чужой территории, и если бы Александр велел их схватить, то Франция не протестовала бы. Александр знал, что это написано было тогда по прямому повелению Наполеона, но все-таки ведь именно Талейран составлял эту ноту с прозрачным намеком на участие Александра в убийстве отца. Царь был очень злопамятен, но и очень лицемерен, и Талейран не знал истинных чувств Александра.

И вот теперь, в Эрфурте, этот самый оскорбитель, этот самый князь Талейран без особых предисловий и объяснений говорит русскому царю: «Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ — цивилизован, французский же государь — не цивилизован; русский государь — цивилизован, а русский народ — не цивилизован; следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа». Это была увертюра, за которой последовало еще несколько секрет-

ных свиданий. Конечно, с чисто внешней стороны дело представляется так, что Талейран, начиная подобную беседу, ставил на карту свою голову: он совершал, в самом точном смысле слова, государственную измену, и решительно ничто не гарантировало его от возможности быть на другой же день арестованным.

Стоило только Александру захотеть доказать Наполеону свои дружеские чувства откровенным рассказом о поступке Талейрана — и Талейран погиб бы безнадежно. Но пронизательность Талейрана и его способность точно оценивать чужую натуру помогли ему и тут. Никогда он не оправдывал собой поверхностного ходячего афоризма о том, будто человек судит о других людях по себе. Если бы он судил других по себе, то никогда не решился бы так, без предварительного зондирования почвы и гарантий, совершить этот опасный шаг в Эрфурте. Но он твердо знал, что Александр ни за что его не выдаст, что с этой стороны риска нет, и не потому, что Александр будто бы вообще чист душой и безупречен, — напротив, Талейран был, например, убежден, что Александр человек очень фальшивый и что он принял участие в убийстве своего отца и сделал это для того, чтобы получить корону, — а просто потому, что у каждого свои особенности и методы действия и что предать на гибель доверившегося ему человека не есть прием, свойственный Александру, даже если царь сразу и не сообразит, что ему вообще выгодны сношения с князем Талейраном. Точно так же, например, Наполеон, хищнически, без тени права, закона, справедливости присваивая себе чуть не ежедневно и войной, и без всякой войны чужие страны и безжалостно грабя чужие народы, в то же время с гадливостью относится (Талейран знал это по грустному опыту) к малейшей попытке своих ближних принять от просителя «сладенькое» (*les douceurs*): брать открыто, по

мнению Наполеона, — хорошо, а украдкой — постыдно. Словом, все дело в том, чтобы понять, какой кому свойственен жанр и какая у кого брезгливость.

Такова была всегда философия князя Талейрана, и она его не обманула и на этот раз.

Для Александра поступок Талейрана был целым откровением. Он справедливо усмотрел тут незаметную еще пока другим, но зловещую трещину в гигантском и грозном здании великой империи. Человек, осыпанный милостями Наполеона, со своими земельными богатствами, дворцами, миллионами, титулом «высочества», царскими почестями, вдруг решился на тайную измену! Любопытно, что Александр в Эрфурте больше слушал Талейрана, чем говорил с ним сам. Он почти все время молчал. Царь, по видимому, сначала не вполне исключал и возможность провокационной игры, зачем-либо затеянной Наполеоном при посредстве князя Талейрана. Но эти подозрения Александра скоро рассеялись.

Наполеон не подозревал ничего. Каждый день императоры были вместе, обменивались любезностями, демонстративно обнимались, производили вдвоем смотры и парады; каждое утро Наполеон интимно совещался с командором Почетного легиона Талейраном о том, как лучше укрепить франко-русский союз, и почти каждый вечер в уютной квартире княгини Турн-и-Таксис кавалер ордена Андрея Первозванного Талейран информировал Александра и вдохновлял его на борьбу с Наполеоном. Рейн, Альпы, Пиренеи — вот завоевания Франции, остальное — завоевания императора: Франция в них не заинтересована (*la France n'y tient pas*), повторял он Александру. «Остальное» — это были: Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Голландия, почти вся Германия, половина Австрии, Польша, часть Балканского полуострова, земли от Лиссабона до

Варшавы, от Гамбурга до Ново-Базарского санджака, от Данцига до Неаполя и до Бриндизи. Талейран от имени Франции от всего этого отказывался; все это он как бы отдавал в награду тем, кто избавит Францию от Наполеона.

Александр видел вместе с тем, что Наполеон вполне доверяет своему бывшему министру, что вообще эта тогда многим непонятная отставка от министерства иностранных дел ничего фактически не изменила во влиянии Талейрана на французскую внешнюю политику. Именно через Талейрана, там же в Эрфурте, Наполеон довел впервые до сведения Александра, что собирается разводиться с Жозефиной и искать себе новую жену среди сестер Александра. Утром Талейран, по повелению Наполеона, составлял и окончательно редактировал проект конвенции между Россией и Францией, а вечером тот же Талейран выбивался из сил, доказывая колебавшемуся Александру, что не следует эту конвенцию подписывать, а нужно сначала выбросить такие-то и такие-то пункты. Царь так и поступил. Наполеон просто не понимал, чем объяснить это внезапное странное упрямство, обнаруженное Александром, и все жаловался Талейрану, приписывая это непонятное явление неблагоприятному для французов обороту, который принимала народная война в Испании; и Талейран почтительно при этом разводил руками и соболезновал его величеству.

Талейран пошел по новой дороге бесповоротно. Читателей своих мемуаров он хочет уверить, что имел при этом в виду единственно благо Франции в будущем. Вероятно, он думал о себе, а не о Франции. Но объективно это было решительно все равно: он предвидел неминуемую катастрофу в самые блестящие годы мировой империи, за шесть лет до ее окончательного крушения. Вернувшись из Эрфурта в Париж, он стал осторожно сближаться с Меттерни-

хом, а спустя четыре месяца, как увидим, он завел уже и тайные переговоры с Меттернихом и продолжал путем конспиративных писем сношения с Александром.

6

Австрийский посол в Париже Меттерних сразу же учуял после Эрфурта, что Талейран повел какую-то новую и очень сложную игру. Да и сам Талейран в конце концов знал, что в этой новой игре ему без Австрии не обойтись.

«Надо быть в Париже, и быть здесь в продолжение довольно долгого времени, чтобы иметь возможность судить о действительной позиции г. Талейрана, — писал Меттерних министру Стадиону в Вену 24 сентября 1818 г. — Следует в Талейране отделять человека с нравственной точки зрения от человека политического. Он не был бы тем, что он есть, если бы он был морален... Он, с другой стороны, политик по преимуществу и, как политик, человек систем. Как таковой он может быть полезен или опасен; в данный момент он полезен». И дальше Меттерних очень проницательно угадывает, что налицо — две «системы» французской политики: во главе первой — император, а представителем второй является Талейран. «Система» Наполеона — дальнейшие завоевания, бесконечные войны, разрушение Европы; система Талейрана и министра полиции Фуше — стабилизация, упрочение достигнутых успехов, установление прочного мира. «Несомненно, Талейран более опасен, чем какой-либо неспособный министр, и он это нам доказал в течение двенадцати лет. Но то, что было опасностью, пока он способствовал разрушительной системе, становится полезным в нем как в главе оппозиции». Конечно, опасно ему очень довериться, но что же делать? «Люди, подоб-

ные Талейрану, — как режущие лезвия, играть с которыми опасно; но при больших язвах нужны большие средства лечения, и человек, которому поручено лечить, не должен бояться пользоваться тем инструментом, который режет лучше всего»¹⁵.

Прошло несколько месяцев после Эрфурта, и для Меттерниха уже не подлежит никакому сомнению, что Талейран и Фуше окончательно отошли от «системы» Наполеона и что они уже учитывают неминуемое будущее падение мирового владычества. «Я их вижу, Талейрана и его друга Фуше, по-прежнему твердо решившихся воспользоваться случаем, если этот случай представится, но они недостаточно храбры, чтобы самим этот случай вызвать. Они находятся в положении пассажиров, видящих руль в руках сумасбродного кормчего, готового разбить корабль о скалы, которые он сам по своему капризу (*de gaîté de coeur*) ищет: они готовы овладеть рулем в тот самый момент, когда их спасение окажется под еще большей угрозой, чем теперь, и когда первое столкновение корабля опрокинет самого рулевого» — так доносил Меттерних в Вену 17 января 1809 г.¹⁶.

Корреспонденция эта была, конечно, строго конспирирована, и Талейран обозначался самыми разнообразными именами. Он передавал, что нужно, члену русского посольства Нессельроде, а тот уже писал Румянцеву или Сперанскому. Дело шло о жизни и смерти Талейрана, и необходима была в письмах самая крайняя осторожность. Сношения с Меттернихом были еще опаснее: готовилось новое столкновение с Австрией, которая решила воспользоваться грозно бушевавшей в Испании народной войной против Наполеона.

Позиция Талейрана не могла долго укрываться от министра полиции Фуше. Он не знал, конечно, всего об из-

меннических сношениях Талейрана с Россией и с Австрией, но он знал о том, как отрицательно отзывался Талейран о безумном завоевании Пиренейского полуострова, об опасностях наполеоновского безудержного произвола во внешней политике и т.д. И вот, к изумлению всего великосветского Парижа, разнеслась весть о тесном сближении, чуть ли не дружбе между обоими государственными людьми. Действительно, Фуше стал убеждаться в правильности предвидений Талейрана и решил, по-видимому, не бороться с ним, а занять позицию внимательного и как бы дружественного нейтралитета.

Но Талейран еще пока медлил вступить в тайные сношения с Меттернихом. Он довольствовался упрочением связей с Россией.

Между ним и советником русского посольства в Париже Нессельроде происходили секретные беседы, о которых Нессельроде и сообщал регулярно в Петербург.

Талейран обозначался в секретной переписке между Нессельроде и Петербургом несколькими «псевдонимами»: «мой кузен Анри»; «мой друг»; «Та»; «Анна Ивановна»; «наш книгопродавец»; «красавец Леандр»; «юрис-консульт». Так уведомил Нессельроде графа М.М. Сперанского, которому он часто писал из Парижа, считая его адрес более безопасным, чем непосредственный адрес канцлера Румянцева¹⁷.

7

Войдя в дружбу с министром полиции Фуше и частично приобщив и его к своей изменнической деятельности, Талейран, казалось бы, обеспечил себя от страшного разоблачения и даже от опасных слухов.

Но у Наполеона было несколько полиций: одна во главе с Фуше, следившая за всем населением империи, и другая, еще более тайная, специально следившая за самим Фуше. И был еще Лавалетт, главный директор почт, который следил за этой другой полицией, следившей за Фуше.

Таким путем император в середине января 1809 г., в разгаре кровопролитнейшей войны с испанскими «мятежниками» (т.е. с испанскими крестьянами и ремесленниками, решившими героически защищать от наполеоновской агрессии свою землю), в глубине Пиренейского полуострова получил разом несколько известий, сводившихся к двум следующим основным данным: во-первых, Австрия с лихорадочной поспешностью вооружается, сильно надеясь на трудное положение, в которое попал Наполеон в Испании; во-вторых, Талейран и Фуше о чем-то подозрительно сговариваются, причем Талейран недружелюбно отзывается о политике императора. Сейчас же Наполеон передал командование армиями маршалам, а сам помчался в Париж, почти не делая остановок. Едва приехав, он приказал главным сановникам и некоторым министрам явиться во дворец.

Тут-то 28 января 1809 г. и произошла знаменитая, сотни раз приводившаяся в исторической и мемуарной литературе сцена, о которой некоторые присутствовавшие не могли до гробовой доски вспоминать без содрогания. Император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана. «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек! — бешено кричал он. — Вы не верите в бога, вы всю вашу жизнь нарушали все ваши обязанности, вы всех обманывали, всех предавали, для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца! Я вас осыпал благодеяниями, а между тем вы на все против меня способны! Вот уже десять месяцев, только потому, что вы ложно предполагаете, буд-

то мои дела в Испании идут плохо, вы имеете бесстыдство говорить всякому, кто хочет слушать, что вы всегда порицали мое предприятие относительно этого королевства, тогда как это именно вы подали мне первую мысль о нем и упорно меня подталкивали!.. А этот человек, этот несчастный? Кто меня уведомил о его местопребывании? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним? Каковы же ваши проекты? Чего вы хотите? На что вы надеетесь? Посмейте мне это сказать! Ну, посмейте! Вы заслужили, чтобы я вас разбил, как стекло, и у меня есть власть сделать это, но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд! Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! — Вы грязь в шелковых чулках! Грязь! Грязь!..»

Его высочество светлейший князь и владетельный герцог Беневентский, великий камергер императорского двора, вице-электор Французской империи, командор Почетного легиона, князь Талейран-Перигор стоял неподвижно, совершенно спокойно, почтительно и внимательно слушая все, что кричал ему разъяренный император. Присутствовавшие сановники дрожали, почти не смея глядеть на Талейрана, но он, единственный в комнате, казалось, сохранял полнейшую безмятежность и ясность духа. Было очевидно, что Наполеон уже что-то проведаль, но, во всяком случае, не знает ничего ни об эрфуртских похождениях своего бывшего министра, ни о том, что перед ним стоит «Анна Ивановна», шпионящая и теперь, после Эрфурта, в пользу и за счет императора Александра I. Значит, непосредственной опасности расстрела нет. А больше пока Талейрану ничего не требовалось.

Весь двор волновался, ломая себе голову над догадками, как будет вести себя Талейран после всех этих страшных и публичных оскорблений, которых никогда не вы-

слушивал от императора даже ни один из его бесчисленных камер-лакеев, форейторов и кучеров, после этого гневного обвинения Талейрана в фактическом убийстве герцога Энгиенского, наконец, после этой прямой угрозы повешением.

Это любопытство было удовлетворено на другой же день, 29 января. При дворе был очередной большой раут, и съехавшиеся сановники и царедворцы с изумлением увидели в тронном зале князя Талейрана в его роскошном красном бархатном с золотом костюме, во всех орденских звездах и кавалерских лентах. Он стоял на своем официальном, по церемониалу назначенном месте, между самыми высшими чинами империи, в двух шагах от трона. Наполеон говорил с его соседями, а Талейрану не ответил на низкий поклон и не обратил на него никакого внимания. Но Талейран этого старался не заметить, величаво стоял и спокойно молчал весь вечер...

Царедворцы удивлялись этому спокойствию. Они упустили из виду, что если чужая душа — потемки, то душа Талейрана — совершенно непроницаемая мгла. Наполеон со временем тоже в этом убедился, но слишком для себя поздно.

Талейран, молча вытерпевший позорнейшую пытку публичного неслыханного надругательства и неукоснительно продолжавший исполнять свои придворные обязанности, на самом деле был так смертельно оскорблен, что решился на новый шаг, не менее опасный, чем тот, который он совершил в Эрфурте. Конечно, ведя свою линию и начав уже ставить ставку в Эрфурте на низвержение империи в более или менее далеком будущем, Талейран логически непременно был бы со временем приведен и к расширению, так сказать, диапазона своей измены, т.е. к тайным отношениям со второй (после Рос-

сии) еще пока оставшейся великой державой европейского континента — с Австрией. Но жгучая обида всенародного позора побудила его, вопреки всякой осторожности, круто ускорить дело. В первый раз этот человек, так не любивший риска, так умевший обуздывать свои чувства, не выдержал. В воскресенье 29 января 1809 г. он, как сказано, явился во дворец и выполнял там невозмутимо, под удивленными и презрительными взглядами царедворцев, свои придворные функции. Но никто не знал, что несколько часов до появления своего во дворце, в тот же день, 29 января, он побывал в другом месте: он повидался с австрийским послом.

Вот что доносил об этом знаменательном факте Меттерних в Вену: «Х. (Меттерних обозначает Талейрана «иксом». — *Е. Т.*) снял передо мной всякую маску. Он, мне кажется, очень решился не ждать... партию. Он мне сказал позавчера, что момент наступил, что он считает своим долгом вступить в прямые сношения с Австрией. Он мне сказал, что в свое время он отказался от предложений, которые ему сделал граф Людвиг Кобенцль, но что в данный момент он бы их принял... Он мотивировал первый свой отказ местом, которое он тогда занимал. «Теперь я свободен, и у нас дело — общее. Я говорю вам об этом с тем меньшей сдержанностью, что я думаю, что у вас хотят мне оказать услугу». Он мне намекнул, что нуждается в нескольких сотнях тысяч франков, так как император [Наполеон] подорвал его состояние, поручив ему содержание испанских принцев... Я ему ответил, что император [Франц I] не прочь доказать ему свою признательность, если он желает послужить общему делу. Он ответил, что это дело — и его дело, что ему остается только либо восторжествовать вместе с этим делом, либо с ним же погибнуть. «Удивлены ли вы предложением, которое я вам сделаю?» — спросил он у

меня. «Нет, — сказал я ему, — я смотрю на это как на истинный залог, данный для общего дела»¹⁸.

Весь Талейран тут перед нами. Он публично оскорблен, смешан с грязью, опозорен, он полон жажды мести до того, что, пренебрегая всякой осторожностью, когда за ним следит императорская тайная полиция, отваживается искать где-то свидания с Меттернихом, — и все-таки не может даже и тут отрешиться от своего всегдашнего корыстолюбия: он и «мстит» Наполеону государственной изменой, и тут же просит, на бедность, у австрийцев, «несколько сот тысяч франков». Он не только предаёт императора, но и продает его за наличный расчет, соединяя, по своему обыкновению, приятное с полезным.

Итак, у Талейрана завелось отныне с Австрией «общее дело», une cause commune, — низвержение Наполеона. Александр в Эрфурте упорно молчал. Меттерниху, представителю державы, готовой спустя несколько месяцев воювать против Наполеона, незачем было проявлять такую осторожность в разговоре с новоявленным другом и сотрудником. Нечего и говорить, что Талейрану с полной готовностью дали просимые им за его измену деньги. Министр Стадион сообщил из Вены Меттерниху: «Император приказал мне дать вам все полномочия (carte blanche) по поводу X., и вы уполномочены обеспечить за ним все, что он может разумно пожелать, как только вы убедитесь, что он может и хочет оказать нам действительно важные услуги». Австрийская служба Талейрана началась немедленно. 7 марта 1809 г. Меттерних сообщил в Вену министру Стадиону: «Мои сношения с X. очень активны. По большей части это именно через его посредство я узнаю постоянно то, что может нас интересовать. Я очень прошу ваше превосходительство благоволить дать сумму, которую я просил. Я достал из кабинета императора [Наполеона] два мемуара ог-

ромного интереса о нынешнем положении». Так как в мае 1809 г. уже открылись военные действия между Францией и Австрией, то Талейран прежде всего был ценен именно военно-шпионскими сведениями. «Как бы ни велика казалась эта сумма [просимая Талейраном], она гораздо ниже обычных жертв, а результаты его найма (*les résultats de son emploi*) могут быть громадны... Х. только что предупредил меня, что генерал Удино получил приказ двинуться на Аугсбург и Ингольштадт. Х. полагает, что нужно было немедленно воспользоваться как предлогом для мобилизации (*mise sur le de pied guerre*) этим движением, которое сделает Удино». Таким образом, Талейран не только сообщает о секретных распоряжениях Наполеона по направлению армейских корпусов, но даже дает советы, как австрийцы могут целесообразно воспользоваться сообщаемыми им сведениями. И Меттерних и австрийский император Франц очень озабочены, конечно, тем, как бы продолжать получать во время самой войны сообщения от своего ценного нового друга, и решают, что шпионским центром и передаточным пунктом на время войны должен быть город Франкфурт.

Когда весной 1809 г. началась давно ожидавшаяся война Наполеона с Австрией, многие, и в том числе Талейран, предвидели, что на этот раз борьба будет гораздо более тяжелой, чем в аустерлицкую кампанию 1805 г. По догадке Эмиля Дара, когда Меттерних еще в январе 1809 г. в донесении министру Стадиону в Вену жаловался, что хотя Талейран и его «друг» Фуше решили использовать удобный «случай», если он представится, но «не обладают достаточно активной храбростью, чтобы вызвать этот случай», то здесь под «случаем» нужно разуметь убийство императора. Эмиль Дар вспоминает по этому поводу «английских агентов», организовавших покушение на Наполеона

при помощи «адской машины» в 1800 г.¹⁹. Но Дар, безусловно, ошибается. Ни в Талейране, ни в Фуше не было и тени того фанатизма и бесстрашия, какие были у тогдашних заговорщиков, а у Меттерниха не было той решимости, какая нашлась в 1800 г. у Вильяма Питта и его окружения. Конечно, и Меттерних, и Талейран, и Фуше мечтали весной 1809 г. о смерти Наполеона, но они надеялись не на себя и не на заговорщиков, а на меткость австрийских стрелков и на точную стрельбу австрийской артиллерии в предстоящей войне. И ведь эта их надежда чуть-чуть не оправдалась: уже в первой стадии войны, в битве под Регенсбургом, император был ранен. Но осведомившись, что рана оказалась не смертельной, Талейран немедленно садится за письменный стол (за которым он тогда же изготовлял для Вены свои шпионские донесения о движении французских войск) и пишет Наполеону самое теплое поздравление: «Государь! Ваша слава составляет нашу гордость, но ваша жизнь дает нам самое наше существование (*mais votre vie fait notre existence!*)».

Наполеон воевал с Австрией; Россия, в качестве союзницы французского императора, формально тоже считалась воюющей против Австрии. Положение для тайного агента одновременно и Австрии и России и явного великого камергера императора Наполеона оказалось нелегким. Требовалась усиленная осторожность, чтобы как-нибудь не запутаться при выполнении этих трех крайне разнохарактерных функций. Очень хлопотлив вообще был для Талейрана этот 1809 год. Нужно было и бывать во дворце, делая все усилия, чтобы склонить Наполеона сменить гнев на милость, и давать секретные сведения австрийцам, и не прерывать сношений с Нессельроде, хотя Россия формально оказалась в войне с Австрией. Ведь Нессельроде не смел (не имея на то полно-

мочий от царя) объяснить Талейрану, что Россия фактически вовсе не воюет с Австрией.

Новые сношения с Австрией ничуть не заставили Талейрана забыть о самом для него главном: о секретных передачах в Россию. Среди собственноручных писем Талейрана к императору Александру, имеющихся в нашем Архиве внешней политики, очень характерно одно, писанное 10 февраля 1809 г., т.е. как раз спустя две недели после ужасной сцены, которую император устроил своему обер-камергеру в Тюильри 28 января. Талейран благодарит Александра за его милости, за всемогущую помощь царя в деле брака племянника Талейрана (с дочерью и богатой наследницей герцогини Курляндской), благодарит и за милости к нему лично. Какого рода были эти милости («bontés»), это мы знаем. Но кроме этих любезностей и благодарностей, в письме Талейрана содержится и еще кое-что, больше напоминающее некую криптограмму, чем обыкновенную корреспонденцию. Эта криптограмма, впрочем, не весьма загадочна по существу: Талейран рекомендует царю наиболее целесообразные и безопасные этапы для дальнейшей секретной переписки. Очевидно, царь сообщил, что письма должно вручать в Петербурге Сперанскому, который и будет передавать их Александру. А Талейран со своей стороны уже запасся верным человеком, неким Дюпоном, который и будет «ловко следить» за этой секретной корреспонденцией. Должно лишь Сперанскому войти в непосредственные сношения с г. Дюпоном. Кто такой г. Дюпон — не сказано. И Талейран очень благодарит государя за его «благородное и мудрое постоянство» в намерении вести с Талейраном переписку²⁰.

«Кузен Анри» выдал весной 1810 г. графу Нессельроде ряд важных деталей, касающихся нового брака Наполеона и ряда соображений, с этим событием связанных. Он по-

лучил за это 3000 франков. Работа была сдельная, поштучная. И уже через два дня после получения трех тысяч «кузеном Анри» «Анна Ивановна» потребовала еще четыре тысячи за новые сообщения. Ввиду неудержимого роста appetitов «Анны Ивановны» Нессельроде просит прислать ему сразу от 30 до 40 тысяч франков²¹.

Сообщения Талейрана вначале были очень ценны. Он уведомлял о том, что состав французской армии стал хуже, чем был прежде; указывал на необходимость (вопреки советам Наполеона) поскорее кончать войну с Турцией; излагал сведения о ближайших планах Наполеона, доходивших до него. Взяв установку на будущий неминуемый разрыв Наполеона с Россией, Талейран выражал в своих секретных разговорах с Нессельроде свое полное удовлетворение мероприятиями русского правительства, направленными к укреплению русских финансов. «Кузен Анри очень этим удовлетворен, — сообщает Нессельроде в Петербург. — Его всегдашний совет состоит в том, чтобы мы воспользовались этим моментом спокойствия и стали сильными... Он хочет, чтобы я успокоил (не сказано кого. — *Е. Т.*) насчет Австрии; в настоящий момент он с этой стороны не опасается ничего, и он убежден, что князь Меттерних покинет Париж, не взяв на себя опасных для России обязательств». Талейран внушал русской дипломатии, что «тесное единение венского и петербургского дворов является средством внушить Франции более миролюбивые взгляды» и что подобное «единение» все еще возможно, невзирая на брак Наполеона с Марией Луизой²².

В бумагах нашего Архива внешней политики сохранилось любопытное собственноручное письмо Талейрана к Румянцеву от 9 мая 1809 г. Н. П. Румянцев, русский министр иностранных дел, с октября 1808 г. до 3/15 февраля 1809 г. проживал в Париже и здесь сблизился с Талейраном.

Соглядатайствуя в этот момент за счет и в пользу Австрии, Талейран в «легальном» собственноручном и подписанном письме не мог, конечно, писать иначе, чем пишет. Да он и не знал, известны ли Румянцеву все его секреты. Он в восторге от побед великого императора над австрийцами, он всегда этих чудес ждал и т.п. Но что поделаешь, когда человек уже не молод, невольно «дрожишь», становишься немного трусом (*un peu trembleur*). Это намек на очень затруднительное положение Наполеона, ввязавшегося на этот раз, решительно против своего желания, в новую и очень нелегкую войну с Австрией. Лыстит Талейран русскому вельможе самым бесстыдным образом. Оказывается, «ежедневные мирные удовольствия» Талейрана и его друзей в Париже состоят в том, чтобы беседовать о графе Румянцеве: «Часто говорят, что вы соединяете французскую любезность с английской глубиной, итальянскую ловкость с русской твердостью». Все письмо в таком духе²³. Вельможа был в силе, и Талейран решил уж лучше пересластить на всякий случай, полагая, что избыток лести люди прощают очень охотно. Он всегда этому правилу следовал и редко оставался в убытке.

А звезда Николая Петровича Румянцева сияла в это время очень ярко. После долгих и нелегких переговоров со Швецией Румянцеву удалось подписать 5 сентября 1809 г. мирный договор, по которому Россия получала всю Финляндию до реки Торнео. А через два дня, 7 сентября, Александр сделал Румянцева канцлером Российской империи.

Талейран восторгался Румянцевым, и далеко не все в его восхищении объясняется только желанием подольститься к сильному вельможе.

Дело в том, что Талейран считал этот заключенный Румянцевым Фридрихсгамский мир именно проявлением умеренности, расчета на дальнейшие дружеские отноше-

ния между победителем и побежденным, наконец, косвенным проявлением готовности со временем пойти и на мир с Англией, словом, проявлением всех тех свойств, которых он не усматривал ни в одном из мирных трактатов, которые заключал Наполеон и до и после отставки самого Талейрана от должности министра иностранных дел. До отставки Талейран, правда, сам изготавлял подобные жестокие трактаты, делая это против своего убеждения, по воле своего господина; после отставки, в опале, он хвалился, что не захотел, наконец, и дальше быть «палачом Европы». В сравнительно «либеральной» мягкости русского канцлера после победы России над шведами Талейран поэтому усмотрел верх государственной мудрости.

Граф Румянцев послал Талейрану свой мемуар, касающийся мира России со Швецией и присоединения Финляндии.

Талейран ответил новым письмом, полным и лести и некоторых характерных для его политической позиции в этот момент намеков. Прежде всего он поздравляет русского канцлера и называет его «великим государственным человеком»: «Вы обеспечиваете за вашим государем и вашей страной большую провинцию, очень важную для вашей столицы. Вы вознаграждаете тех, кто вам ее уступает, за жертву, приносимую ими, очень реальной выгодой, весьма способной польстить чувствам жителей городов», т.е. хоть и самой малочисленной и не лучшей части населения, но именно той, «которая одна только говорит, которую слушают и [высказывания] которой называют общественным мнением». Талейран в либеральных политических и экономических мероприятиях русской политики относительно Финляндии и Швеции усматривает также кое-что «благодарное» относительно английской торговли. В нешифрованном письме к русскому сановнику, и притом

приверженцу франко-русского союза, Талейран не может выдать свою всегдашнюю мысль о вреде континентальной блокады для Франции, России, Европы вообще и для прекращения бесконечной войны в частности. Поэтому свою тайную мысль он излагает следующим, истинно дипломатическим стилем: «Вы также оказываете маленькую ласку англичанам. Она показывает, что ваша верность континентальной системе не исключает некоторого рода примирительной благосклонности. Этим самым вы приоткрываете у других держав путь к более либеральным идеям, и вы указываете, что ваш кабинет с удовольствием усмотрел бы, что на этот путь вновь вступают». Это собственноручное письмо не издано, а русский перевод не передает всех оттенков нарочно завуалированной многозначительной осторожной фразы Талейрана. Даем поэтому также в подлиннике эту фразу, сохраняя грамматические ошибки²⁴. Истый, природный аристократ старого режима, Талейран пренебрегал правилами грамматики, обязательными для разночинцев, *les roturiers*, и его собственноручные письма на французском языке полны ошибок, хотя никакого другого языка, кроме французского, он не знал и ни одной не французской строки от него не осталось.

Талейран, впрочем, беспристрастно ставит французскую прозу Румянцева выше своей собственной: «Все это высшая и очень искусная политика, и вы изложили ее *sic*: *vous l'avez rédigée* на нашем языке, как самый точный публицист, как самый изящный и самый корректный член французской академии. Мое самолюбие могло бы заставить меня почувствовать поэтому ревность, но моя дружба к вам, которая гораздо сильнее, живо этим тронута»²⁵.

Талейран, соблюдая всю осторожность и все нужные оговорки, как бы подталкивал канцлера Румянцева к несоблюдению континентальной блокады и к сближению с

Англией. Это был пробный шар. Но не исполнились еще «исторические сроки». Румянцев не подхватил намека.

Предавая Наполеона в пользу России, Талейран в то же время, заведя тайные сношения с Австрией, предавал при случае и Россию в пользу Австрии, чего не знал Нессельроде, потому что Талейран маскировал это настойчивыми советами о необходимом сближении России с Австрией. Нессельроде не знал, что Талейран ведет не двойную, а тройную игру: «Анри хотел бы, чтобы мы в этой негоциации проявили некоторое внимание к Австрии, а именно в соглашениях, касающихся сербов, чтобы не затруднить впоследствии всякую возможность стовориться с ней (Австрией)»²⁶.

Меттерних, как хорошо было известно Талейрану, вовсе не желал разгрома (la destruction) России, считая подобное событие опасным для Австрии²⁷. И это настроение Меттерниха облегчало Талейрану его сложную и опасную тайную игру при начинавшихся франко-русских неполадках.

Война Наполеона с Австрией окончилась.

Снова разгромив Австрию в 1809 г., вынудив ее в Шенбрунне к новому позорному и убийственному миру, женившись сейчас же после этого на дочери австрийского императора, владея прямо или косвенно, через своих наместников и вассалов, над всей Европой, Наполеон принялся уже не войнами, а простыми декретами присоединять новые и новые страны к своей колоссальной державе.

И с каждым годом, приносившим новые и новые проявления совсем уж безудержной агрессии завоевателя, Талейран все более и более убеждался в том, что дело идет к новому, грандиознейшему побоищу и непременно к конечному крушению неестественно колоссального конгломерата стран и народов, созданного насилием и державшегося насилием.

Потянулись годы, когда, отстраненный и от активного участия в делах и от близкого общения с Наполеоном, Талейран, вельможа и миллионер, владелец дворца в Париже и замка в Валансэ, вел жизнь, полную комфорта и наслаждений, но лишенную того захватывающего интереса, который ему давало его прежнее положение. Наполеон внешне смилостивился, снял опалу, но доверия не вернул. Талейран появлялся в полном параде и в тронном зале, и в бальных залах, и в приемных гостиных в Тюильри, но к рабочим кабинетам императора его уже не подпускали. Его величество на больших выходах кивал милостиво головой, но помалкивал и шагал своим солдатским шагом мимо.

В этих затруднительных для получения секретной информации условиях очень помогал Талейрану его сообщник, министр полиции Фуше.

Фуше знал о сношениях Талейрана, и именно от Фуше шли в высшей степени интересовавшие Талейрана и его русских корреспондентов сведения о внутреннем брожении во Французской империи. В тайной переписке Нессельроде Фуше обозначался конспиративными условными словами: «Наташа», «президент» и «Бержье». А внутреннее брожение во Франции обозначалось словами «английское земледелие» или «любовные шашни Бутягина» (фамилия секретаря русского посольства в Париже).

Но вот летом 1810 г. случилась неприятная заминка: «Мне дали надежду на новые произведения по английскому земледелию, — но не сдержали слово», — жалуется Нессельроде 6/18 июня 1810 г. И немудрено: главный источник сведений о внутренних делах Французской империи (об «английском земледелии») внезапно иссяк, Наполеон удалил 3/15 июня 1810 г. Фуше в отставку. «Уход

президента очень мне мешает, именно от него наш юрис-консулт (Талейран. — *Е. Т.*) почерпал сведения, которые я вам пересылал»... «Я предвижу, что на моей корреспонденции это отразится»²⁸. Так писал Нессельроде в Петербург 6/18 июня 1810 г.

Внезапная отставка Фуше была тяжким ударом для Талейрана. Информация Талейрана суживалась. Его тайные сношения с Александром продолжались, но становились все опаснее и казались осужденными на политическое бесплодие. Очень уж могуществен был по-прежнему Наполеон, несмотря на все предсказания Талейрана...

Как и предчувствовал Нессельроде, уход Фуше в самом деле тотчас же отразился на качестве и количестве секретных сведений, доставлявшихся Талейраном в русское посольство. Трудно работалось с тех пор, как ушла «Наташа». Да и вообще как-то беспокойно без нее стало жить. Новый министр полиции генерал Савари (герцог Ровиго) был верным военным служакой императора Наполеона, готовым без малейших колебаний перегрызть горло любому изменнику, невзирая ни на титулы, ни на звезды, ни на ленты. При нем рекомендовалось побережиться, не очень любознательно расспрашивать великосветских знакомых в парижских салонах, не слишком тепло и не очень часто встречаться с советником русского посольства графом Нессельроде.

Сообщения Талейрана становились решительно тусклыми. Так длилось несколько месяцев.

Может быть, поэтому Александр как будто несколько охладел — не к Талейрану, к которому никогда никаких симпатий не обнаруживал, а просто охладел временно в самом интересе своем к его извещениям и советам. А тут еще Талейран написал царю (15 сентября 1810 г.) письмо, в котором в самых достойных и красноречивых выраже-

ниях, редкой у него изящнейшей прозой, достойной пера Шатобриана или Жана Жака Руссо, с теплым оттенком сердечности и дружеской доверчивости сообщал Александру, что он, Талейран, в последнее время несколько поиздержался и что очень бы это удачная мысль была, если бы царь дал, например, своему верному тайному корреспонденту полтора миллиона франков золотом. Далее следовала уже наперед любезно наведенная Талейраном на всякий случай деловая справка, как технически удобнее всего прислать эти деньги, через какого именно банкира во Франкфурте, о чем генеральному русскому консулу в Париже Лабенскому написать и что именно прибавить, чтобы Лабенский не вздумал сомневаться, и т.д.

Но тут нашла коса на камень. Александра I особенно раздражало, когда кто-нибудь слишком уж спекулировал на его наивности. На этом ведь сорвалась, по слухам, впоследствии и карьера баронессы Крюднер, а потом и других чудотворцев, через посредство которых святой дух господний повалился внушать царю озарения свыше насчет каких-то кредитов по кассе Опекунского совета. Талейрану все дело испортила его ссылка в начале письма на эрфуртские заслуги и деликатный намек, что именно оттого-то и пошатнулись его финансовые дела, что со времени Эрфурта Наполеон на него сердится. Александр ответил любезным по форме, но ехидным по содержанию отказом: царь ему денег этих, к сожалению, не может и не хочет дать именно затем, чтобы не подвергнуть князя Талейрана подозрению и как-нибудь не скомпрометировать его. Талейран с достоинством выждал некоторое время, а потом стал выпрашивать через Нессельроде русские торговые лицензии и другие более скромные подачки.

Но вот стали слышаться, пока еще глухие, раскаты грома и изредка мелькать зарницы далеких молний. Уже во

второй половине 1810 г. с каждым месяцем все заметнее становилось охлаждение в отношениях обоих тильзитских союзников. Декабрьский указ о новом русском тарифе, резко нарушившем, по мнению Наполеона, экономические интересы Франции и прежде всего ее экспортной торговли, очень раздражил французского императора. Новые захваты Наполеона на севере Германии превращались уже в довольно неприкрытую угрозу по отношению к России. До Петербурга доходили зловещие слухи.

В декабре 1810 г. Талейран доставил русской дипломатии ряд секретных сведений, подтвердивших наихудшие опасения петербургского двора. Наполеон готовит восстановление самостоятельной Польши. Он отнимет у Пруссии Силезию и отдаст ее саксонскому королю, чтобы вознаградить его за потерю герцогства Варшавского, которое у него будет отнято. У Австрии Наполеон отнимет (тоже в пользу Польши) Галицию, а чтобы вознаградить своего вассала (и тестя) австрийского императора, он отдаст Австрии города Триест и Фиуме, а также Далмацию «и все побережье». Одновременно с выработкой подобных планов последовал новый набор (в 120 000 человек). «Вот каковы должны быть идеи императора в Фонтенбло... как они мне сообщены кузеном Анри», — пишет Нессельроде в Петербург 5/17 декабря 1810 г.²⁹ И снова и снова в одном донесении Нессельроде за другим звучит тот же мотив: «кузен Анри» настойчиво советует России как можно скорее заключить мир с Турцией³⁰. Он предостерегает от слишком больших надежд на затруднения Наполеона в Испании, так как считает ресурсы императора громадными³¹. Он не верит также в какую бы то ни было возможность мира Наполеона с Англией³².

На учащающиеся раздражительные жалобы Наполеона по поводу плохого соблюдения со стороны России пра-

вил континентальной блокады Талейран советует русским отвечать мнимой всенародно изыявляемой покорностью и в то же время продолжать тайком нарушать блокаду: «В деле о колониальных продуктах Анри советует производить много шума — и мало исполнять по существу. Вообще платить большой лживостью (*payer d'une grande fausseté*) тем, кто пускает в ход ту же монету относительно нас»³³. Одновременно Талейран ставил в известность Нессельроде о тех секретных мерах, которые пускал в ход французский император с целью воспрепятствовать заключению мира между Россией и Турцией.

Когда наметились (а потом и начались) долгие, тягучие мирные переговоры между Россией и Турцией в Бухаресте, Талейран, ведя свою тройную игру, с одной стороны, советует, как всегда, России поскорее соглашаться на мир, чтобы иметь возможность дать отпор всеми силами Наполеону, а с другой стороны, столь же «дружески» дает русским совет не настаивать на уступке Турцией Молдавии и Валахии в пользу России, но «согласиться» на уступку обеих провинций в пользу... Австрии, которая вовсе и не воевала с Турцией. Что же за это получит Россия? А вот именно дружбу Австрии для последующей успешной борьбы обеих империй против Наполеона³⁴. И безмятежный Карл Васильевич Нессельроде пресерьезно излагает все эти дружеские советы «кузена Анри», и ему невдомек, что «кузен», продающий ему Наполеона, одновременно продает его самого Меттерниху, чем и удваивает свою заработную плату. Но в одном Талейран говорит несомненную правду: он не перестает предвещать, что Наполеон действительно готовится к нападению на Россию. Талейран уже в марте 1811 г. предсказывает начало войны в близком будущем и даже уточняет дату: война, по его мнению, начнется как раз через год, к 1 апреля 1812 г. Он советует уже теперь, в

марте 1811 г., завести соответствующие тайные переговоры с Англией³⁵. Английские, внезапно вспыхнувшие, симпатии Талейрана совпадают со следующими обстоятельствами: Наполеон начал (с целью улучшения финансов Франции) выдавать некоторым лицам лицензии на торговлю с Англией — и Талейран советует русским делать то же самое, раз уж сам Наполеон делает отступления от правил континентальной блокады. И за свой мудрый совет «кузен Анри» просит: нельзя ли и ему лично получить подобные лицензии, и даже так, чтобы поскорее, ибо «было бы существенно для его интересов, чтобы он мог получить их прежде всех»³⁶.

Приготовления к войне идут во Франции уже полным ходом. Соответствующие меры принимаются и в России.

Сообщения и советы Талейрана стали снова приобретать интерес для его русских корреспондентов. Но в это время, в 1811 г. и в первые месяцы 1812 г., в Париже действовал уже полковник Александр Иванович Чернышев, прекрасно организовавший военный шпионаж. Он узнавал такое, что Талейрану и присниться не могло.

Талейран не советовал ни в коем случае России начинать войну первой, но не переставал настойчиво указывать на необходимость крепить оборону, так как война все равно неизбежна весной 1812 г. А до этой поры уже разрешить себе широкую торговлю, не очень считаясь с континентальной блокадой. «Таково мнение нашего юрисконсульта», — пишет Нессельроде³⁷.

В конце марта (н. ст.) 1812 г. русский посол князь Куракин, уже вполне убежденный в неизбежности войны Наполеона с Россией, пишет графу Румянцеву о тревожных слухах. Министр иностранных дел, миролюбивый герцог Бассано уходит будто бы в отставку, а на его место прочат Талейрана, князя Беневентского, который, во всяком слу-

чае, будет сопровождать императора в предстоящем походе. «Что касается князя Беневентского, то несмотря на благодарность, которую он выражает относительно нашего августейшего повелителя и которой он обязан за покровительство, его импер. величеством оказанное ему, особенно по случаю женитьбы его племянника, и несмотря на любовь к миру, которую он столько раз выставлял напоказ, — он все-таки слишком царедворец и слишком стремится снова войти в милость к императору Наполеону, чтобы можно было рассчитывать на какую-либо твердость и постоянство в отстаивании своих мнений и на то, что он не будет готов пожертвовать ими для видов императора». Куракин тем более боится этой эволюции Талейрана, что князь как раз находится в затруднительном положении, продал свой дом, уже обращался к императору Наполеону за помощью и воспользуется случаем, чтобы получить что-нибудь. Тем более, добавляет князь Куракин, что у Талейрана уже нет теперь надежд «на новые столь обильные урожаи» (...nouvelles récoltes aussi abondantes), какие он трудолюбиво собирал прежде по случаю разных возмещений и компенсаций в германских странах³⁸.

В это время уже денежные подачки из России, по-видимому, прекратились. Никаких назначений на самом деле Талейран в этот момент не ждал и ждать не мог. Сам ли он пускал эти слухи с указанием, что он, с одной стороны, поиздержался, а с другой стороны, еще может быть полезен царю, — этого мы не знаем. Во всяком случае, слух о том, что император берет Талейрана с собой, получил иное объяснение.

Это объяснение мы находим в позднейшем донесении князя Александра Куракина канцлеру графу Румянцеву от 23 марта (4 апреля) 1812 г. Куракин берет назад прежнее объяснение, а совсем иное дает на основании новых и вполне, по его мнению, достоверных данных. Оказывается, что

Талейран несколько не вошел вновь в милость, напротив, Наполеон хочет взять его с собой только затем, «чтобы лично наблюдать за человеком, которому он не доверяет и которого считает слишком опасным, чтобы оставить его во Франции, когда самого его там не будет, и в такое критическое для него время». Куракин говорит о беспокойном настроении и напряженном положении, о недовольстве в империи Наполеона и прибавляет: «Никого во Франции ему не приходится так опасаться, как Талейрана и Фуше. Оба недовольны им, оба глубоко осведомлены в истинном положении Франции и оба знают партии, которые — в молчаливом брожении... Он тем менее желает оставить их вместе во время своего отсутствия, что между ними с 1809 г. водворилось полное согласие...» Куракин вместе с тем определенно подтверждает достоверность известия о том, что Наполеон решил взять Талейрана с собой в поход, хотя сам князь Талейран крайне этим недоволен и даже заявил, что во время отсутствия Наполеона он не будет проживать в Париже. Но и эта попытка устроить так, чтобы его оставили в покое и не тащили в русский поход, показалась недостаточной³⁹.

В конце концов Талейрану удалось отделаться: Наполеон забыл о нем за множеством дел и оставил его во Франции. Много раз впоследствии вспоминал он об этой своей рассеянности...

В России вплоть до начала войны очень интересовались вопросом о том, поедет ли Талейран с Наполеоном. Действительно ли император намерен назначить его своим уполномоченным в Варшаву? Лишь накануне вторжения Наполеона последовало решение вопроса. «В назначении князя Беневентского воспоследовала весьма для него неприятная и мало ожидаемая перемена и как бы от подвигов дюка Бассано, которому присутствие его при импера-

торе было бы весьма тяжело. Наполеон, прощаясь с князем Беневентским, ничего ему не приказал о его приезде с ним в Варшаву, где, как говорили, предназначено было ему преобразование и временное первое управление Польши в готовимом ей новом ее виде. Посему Талейранд (sic!), не получив от Государя своего решительного повеления, должен теперь здесь оставаться и забыть важное препоручение, которое его опытности в делах предопределяемо было. Часто его видящие уверяют, что он от сей перемены в расположении императора на его счет (sic!) в крайнем сокрушении, и чтоб себя от оногo несколько отвлечь, он собирается скоро к целительным водам... Я прошу ваше сиятельство сие известие государственному канцлеру пожаловать скорее препроводить: ибо он в ожидании совсем противном находится»⁴⁰.

Так донес Куракин, уже получивший свои паспорта и покинувший Париж.

9

Наступили сроки исполнения предсказаний Талейрана. Наполеон пошел на Москву. Приближаются трудные времена, говорил Талейран уже тогда, когда в Париже еще ждали новых привычных бюллетеней о победах. Когда начался разгром французских войск при катастрофическом отступлении великой армии из Москвы, Талейран осмелел в своих беседах (правда, с наиболее близкими людьми). «Вот момент, чтобы его низвергнуть», — сказал он как-то в самом конце 1812 г. маркизе Куаньи. Но Наполеон не мог быть низвергнут внутренней революцией. И дело было вовсе не в совершенстве полицейской машины, созданной Фуше и сделавшейся недостижимым образцом всех поли-

тических полиций в грядущем, начиная с корпуса жандармов Николая I и кончая фашистским гестапо.

Сила Наполеона заключалась в том, что и в 1813 г. для громадных и материально сильных классов он казался единственно возможным правителем. Крестьяне по-прежнему боялись, в случае возвращения Бурбонов, отнятия приобретенных при революции земель и восстановления феодализма; среди буржуазии были колебания, особенно росло недовольство среди торговой буржуазии, среди судовладельцев, среди купечества мертвых при Наполеоне морских портов, но промышленники видели в Наполеоне избавителя от английской конкуренции и завоевателя чужих рынков, хотя, правда, отсутствие колониального сырья (особенно хлопка и красящих веществ) начало уже давно раздражать и их. Многие еще поддерживало власть Наполеона. Армия — солдаты еще больше, чем офицерский и генеральский состав, — любила его в своей массе, в особенности же старослуживые и унтер-офицерские кадры. При этих условиях у Наполеона еще хватило сил создавать в 1813—1814 гг. армию за армией, и, нанося союзникам страшные удары при Люцене, при Бауцене, при Вейссенфельсе, при Дрездене, медленно отступая из Германии, принуждать союзников дважды предлагать ему почетный мир. Талейран видел поэтому, что торопиться открыть свои карты еще опасно.

5 декабря (н. ст.) 1812 г. в 10 часов вечера Наполеон, сопровождаемый Коленкур, польским офицером Вонсовичем, мамелюком Рустаном и двумя пикерами, сел в сани в местечке Сморгони и начал свое далекое путешествие. В своих воспоминаниях правдивый Коленкур посвящает много места разговорам с императором «в санях», и даже одна очень большая глава (142 страницы убористого шрифта) в новом издании его мемуаров (т. II, стр. 305—342) так

и называется: «В санях с императором». Наполеон всегда чувствовал расположение к Коленкуру и уважал если не его ум, то характер. Честные и преданные люди были при его дворе величайшей редкостью. А тут, в долгом пути, под впечатлением чудовищной катастрофы в России, прямым виновником которой он был, Наполеон особенно разоткровенничался и в этих беседах с глазу на глаз высказывался о многом, о чем в более нормальных условиях молчал.

Нас интересует в этих речах лишь то, что прямо относится к князю Талейрану. Прежде всего ясно, что Наполеон все-таки никакого понятия не имел о государственной измене Талейрана, начавшейся в 1808 г. в Эрфурте и не окончившейся вплоть до конца империи. Император, например, сказал Коленкуру: «Я очень был не прав, что сердился на Талейрана». Он жалел, что не назначил своим представителем в Варшаве Талейрана, который, по его мнению, сумел бы лучше использовать поляков, чем Прадт⁴¹. «Это ваш друг, — сказал он мне [Коленкуру] и затем прибавил: — Это человек интриги, человек большой безнравственности, но и большого ума и, конечно, самый способный из министров, которых я имел. Я долго на него сердился, но у меня уже нет раздражения против него. Он бы еще теперь был министром, если бы захотел этого». Император жаловался, что интриги герцогини Бассано и «денежные интриги» (sic!) самого Талейрана раздражили снова императора, и он чуть не арестовал князя⁴². Он признал перед Коленкуром, что хотя Талейран и не возбуждал его против Испании в тот момент, когда Наполеон напал на эту страну, но тот же Талейран был вполне убежден, что только «частичная оккупация» французами Испании и Португалии могла бы заставить лондонский кабинет заключить мир. Мало того: именно Талейран был «душой неgociации», направленной к достижению этой цели таким

путем⁴³. В расстреле герцога Энгийенского Наполеон, как известно, никогда не высказывал раскаяния. Но тут, перед Коленкуром, он признал, что помиловал бы герцога, если бы того не поторопились расстрелять ночью, сейчас же после суда. «Бертье и Камбасерес колебались, арестовать ли его [герцога]... Талейран настоял на арестовании так же, как Мюрат и Фуше»⁴⁴. Наполеон не сердился за это на Талейрана, не повторил гневного упрека, который некогда, во время знаменитой сцены 28 января 1809 г., сделал ему в Тюильри. А когда проезжали через Варшаву, то император еще раз с досадой упомянул, что «из-за глупых интриг» не назначил в Варшаву Талейрана⁴⁵. Наполеон до такой степени был обманут лестью «невинного» Талейрана, якобы «простившего» все оскорбления императору, что он открыл Коленкуру следующий, изумительный с психологической стороны факт: заметив непонятную перемену в Александре во время эрфуртских свиданий, император приписал это каким-то нескромностям и некорректным высказываниям маршала Ланна, вернейшего солдата, преданного Наполеону до глубины души⁴⁶. Ни Наполеон, ни слушавший его Коленкур никакого представления не имели о том, кто был истинным изменником в Эрфурте. Это ослепление многое объясняет в последующих событиях, когда Талейран мог нанести в решительный момент тяжкий удар Наполеону, уже совсем открыто выступив против погибающего императора.

10

Наступила зима с 1813 на 1814 г. Враги приближались к Рейну. Наполеон дни и ночи работал над созданием новой большой армии, с которой готовился к отчаянной обороне страны. Шарль Ремюза застал в один из рождествен-

ских вечеров в салоне своей матери гостей, среди которых находился Талейран. Один только Талейран говорил, все молчали. Он прямо заявлял, что Наполеон погибает. «Самое большое, самое непоправимое зло — это его одиночество, — говорил Талейран. — Он — один, как он того и хотел, одинок в Европе, но это ничего еще, а он и во Франции одинок». Что такое страсть и сила без рассуждения, когда сила уходит, а страсть остается? Император в пустом пространстве. «Нет сопротивления, но нет и опоры. Это великая ошибка власти во Франции, — нет доверия к нужным людям... Он слушает только тех, которые отвечают ему то самое, что он им говорит. Дюрок видел зло, Бертье тоже немного видел. Но у Дюрока было слишком мало ума, чтобы уметь сказать то, что он думал. То же самое должно сказать и о Бертье. Дарю — рабочий вол, у Камбасереса нет мужества». Общее заключение этой интимной беседы Талейрана в кругу друзей сводилось к тому, что больше уже нечего ждать императору от окружающих его и нечего ждать подданным от самого императора⁴⁷.

После поражения при Лейпциге, прибыв на короткое время в Париж, Наполеон на утреннем выходе своем во дворце Сен-Клу 10 ноября 1813 г. среди царедворцев увидел и Талейрана. «Зачем вы тут?» — вдруг гневно обратился он к нему и между прочими раздраженными фразами сказал и такую: «Берегитесь: ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества! Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня!» Это была угроза расстрелом. И тогда же, в конце 1813 г., Наполеон внезапно предложил Талейрану снова стать министром иностранных дел. Тот отказался. Наполеон, презируя и ненавидя Талейрана, уже теперь почти убежденный в его измене, все-таки думал, что Талейран слишком осыпан его милостями, которые побоится потерять в случае падения

империи, и имеет слишком много причин опасаться возвращения Бурбонов.

Он не знал, что Талейран после Лейпцига окончательно утвердился на той мысли, что все-таки Наполеон будет низвергнут, и притом не революцией, но напором союзных европейских армий, «восстанием Европы», а не восстанием Франции против его владычества. Император не знал, что и Бурбоны все забудут и простят охотно Талейрану все его бывшие и даже будущие предательства против них, если он теперь совершит еще новое предательство, на этот раз уже в их пользу. Не зная еще всего этого, в январе 1814 г., когда борьба шла уже на французской территории и когда Наполеон готовился нанести союзникам ряд новых и страшных ударов, а они опять, по совету Меттерниха, предложили Наполеону мирные переговоры, император в присутствии министров снова предложил Талейрану вести эти переговоры. Но Талейран снова отказался. Придя в бешенство, Наполеон, потрясая кулаками, стал наступать на Талейрана, схватил за плечо, занес кулак... Князь, попятившись, избежал удара. Эта безобразная сцена произошла 16 января 1814 г.

Зачем Наполеону так нужно было, чтобы именно Талейран, которому он уже совершенно определенно теперь не доверял, поехал на этот мирный конгресс, который открылся 4 февраля 1814 г. в Шатильоне? Мы знаем, что даже верному Коленкуру, герцогу Виченцскому, командированному в Шатильон, пришлось испытать гнев Наполеона, который на пересылаемые ему Коленкуром из Шатильона предложения союзников отвечал: «Перестаньте меня оскорблять». Но Наполеон вовсе и не хотел мира в этот момент, а конгресс в Шатильоне (из которого ровно ничего не вышло и не могло выйти) ему нужен был больше для проволочки, для выигрыша времени, с точки зрения чисто

тактических соображений. Но если так, то, конечно, Талейран был более пригоден, чем Коленкур: самая посылка Талейрана могла гораздо больше ввести союзников в заблуждение и дольше заставить их думать, будто Наполеон всерьез хочет мира.

Император уехал в армию. Талейран остался в Париже. Тут ему пришлось в феврале и начале марта пережить критические минуты. Началась серия новых побед Наполеона, когда их уже никто не ждал. «Я снова надел сапоги, в которых проделал свою первую итальянскую кампанию», — говорил впоследствии Наполеон об этом времени. И военные специалисты до сих пор находят кампанию 1814 г. одной из самых замечательных в долгой и кровавой карьере полководца. Чуть ли не каждые три дня в Париж приходили известия о новых победах Наполеона, и Талейрана охватывало иной раз такое лютое беспокойство, что он писал герцогине Дино, своей племяннице (и любовнице), и ее матери, герцогине Курляндской, записки, похожие на духовное завешание. Наполеон в случае полной и окончательной победы мог расследовать тайные сношения Талейрана с союзниками, мог и просто в гневную минуту расстрелять его. Спасти его могло только поражение Наполеона. И вот вместе с Витроллем (и через посредство Витролля) он торопит поход союзников на Париж, дает им знать о недостаточности сил для сопротивления, дает знать через верных лиц Бурбонам, что он хочет благопритствовать именно им: все знали, что среди союзников есть сильное течение в пользу воцарения маленького сына Наполеона, римского короля, и Бурбоны очень беспокоились.

Но вот идут битвы уже под самыми стенами Парижа. Императрица Мария-Луиза с маленьким сыном, наследником императорского престола, уезжает из столицы в глубь страны. Талейран — в труднейшем положении: ехать

ему за императрицей, как велел Наполеон всем главнейшим сановникам, или оставаться в Париже? Если послушаться императора и остаться в Париже, то, в случае победы Наполеона или даже в случае его отречения и воцарения римского короля (Наполеона II), ему, Талейрану, может дорого обойтись это изменническое поведение. А с другой стороны, если союзники победят и войдут в Париж, то необычайно возрастут шансы Бурбонов, и тут-то Талейран может, если он останется в столице, взяв на себя деятельную роль, сделавшись естественным звеном между союзниками и Бурбонами, с одной стороны, и сенатом и прочими имперскими учреждениями — с другой, создать со своей обычной ловкостью такую обстановку, чтобы вышло, будто сама Франция, устами сената, низлагает династию Бонапартов и призывает династию Бурбонов. Он знал прекрасно, что союзникам очень нужно соблюсти такую видимость, да и особенно это нужно Бурбонам, чтобы с самого начала был сколько-нибудь приличным фиговым листком прикрыт слишком уж грубый и болезнетворный для французского национального самолюбия факт прибытия предполагаемого короля Людовика XVIII в «фургонах союзников». Об этих «фургонах», сыгравших потом такую роль в антибурбоновской агитации, именно тогда и начали уже говорить. Значит, Талейран мог надеяться, что ему простят решительно все его прошлое, даже убийство герцога Энгиенского, если он теперь оформит и облегчит воцарение Бурбонов.

Поэтому ему непременно нужно оставаться в Париже... Как же быть? Биографы Талейрана формулируют раздравшее в этот момент душу его противоречие такими строжайше точными словами: «Как сделать так, чтобы разом и уехать из Парижа и не уезжать из Парижа?» Задача, на первый взгляд противоречащая элементарным законам физи-

ки и совершенно неразрешимая. Но не князя Талейрана могли смутить трудности. Он, напротив, в самые безвыходные минуты жизни и обнаруживал наибольшую находчивость. Он сначала отправился вместе с одной старинной своей приятельницей (у него они были припасены на все случаи жизни), с госпожой де Ремюза, к префекту полиции Паскье, и тут (на всякий случай предоставив говорить госпоже де Ремюза и ограничившись со своей стороны лишь неопределенными междометиями) он дал понять Паскье, что хорошо было бы, если б, например, при выезде из города его, князя Талейрана, «народ» не пустил бы дальше и принудил «силой» вернуться домой. Госпожа де Ремюза даже подала недогадливому префекту мысль, что еще лучше было бы, если бы он поручил своим агентам слегка взбунтовать «народ», чтобы устроить это насильственное возвращение Талейрана. В конце концов условились на том, что не «народ», а национальная гвардия задержит Талейрана и вернет назад. Важно было выиграть день, когда все решалось.

Тотчас после этого сговора Талейран с багажом, с секретарями и слугами в открытой карете выехал из своего дворца во имя честного исполнения своего верноподданнического долга, согласно приказу его величества императора Наполеона, чтобы присоединиться к пребывавшей в Блуа императрице и наследнику императорского престола, маленькому римскому королю. Но вот, к прискорбию Талейрана, ему, на глазах всех, помешали исполнить его долг перед Наполеоном национальные гвардейцы, которые у барьеров Пасси задержали, по досадному недоразумению, его карету и вернули в город! Сейчас же он отправил рапорт о случившемся печальном инциденте великому канцлеру империи Камбасересу. Застраховав себя таким образом от гнева Наполеона, Талейран немедленно

стал работать над подготовкой реставрации Бурбонов. Он подсылал эмиссаров к маршалу Мармону и убеждал колебавшегося маршала не сражаться с подступившими к городу союзниками и сдать столицу, отведя в сторону свой корпус. Наполеон с остатками армии спешил к городу. Но 31 марта во дворце Фонтенбло он узнал об измене Талейрана...

Александр I, еще до того как союзные войска вошли и прочно заняли Париж, откомандировал Нессельроде к Талейрану, и они вместе сочинили ту знаменитую, подписанную Александром декларацию, помеченную 31 марта 1814 г., в которой заявлялось, что союзники не будут более вести переговоры ни с Наполеоном, ни с его семьей, но что они признают и гарантируют то новое устройство, которое дает себе французская нация. Прибавлялось, что союзники приглашают сенат назначить временное правительство.

ГЛАВА IV

Талейран и реставрация Бурбонов. Парижский мир 30 мая 1814 г.

1

После торжественного въезда в Париж Александр и король прусский прежде всего посетили Талейрана в его дворце. Тут Талейран не переставал убеждать обоих монархов, что Франция хочет именно Бурбонов, именно Людовика XVIII. Но Александр колебался. Ему, судя по некоторым признакам и даже прямым свидетельствам, хотелось бы посадить на французский престол трехлетнего сына Наполеона, римского короля, с регентством его матери Марии Луизы, а Людовик XVIII был в высшей степени лично антипатичен русскому императору. «Как могу я узнать, что Франция желает династии Бурбонов?» — недоверчиво спросил он у Талейрана. Но тот, не моргнув глазом, отвечал: «Через посредство решения, которое я берусь провести в сенате, государь, и последствия которого вы немедленно увидите». — «Вы в этом уверены?» — «Отвечаю за это, государь».

На другой день Талейран созвал сенат. Это учреждение не играло при Наполеоне ни малейшей роли и ограничи-

валось положением и службой послушных и исправных ко-
дификаторов и исполнителей императорской воли. Они
привыкли пресмыкаться перед силой, без рассуждений по-
виноваться приказу, и если из ста сорока одного на при-
зыв Талейрана откликнулось всего семьдесят четыре¹, то,
конечно, главным образом потому, что еще не все освои-
лись с мыслью о крушении империи, еще не отвыкли от
страха перед Наполеоном. Талейран, опираясь на все со-
юзные армии, стоявшие в столице и во Франции, без ма-
лейшей затраты красноречия достиг того, чтобы, во пер-
вых, сенат постановил избрать «временное правительство»
из пяти членов, с поручением им вести текущие дела и вы-
работать проект новой конституции, и, во-вторых, чтобы
во главе этого правительства был поставлен именно он, Та-
лейран. Остальные были роялистские бесцветности, фи-
гуры второго порядка.

Было это 1 апреля, и тогда же произошло любопыт-
ное свидание между Талейраном и посланным от Бурбо-
нов графом Семаллэ. Талейран, в качестве центрального
лица, в качестве главного деятеля происходящей рестав-
рации, самым очаровательным образом встретил этого
Семаллэ, личного друга Карла д'Артуа, т.е. брата намеча-
емого короля Людовика XVIII. Талейран тотчас же посо-
ветовал передать Бурбонам, чтобы они приняли трехцвет-
ное знамя, — и сейчас же получил негодующий отказ:
Бурбоны желают вернуться со своим белым знаменем,
знаменем старого режима. И совет и отказ были одина-
ково многозначительны.

Талейран всей своей колоссальной опытностью пони-
мал твердо, что для Франции Бурбоны — совсем чужие,
неведомые люди, которых новые поколения вовсе не зна-
ют, что крестьянство уже наперед их не любит и боится, и
старое белое знамя будет в глазах крестьян как бы эмбле-

мой восстановления феодальных пережитков, уничтоженных революцией, что, с другой стороны, для всей армии белое знамя — это ненавистное знамя, которое они до сих пор видели только в руках эмигрантов, поднявших оружие на отечество, и в руках белых изменников; их-то эти солдаты и били еще в годы революции. А трехцветное знамя было знаменем победоносной революции и победоносного Наполеона. Талейран понимал, что Бурбоны этой заменой трехцветного знамени белым начинают сами копать себе яму, что они действительно ничему не научились. Но спорить было немислимо. Вспомним, что не только в 1814 г., но и в 1871—1873 гг., после новых двух революций и Коммуны, Бурбоны, в лице графа Шамбора, отвергли трехцветное знамя и этим отвергли снова предлагавшийся им французский престол.

Положение осложнялось тем, что Александр не только не терпел Бурбонов, но специально выискивал кого угодно и что угодно, лишь бы избежать воцарения старой династии. Он был убежден, что не усидеть им на французском престоле ни за что, даже если они при помощи иностранных армий туда взберутся. Талейран знал, в какое отчаяние привел Александр агента Бурбонов барона де Витролля, когда тот ровно за две недели до въезда царя в Париж был им принят и горячо умолял Александра согласиться на воцарение династии Бурбонов. «Что же, — сказал тогда Александр Витроллю с выражением неудовольствия и сожаления, — если бы вы их (Бурбонов. — *Е. Т.*) знали, вы были бы убеждены, что тяжесть подобной короны слишком для них велика... Мы уже много искали, что могло бы подойти Франции, если бы Наполеон исчез. Некоторое время тому назад мы думали о Бернадотте. Его влияние на армию, расположение, которое он должен иметь в кругу друзей революции, остановили на один момент нашу мысль на нем.

Но затем некоторые мотивы нас отдалили от этой мысли. Говорили и о Евгении Богарнэ, его уважают во Франции, его любит армия, он вышел из рядов дворянства. Может быть, он имел бы многочисленных сторонников. А потом, может быть, благоразумно организованная республика больше подошла бы к духу французов? Ведь не бесследно же идеи свободы долго зрели в такой стране, как ваша! Эти идеи делают очень трудным установление более концентрированной власти». Выслушав это от самодержца всероссийского, роялист, легитимист, ревностный католик Витроль остолбенел: «Где же мы, великий боже, были 17 марта? Император Александр, король королей, объединившихся для спасения всего света, говорил мне о республике!» Витроль называет его точь-в-точь так, как его называли тогда в России, говоря о 1814 и 1815 гг.: «вождь вождей, царей диктатор» (Жуковский в «Бородинской годовщине»); «...и скоро силою вещей мы очутились в Париже, а русский царь главой царей» (Пушкин, варианты уцелевших отрывков X главы «Евгения Онегина»). Заметим, что, именую Александра «главой царей», собравшихся в 1814 г. в Париже, Пушкин вовсе и не думает возвеличивать царя, которого он не любил, называл «арлекином, к противочувствиям привычным» и, иронизируя о царе, считал, что «теперь коллежский он ассессор по части иностранных дел». Великий поэт словами «глава царей» просто констатирует факт. Точно так же очевидец и участник событий 1814—1815 гг. французский легитимист Витроль тоже терпеть не мог Александра Павловича и если называет его почти дословно так, как Пушкин («le roi des rois» — король королей), то делает это совсем не для комплимента, но со скрежетом зубным, в отчаянии оттого, что этот всемогущий самодержец вдруг стал разглагольствовать о республике. Витроль тоже лишь констатирует факт всемогущества Алек-

сандра или то, что в тот момент всем казалось бесспорным фактом. Великая победа 1812 г., упорная и в конечном счете победоносная борьба 1813—1814 гг. сделали весной 1814 г. Россию на известный момент вершительницей судеб Франции и континентальной Европы. Витролль был вне себя от этой неожиданной выходки Александра².

Конечно, в «республиканизм» царя Талейран, которому Витролль передал всю сцену, ничуть не верил, но уже то обстоятельство, что Александр говорил о ком угодно — о Бернадотте, о Евгении Богарнэ, о Луи-Филиппе, о маленьком сыне Наполеона, римском короле, и даже о республике, лишь бы только показать, что он хочет отстранить Бурбонов, — могло смутить. В политической силе Александра Талейран в тот момент был убежден не меньше, чем Витролль. Предстояло заставить «царя царей» (*le roi des rois*) отказаться от своих антибурбоновских настроений.

Франция примирится на любом правительстве, лишь бы основные достижения буржуазной революции, укрепленные буржуазной империей, остались незыблемы; Франция примирится с удалением Наполеона, если созданный революцией и кодифицированный Наполеоном строй останется непоколебим. Эта мысль заставляла в критические апрельские дни 1814 г. называть то Бернадотта, то Луи-Филиппа. Сила же Талейрана была в том, что его кандидат, Людовик XVIII, имел за себя принцип легитимизма, престиж традиционной монархии, могущественно влиявший на ненавидевших революцию монархов, вошедших в Париж. «Когда был взят Париж, то в государи предлагали кто сына Наполеона, с назначением регентства, кто Бернадотта, кто, наконец, Луи-Филиппа. Но Талейран ответил: или Людовик XVIII, или Наполеон. Это — принцип, все остальное — интрига», — напоминает Маркс в письме к Руге³.

Талейран, живший интригами, на этот раз был в выгоднейшем положении, потому что в самом деле вполне логически прикрывал свою программу очень сильным в тот момент принципом, — сильным в глазах тех, кого ему больше всего необходимо было убедить. Маркс дважды, в разное время и по разным поводам, останавливается на этой позиции Талейрана, который «сразу положил конец его (Бернадотта. — *Е. Т.*) ребяческим надеждам, заявив совету союзных государей, что «нет иного выбора, как только между Бонапартом и Бурбонами, все иное явилось бы только интригой»⁴. Шансов у Бернадотта не было никаких. Но вопрос о регентстве Марии Луизы и о воцарении маленького римского короля беспокоил Талейрана гораздо больше.

Конечно, Талейран был вполне убежден, что кандидатура Людовика XVIII пройдет при неперемennom условии: признать незыблемыми основы социально-экономического строя, созданного буржуазной революцией и окончательно утвержденного буржуазной империей. Наследие Наполеона должно остаться, но наследником должен быть не его сын, а «легитимный монарх» Людовик XVIII. Такова была идея Талейрана весной 1814 г.

2

Коленкур и маршалы, пребывавшие с Наполеоном и с остатками французской гвардии и армии в Фонтенбло, сделали попытку склонить союзников и прежде всего Александра к тому, чтобы начать переговоры с Наполеоном.

31 марта Коленкур, в качестве официального представителя императора Наполеона, явился к Талейрану, которому накануне якобы «помешали» силой выехать из Парижа. Но так как 31 марта союзные войска уже начали вхо-

дить в Париж, то ломать дальше комедию Талейрану уже не было ни малейшей надобности.

«Я спешил к нему, — вспоминал впоследствии Коленкур, — чтобы осведомиться (*pour prendre langue*), будучи вполне уверен, что именно на нем мне следовало основывать свои надежды или свои опасения, потому что все покинули Париж после отъезда императрицы. Незначительные люди, которые остались, были немые и, впрочем, ни к чему не были пригодны... Проникнуть в планы г. Талейрана не было делом легким. Но я не сомневался, что наши старые отношения побудят его откровенно мне высказать, друзья мы с ним или враги. Казалось, он удивился, увидя меня. «Император нас погубил, не дозволив вам заключить мир в Шатильоне» — таково было его первое слово. «Можно ли в нашем несчастье рассчитывать на вас?» — спросил я его. «Вы узнаете, что я еще два дня назад сделал все, чтобы спасти его трон, чтобы удержать императрицу и ее сына, но император тайком отдает приказы, которые губят все. Он никому не доверяет, его письмо к его брату (с приказом о выезде императрицы из Парижа) испортило все. Страх не угодить ему, не послушаться его парализует все. Он погубил себя и погубил Францию. Теперь уже ни от кого из нас не зависит спасти его. Почему он довел дело до этого? Зачем было предпочесть советы Марэ и некоторых льстецов советам людей, преданных его славе и Франции?» — «Теперь не время заниматься его ошибками, — возразил я. — Он меня послал к императору Александру, чтобы защитить себя, чтобы подписать мир, которого все желают. Поможете ли вы мне в наших несчастьях? Покинете ли вы его, когда он несчастлив? Принесете ли вы в жертву императрицу, римского короля, истинные интересы Франции?» — «Еще на последнем совете я все сделал, чтобы их спасти, чтобы помешать их отъезду. Как бы несправедлив ни был

ко мне император, я почти один только боролся за него, за них, — и совершенно тщетно, так как император отдал свои особые приказания. Он все потерял даже в совете регентства. Вы узнаете и это и то, что я сделал все, что должен был сделать»⁵.

Тут разговор был прерван графом Толстым, русским гофмаршалом, а почти вслед за Толстым явился и русский министр Нессельроде. Коленкур ушел, не дождавшись больше ни одного слова от Талейрана. В передней, в приемном зале во дворце Талейрана уже полно было людей: представители иностранных монархов, просители, чающие движения воды, перепуганные иностранным войском граждане — все жаждали лицезреть человека, в котором победителям выгодно было условиться видеть представителя Франции, якобы говорящего от имени страны. Александр милостиво согласился поселиться во дворце Талейрана того же 31 марта, около шести часов вечера.

Сюда перед вечером (сейчас после приезда Александра) прибыли прусский король, представители Австрии Шварценберг и Лихтенштейн, Карл Васильевич Нессельроде, Поццо ди Борго, Прадт и барон Луи. Всех этих именитых гостей хозяин Талейран пригласил в великолепный зал своего дворца, где и открыл заседание. Тут-то и было окончательно оформлено и подписано решение союзников: ни в каком случае не вести переговоров ни с Наполеоном и ни с кем из его семьи. Дело Талейрана было выиграно: он знал, что Александр ничего не имел против воцарения прямого наследника Наполеона, маленького римского короля. А Талейрана устраивала лишь реставрация семьи Бурбонов.

Еще когда шло заседание в большой зале, Александру доложили о приезде Коленкура. Император велел передать, что он примет герцога в десять часов вечера, после заседа-

ния. Это была уже вторая беседа Коленкура с Александром. Первая произошла накануне вступления войск союзников в столицу, и уже тогда Александр решительно отказался вести с Наполеоном какие бы то ни было переговоры. Теперь, после совещания, он и подавно мог лишь вполне категорически повторить свое решение. В переговорах с Коленкуром Александр несколько раз подчеркнул, что он не желает навязывать Франции какое бы то ни было правительство, а будет считаться только с желанием самой Франции. «Но что же понимать под желанием Франции? — возразил Коленкур. — До сих пор я вижу, что это желание г. Талейрана, что это цель его интриг, которым и хотят дать преобладающую силу». «А что, если это желание нации?» — спросил Александр. «Однако Франция ведь не в Париже, а желания и Парижа тоже — не в передних этого дома!» — прибавил Коленкур и поясняет читателю своих мемуаров: «Я намекал на дом князя Беневентского (Талейрана), где мы находились». Разговор окончился. Коленкур мог понять, что дело Наполеона проиграно. Он еще не знал тогда, что уже начиная с 28 марта Талейран деятельно агитировал между оставшейся в Париже группой сенаторов в пользу призвания Бурбонов. Он живо уверял их, будто таково желание Александра, запугивал их (а через них весь город), распуская ложный слух, что русские предадут огню и мечу столицу, если заподозрят, что французы хотят оставить императора на престоле. Следует сказать, что вообще в Париже было полное смятение уже начиная с первых известий о прямом движении русских войск на Париж. Мы знаем, что в эти дни в русской армии повторялось: «Здравствуй, батюшка Париж! Как-то ты заплатишь за матушку Москву?» Точь-в-точь такая самая мысль (но, конечно, с иным настроением) неотступно сидела в головах парижан, когда русская гвардия, не встречая сопротивления, вступила в столицу.

Мы знаем из обильнейших показаний, что в момент вступления русской гвардии паника в Париже достигла кульминационной точки. И вдруг неожиданная, счастливейшая весть! Александр никого не велел обижать, русская армия ведет себя дружелюбно, велено продолжать торговлю на рынках и в магазинах, ни о какой мести за Москву, за двенадцатый год русские и не думают. Чувство огромного облегчения опьянило, околдовало город. Колленкур так и употребляет это слово: «околдовать» (*ensorceler*): «Действия князя Беневентского, присутствие войск союзников и полные благоволения слова императора Александра, которые повторялись и комментировались в пользу перемены (династии), вскружили всем головы. Эти старые сенаторы были околдованы. Уже не боясь позора, не страшась себя скомпрометировать, они торопились действовать, как потерявшие разум... Их увлечение и их страх (а было в наличии и то и другое) граничили с безумием». Талейран торжествовал. В эти дни он успел внушить и сенату и Парижу, что Александр именно к нему, князю Беневентскому, питает доверие, что именно он спасает Париж от разгрома, пообещав русскому царю восстановление Бурбонов. Заметим, кстати, что Талейран сам-то при этом отлично знал, что Александр хотел бы видеть на престоле скорее маленького римского короля (Наполеона II), а вовсе не Бурбонов. Но в эти критические часы и добраться-то до Александра можно было больше всего именно через него, хозяина дома, столь гостеприимно пригласившего русского царя погостить у него. К таким, хорошо делающим свою карьеру и неплохо на белом свете поставленным гостям, как Александр, князь Талейран всегда относился крайне любезно. А этот гость к тому же имел при себе или поблизости, только пока на первый случай, уже около ста тысяч

человек с артиллерией и кавалерией, непрерывным потоком подходивших и входивших в Париж.

Герцена поразило как-то, когда он вычитал, что Талейран, встретивший уже в старости начинавшего свою карьеру юного дипломата А.М. Горчакова, «поучал Горчакова тайне учтиво и сообразно силе и слабости гостей предлагать говядину»⁶. Ясно, почему, принимая и угощая Александра, князь Беневентский проявлял максимум «учтливости» или, точнее, низкопоклонства.

В лицемерии и фальшивости, в умении надевать на себя любое обличье и произвольно долго носить какую угодно маску, в искусстве напускать на себя или, точнее, симулировать всякое, какое желательно в данный момент, настроение, Александр среди тогдашних дипломатов не знал себе достойных соперников, кроме разве одного только князя Талейрана.

Именно эти-то качества и могли сильно беспокоить любезного хозяина в его обворожительном госте. Талейран, мы это знаем, держался об Александре, по существу, того же мнения, которое спустя сто лет сформулировал, говоря о царе, в своем беспощадном отзыве великий автор «Хаджи-Мурата»: «лицемер и отцеубийца». Второе качество несколько не касалось и не интересовало Талейрана; в семейные предания и, так сказать, родственные чувства русской царской фамилии он не вмешивался. Но он знал твердо, что ему предстоит борьба с опасным лицемером и симулянтом, не хуже его самого. Предчувствие не обмануло радушного хозяина, восхищенно встретившего на улице (у входа) своего всемилостивейше улыбавшегося ласкового и фальшивого гостя.

Современники, даже такие умные и проницательные люди, как, например, близко наблюдавший лично события в Париже Стендаль, склонны были очень уж преуве-

личивать решающее значение «талейрановской интриги» в эти дни: «Император Александр поселился у г. Талейрана. Это незначительное обстоятельство решило участь Франции и, вероятно, участь Европы... Это было решающим... Талейран имел счастье поселить у себя монарха, который в течение одного месяца был хозяином и законодателем Франции»⁷.

Стендаль, весь апрель 1814 г. пробывший в Париже, в своем знаменитом романе «Красное и черное» повторяет имя Талейрана как творца реставрации Бурбонов, наряду с совсем уже неосновательным указанием на Поццо ди Борго и Прадта⁸. Поццо ди Борго был как русский дипломат лишь простым исполнителем воли Александра в 1814 г., а аббат Прадт никакой заметной роли при воцарении Бурбонов не играл.

3

Решающее заседание союзников и затем окончательная беседа Александра с Коленкуром состоялась 31 марта вечером, а на другой день Талейрану удалось созвать, как мы уже отметили, 74 сенаторов — половину всех членов сената, числившихся по закону, и они избрали, согласно требованию Талейрана (хотя фактически пришло лишь 63 человека), «временное правительство» из пяти лиц, сплошь ярких легитимистов. Во главе этого правительства, конечно, стал Талейран. Комедия этих выборов нужна была Талейрану затем, чтобы инсценировать в глазах Александра правильную, законную передачу власти от императорского сената к новому «правительству». Для полного удобства Талейран перевез к себе в дом (где жил уже с 31 марта Александр) еще и все это новоявленное «временное правитель-

ство». При моральном параличе, растерянности, запуганности населения Талейрану и сгруппировавшейся вокруг него активной группе роялистов удалось организовать несколько манифестаций, чтобы доказать союзникам, что Франция желает реставрации Бурбонов.

Буржуазия, успокоенная благосклонным отношением Александра к побежденной стране, быстро стала переходить на позиции Талейрана. Императорские сановники один за другим являлись в дом Талейрана с изъявлением полной покорности. Биржа реагировала уже 1-го, а особенно 2 апреля крутым повышением ренты — с 45 франков 29 марта до 63 франков 1 апреля. Класс, интересам которого больше всего служила империя, явно изменял ей. Безнадежность продолжения военной борьбы против всей Европы, раздражение против многих и многих черт наполеоновской политики, давно уже проявлявшееся в разных слоях буржуазии, сказывалось. Но рабочие угрюмо молчали. Для большинства их Бурбоны и призрак воскрешения дворянского феодализма казались тогда еще большим злом, чем военный деспот. Наконец, наполеоновская армия еще не совсем была разбита, еще была непоколебимо верна своему вождю и стояла недалеко, в Фонтенбло. Александр еще 1—2 апреля колебался, и мысль о воцарении римского короля при регентстве Марии Луизы не вполне покидала его. Талейран удвоил свои усилия. Ему помогало и то соображение союзников, что если бы после отречения императора на престоле оказался его трехлетний сын при регентстве Марии Луизы, то рано или поздно Наполеон снова овладел бы фактически верховной властью. Помогали Талейрану и полная апатия и покорность столицы. Союзники не могли надивиться такому умонастроению парижан.

Железный деспотизм Наполеона отучил французских граждан от активности. Страшная усталость этого поколения, видевшего так много перемен за последнюю четверть века, пережившего почти двадцатилетнее непрерывное побоище наполеоновской эпопеи, сказывалась тоже, помимо всего прочего, о чем сказано выше. На некоторых русских военных людей поведение парижан производило отталкивающее впечатление. Например, возмущался в 1814 г. отсутствием у них патриотизма и особенно их «изменой» Наполеону партизан Денис Давыдов, герой русской народной войны 1812 г., и позднейшие отголоски подобных же передававшихся потомству настроений русских наблюдателей тогдашнего Парижа слышатся в укорах Лермонтова по адресу французов: «...в испуге не поняв позора своего, как женщина, ему вы изменили, и как рабы вы предали его...». Любопытно, что когда роялисты вздумали (2 апреля) низвергнуть наполеоновскую Вандомскую колонну, то их быстро прогнал прочь с площади и спас колонну подошедший Семеновский полк русской гвардии. Но, вообще говоря, роялисты без помощи союзников не могли все-таки рассчитывать, даже после устранения Наполеона, посадить на престол глубоко непопулярную династию Бурбонов, низвергнутую еще 10 августа 1792 г. в славные, незабвенные времена революции. И все происки Талейрана в первые дни апреля 1814 г. сосредоточились на том, чтобы не допустить реализации мысли о римском короле (Наполеоне II) и регентстве Марии Луизы, так как подобная мысль еще держалась в уме Александра. Эта идея исчезла, когда 4 апреля совершенно неожиданно для многих, но не для Талейрана, маршал Мармон изменил Наполеону и по соглашению с союзниками отвел свой корпус из Эссона на запад, к Версалю. К этому поступку уже несколько дней

побуждал его Талейран, зная, что с изменой маршала Мармона для Наполеона теряется всякая возможность предпринять вновь приостановившуюся на несколько дней военную борьбу.

С этого момента Александр уже не имел никакой нужды согласиться на предлагаемый Коленкуром компромисс, т.е. на воцарение наследника Наполеона и регентство императрицы Марии Луизы. А ведь Александр только и мог иметь тот аргумент, когда говорил со своими союзниками, что если согласиться на регентство, то Наполеон окончательно сложит оружие и опасность дальнейшего кровопролития отпадет. Подтолкнув маршала Мармона на измену, Талейран выбил из рук Коленкура единственное оружие, еще остававшееся в руках сторонников сохранения империи.

Наполеон учел этот страшный, непоправимый для него удар, отрезавший сразу же всякую возможность дальнейшего военного сопротивления. В своем предсмертном завещании, писанном на острове Св. Елены, он называет имя маршала Мармона наряду с именем Талейрана как главных предателей. Мармон всю жизнь силился снять с себя пятно, которое, как он признавал, омрачило навсегда его честь и лишило его доброго имени. Он настаивал впоследствии на том, что эмиссары, присланные из Парижа (стараниями Талейрана), сбили его с толку, обманули и запутали его и что он думал, «что делает дело, полезное для императора»... «Я обесчещен!» — восклицал он уже 5 и 6 апреля в отчаянии.

Так или иначе, поступок Мармона оказался непоправимым, на что и рассчитывал Талейран. Наполеон в Фонтенбло решил отказаться от престола в пользу своего сына с регентством своей жены, императрицы Марии Луизы. Но когда 5 апреля утром Коленкур и маршалы

Ней и Макдональд прибыли в Париж, чтобы передать это императору Александру, то они сразу увидели, что их дело безнадежно. Во-первых, царь ссылался на то, что сенат, но наущению Талейрана, уже вынес постановление о низложении династии Бонапартов. Во-вторых, как это выяснилось при втором свидании маршалов с Александром, происшедшем после завтрака, того же 5 апреля, союзники (австрийцы и пруссаки) уже нисколько не опасались военных столкновений и не видели никаких причин идти на такой компромисс с Наполеоном, как воцарение его сына и регентство его жены. Опомнившись, терзаемый сомнениями и страхом позора, уже нависавшего над ним, Мармон, правда, лично присоединился к Коленкуру, Нею и Макдональду, когда они снова явились к русскому императору, который, по свидетельству Коленкура, «казался немного удивленным», увидев Мармона в этой делегации, пришедшей отстаивать идею регентства. Но уже ровно ничего, конечно, добиться они не могли.

Еще в ночь с 5 на 6 апреля уполномоченные Наполеона старались уловить при новом свидании с царем некоторые колебания. Но именно в ночь с 5-го на 6-е в Париже были получены точные известия, что корпус Мармона уже весь прошел через союзные линии и фактически выбыл из строя наполеоновской армии. С этого момента все было уже вполне закончено. 6 апреля Александр объявил, что регентство невозможно и что союзники окончательно остановились на возвращении династии Бурбонов как на единственном выходе.

6 апреля уполномоченные императора вернулись из Парижа в Фонтенбло с известием о провале их миссии, и Наполеон подписал свое отречение от престола.

Дело Талейрана было сделано. Опасность позднейшей мести со стороны династии Бонапартов, которую он предал, миновала. Лучезарные перспективы, связанные с благодарностью династии Бурбонов, в пользу которой он предал Бонапартов, открывались перед «князем Беневентским», ревниво и заботливо сохранившим этот данный ему Наполеоном титул.

И, можно сказать, немедленно же после того, как старания и интриги старого князя увенчались полным успехом, обнаружилась неизбежная трещина между ним и любезными ему Бурбонами. Собственно, любезными для него они никогда не были, ибо он их презирал, а они его и презирали, и ненавидели. Но на глазах союзников Талейран так суетился, так хлопотал, так распинался в своих стараниях посадить Бурбонов на престол в течение последних трех дней марта и всей первой недели апреля 1814 г., что кое-кто из союзников (но никак не Александр) всерьез стали верить, что в самом деле роялистский блудный сын вернулся наконец в отчий дом после многих и разнообразных политических странствий и отныне пребудет до конца жизни верным белому знамени.

Но этого не случилось и не могло случиться. Талейрана от Бурбонов и особенно от вернувшейся с ними белой эмигрантщины отделяло больше всего то, что он был проницателен, а эмигранты были почти сплошь на редкость политически тупы. Они абсолютно ничего не понимали в новой Франции. Из того факта, что Наполеон со своей непрерывной военной бойней, со своим безудержным военным деспотизмом, со своими опустошающими деревню постоянными наборами утомил и измучил многих, эмигранты делали вывод, что, не поддержав Наполеона, пас-

сивно приняв навязанную Талейраном и роялистами старую династию, буржуазия и крестьянство (рабочий класс они просто игнорировали) легко откажутся от всего, что сделала буржуазная революция 1789 г., и от всего также, что в области гражданского и административно-судебного законодательства и организации государственной власти сделал император. Вот здесь-то люди поумнее, вроде Талейрана, и видели страшную опасность для Бурбонов, если не сейчас, то впоследствии. Даже такие реакционеры и в полном смысле слова неистовые клерикальные мракобесы, как Жозеф де Местр, и те считали, что Бурбоны возвращаются не на «прародительский престол», а на бонапартовский престол, потому что никакого другого во Франции уже быть не может. И даже король Людовик Станислав (назвавший себя Людовиком XVIII) тоже если и не понимал этого разумом, то чуял инстинктом самосохранения, что начинать говорить о воскрешении старого режима значит работать себе на погибель. Но родной брат его, глава необузданной роялистской («легитимной») реакции, Карл д'Артуа, ровно ничего не понимал, и с ним-то прежде всего столкнулся Талейран. Правда, дело шло пока только о символе, об эмблеме, но Талейран сразу же мог видеть, что в самом деле Бурбоны, как он и Александр I, не сговариваясь, почти одинаково о них выразились: «ничего не забыли и ничему не научились», «не исправились и неисправимы» (*incorriges et incorrigibles*). Едва только можно было с полной уверенностью счесть реставрацию Бурбонов совершившимся фактом, в самый день отречения императора Талейран написал Витроллию, роялисту и другу графа Карла д'Артуа, что он настоятельно советует при въезде в Париж надеть на шляпу трехцветную кокарду. Эта эмблема возникла в первые же месяцы революции 1789 г., и если бы Бурбоны ее приняли, а следовательно, приняли

бы и трехцветное знамя, то это означало бы примирение возвращенной династии с теми достижениями революционной эпохи и наполеоновского законодательства, которыми больше всего дорожила в первую очередь новая буржуазия, собственническая Франция в городе и деревне. Этот символический жест королевского брата сразу же внес бы некоторое успокоение в умы всех, кто боялся, что Бурбоны начнут восстанавливать разрушенный революцией феодализм. Талейран просил Витролля подчеркнуть в разговоре с Карлом д'Артуа, что и сам император Александр I, тогдашний вершитель судеб Франции, также этого хочет: «Все сходятся на желании, чтобы монсеньор граф д'Артуа надел трехцветную кокарду. Армия, по-видимому, очень за это стоит. И русский император чувствует, что это был бы пункт примирения, на который было бы благо-разумно пойти».

Но не тут-то было. Бурбоны приняли не трехцветную, а старую, белую кокарду, старое королевское белое знамя, символ феодальной монархии, ненавистной и буржуазии, и крестьянству, и рабочим. Династия в лице Карла д'Артуа в эти буквально первые моменты своего возвращения 6 апреля 1814 г. вступила именно на тот путь, который через шестнадцать лет и привел ее к июльской революции 1830 г. и к бесповоротной, окончательной потере престола. Их ничуть не просветило и ничему не научило впоследствии даже и грозное предостережение Стадней. Талейран, впрочем, видя их упорство, не очень и настаивал и принял белую кокарду.

Тут крайне кстати будет отметить следующее. Своей тонкой проницательностью, размеры которой не уступали размерам моральной развращенности этого человека, Талейран уже тогда, в первые дни реставрации Бурбонов, предвидел не только опасность для старой династии от

непонимания новой Франции, но и страшную угрозу для Бурбонов от слишком близкого к ним соседства Наполеона на острове Эльбе. За очень многое ненавидел Талейран Александра: и за то, что этот фальшивый, хитрый «византийский грек», подозрительный, неискренний царь давно и до дна разгадал и понял даже его самого, масти того князя Беневентского, мудрейшего отца лжи и патриарха предательства; и за то, что со времени, когда Талейран поступил в 1808 г. в Эрфурте на тайную русскую службу, Александр никакими благосклонными улыбками все же не мог вполне скрыть своего неуважения к нему; и за то, что даже и теперь, в апреле 1814 г., когда они действовали в значительной степени заодно, царь, отказывая во всем Коленкуру, ведя линию, которую вел и Талейран и которая привела к реставрации Бурбонов, все-таки горячо, сердечно, дружески жмет руку Коленкуру, громогласно хвалит герцога Виченцкого за верность павшему императору, всячески демонстративно выражает ему свое полное уважение и личное безусловное сочувствие, а относительно него, Талейрана, ограничивается по-прежнему благосклонными улыбками и официальными любезностями, всю фальшь которых князь видел насквозь. Но особенно раздражал его Александр своими «претензиями на великодушие», причем эти «претензии», в которые не верил Талейран, привели в конце концов к очень опасному, по мнению старого князя, решению: к отдаче Наполеону в его державное обладание острова Эльбы. Талейран с первого же момента боялся этой комбинации, на которую подтолкнул царя Коленкур, настоявший и на сохранении за Наполеоном титула императора, и на отдаче ему острова, так близко лежащего и от берегов Франции, и от берегов Италии, т.е. двух стран, над которыми Наполеон долго царствовал.

Предвидя в будущем и нелепые ошибки ничего не понимающих в своем положении роялистских реакционеров, и характер Наполеона, и нескрываемую злобу французской армии к белому знамени, знамени «изменников» — белых эмигрантов, которое навязали армии Бурбоны с первого же дня своего возвращения, и преданность солдат Наполеону, Талейран считал физическую близость «императора острова Эльбы» к Франции грозной опасностью. Когда в марте 1815 г. все эти предвидения Талейрана полностью оправдались, Меттерних хвалился тем, что он, как и Талейран, считал опасным пребывание Наполеона на Эльбе. Руководимое Талейраном «временное правительство» делало все возможное и невозможное, чтобы повлиять на Нессельроде и всякими иными путями на Александра и заставить его взять назад свое слово, данное Коленкуру. Но из этих усилий ничего не вышло, — Александр отказался нарушить данное им обещание.

Талейран никогда не уважал Бурбонов. Они не вняли его разумному совету насчет знамени, и он вскоре стал вообще замечать, что реставрация будет, может быть, не весьма продолжительна. Но тут выбирать уже было поздно. Он стал доделывать начатое. В ближайшие дни сенат, по наущению Талейрана, разрешил армию и народ от присяги Наполеону, династия которого была провозглашена низложенной. Наполеон, независимо от этого, подписал в Фонтенбло отречение. Людовик XVIII воссел на престоле.

Итак, Талейран настоял на своем. «Он продал Директорию, он продал Консульство, Империю, императора, он продал Реставрацию, он все продал и не перестанет продавать до последнего своего дня все, что сможет и даже чего не сможет продать», — говорила о нем впоследствии госпожа Сталь, которая горько каялась, что помогла его карьере в

1797 г., упросив Барраса дать ему портфель министра иностранных дел. Появившиеся вскоре ультрароялистские карикатуры и листовки начинали список измен Талейрана не с Директории, а со старого режима и католической церкви.

Но положение было таково, что, даже хорошо зная, что собой представляет Талейран, люди начинали о нем мечтать как о спасителе от безумств нахлынувшей во Францию жадной, наглой, неосмысленной эмигрантской дворянской орды.

«Я видел тут очень близко большой спектакль. Все произошло с величайшей простотой. Великие и малые действовали сообразно со своими интересами, не думая о том, что об этом скажут (*sans songer au qu'en dira-t-on*) (курсив Стендаля. — *Е. Т.*). Я думаю, граф Артуа в затруднении, как примирить все претензии: 30 000 дворян стекаются со всех сторон, они ничего не умеют делать и всего требуют. К счастью, есть тут один человек большого ума, г. Талейран, достойный быть первым министром», — так писал Стендаль своей сестре 15 апреля 1814 г.⁹

Он писал это через неделю после того, как официально заявил, что «с готовностью» (*avec empressement*) подчиняется решению сената, только что провозгласившего низложение Наполеона и призвание Бурбонов¹⁰.

Собственный оппортунизм в 1814 г. не мешал Стендалю, как всегда, быть внимательным созерцателем происходящего.

5

13 мая 1814 г. Людовик XVIII сделал то же самое, что сделала Директория в 1797 г., а Бонапарт в 1799 г.: он назначил Талейрана министром иностранных дел. Вот в каких выражениях благоговейно-верноподданный Талейран

(подписавшийся, впрочем, и тут титулом, пожалованным ему от «узурпатора и тирана»: «Князь Беневентский») извещает о своем назначении русского министра графа Нессельроде: «В ту минуту, когда, возвращенный на трон своих предков, его величество занят восстановлением и укреплением уз мира и согласия, которые во время царствования его предков делали общими интересы всей Европы, важные функции, которые король мне доверил, приобретают новую цену»¹¹ и т.д.

Курьезнейшая, похожая на откровенно циничную насмешку, ложь Талейрана об аркадской идиллии «общеевропейских интересов» при «предках» Людовика XVI особенно забавна в устах Талейрана, лучше кого-либо знавшего, какую открыто враждебную позицию занимала дипломатия версальского двора относительно именно России в течение не десятилетий, а почти полутора веков, за очень немногими перерывами.

Назначение Талейрана министром иностранных дел было принято Александром с полным видимым удовольствием, и Нессельроде написал новому министру самое ласковое письмо, удостоверяя его высочество (в качестве владетельного князя Беневентского Талейран продолжал быть «*Son Altesse*»), что царь видит в его назначении «ручательство» в желании короля Людовика XVIII поддерживать «самые интимные» сношения с Россией: «Никакой другой выбор не мог быть более приятен императору»¹².

В нашем Архиве внешней политики есть целый ряд документов, показывающих, как упорно старались Александр и его представитель при новом французском дворе Поцци ди Борго втолковать Людовику XVIII и его родным и друзьям понятие о серьезности и шаткости их положения: «Я не пренебрег ни одним аргументом, не скрыл ни одного сведения, которое пригодилось бы, чтобы [правильно] напра-

вить ум короля и дать ему точное представление о положении вещей», — с ударением доносит Поццо ди Борго министру Нессельроде 18 апреля 1814 г.¹³ И сколько раз приходилось русскому послу бороться с этим глубочайшим, детским непониманием всего окружения короля, так влиявшего на Людовика XVIII!

Александр совсем не доверял Людовику XVIII и искренности его «конституционных» чувств и именно поэтому потребовал, чтобы король созвал законодательный корпус, который должен был выработать конституцию, не на 10 июня, а на 31 мая, потому что царь непременно желал, чтобы это случилось еще до его отъезда из Парижа.

Автор двухтомной монографии, точнее, издатель документов о министерстве Галейрана в 1814 г. Шарль Дюпюи, останавливаясь с иронией на вопросе, почему Александр обнаруживал, будучи самодержцем, такое конституционное рвение относительно Франции в 1814 г., дает совершенно неправильный ответ: он объясняет это желанием смягчить дарованием конституционных вольностей раздражение французов по поводу мирных условий и уменьшения французской территории¹⁴. Решительно никаких доказательств он не приводит, да их и нет. Во-первых, французы в массе считали, что они очень легко отделались и что Европа, а особенно всемогущая тогда Россия поступила с ними необычайно мягко после пожара Москвы, грабительства и деспотического угнетения со стороны Наполеона. А во-вторых, у них весной 1814 г. не было ни малейших средств к сопротивлению. Нет, Александр, по словам умного министра полиции Паскье, страшился «неосторожностей» (т.е. безумных реакционных провокаций) со стороны ультрароялистов и королевского брата графа д'Артуа, так как знал, что усмирять революцию, которую эти тупые и наглые реакционные фанфароны могут вызвать,

придется непременно русским и иным иностранным войскам, потому что французская армия Бурбонов не терпит и в душе продолжает считать своим единственным законным государем Наполеона. Талейран по этой же самой причине тоже был тогда всецело на стороне воззрений Александра, пока царь не уехал из Парижа.

Там, где «либерализм» не грозил прямым конфликтом с роялистами и королем, Талейран продолжал придерживаться примирительной политики по отношению к тем, кто был повинен в симпатиях к революции или к Наполеону. Так, он долго не хотел подписывать мирный договор с Испанией, пока вернувшийся в Испанию из французской ссылки после падения империи испанский король Фердинанд VII не объявит амнистии всем, кто служил при правлении Иосифа Бонапарта¹⁵. Но когда Талейран увидел, что этого не добьется, то уступил.

Конституционный проект, выработанный сенатом при деятельном участии Талейрана и вполне одобренный Александром, был отвергнут Людовиком XVIII. Александр I раздражен был до крайности. «Я не знаю, не расскаюсь ли я в том, что возвел Бурбонов на престол, — сказал царь принцу Евгению Богарнэ. — Поверьте мне, мой дорогой Евгений, это нехорошие люди, они у нас побывали в России, и я знаю, какого мнения мне о них держаться». Александр прямо заявил Лафайету (с которым был демонстративно любезен), что он ничего хорошего от Бурбонов не ждет, потому что они полны старорежимных предрассудков. Когда Лафайет выразил мнение, что Бурбоны, может быть, исправились, то царь воскликнул: «Исправились! они не исправились и неисправимы!»... «Если таково ваше мнение, государь, то зачем же вы нам их привезли?» — довольно резонно возразил Лафайет, который все-таки, несмотря ни на что, никак не мог забыть взятия Бастилии и пер-

вых светлых дней революции. «Это не моя вина», — отвечал царь и настаивал, что ему навязали себя Бурбоны, что Бурбоны его «затопили, как наводнение». «Это дело неудавшееся (*c'est une affaire manquée*), и я уезжаю очень опечаленным», — заключил царь¹⁶. Он выехал из Парижа 3 июня 1814 г.

6

Если Талейран обнаружил проницательность насчет будущей участи Бурбонов и последствий пребывания Наполеона на Эльбе, то справедливость требует признать, что и Наполеон выказал не меньшую проницательность относительно судьбы самого Талейрана, по крайней мере в более или менее близком будущем. «Талейран призвал Бурбонов, так как он опасается, что регентство [Марии Луизы] будет благоприятствовать моему возвращению. Но Бурбоны его прогонят, когда они обоснуются и не будут уже больше в нем нуждаться» — так сказал Наполеон, уже подписав отречение, в разговоре с Коленкурором вечером 6 апреля 1814 г. в Фонтенбло¹⁷. В одном только Талейран, несомненно, согласился бы с Наполеоном, если не вслух, то про себя: это с предсказанием, которое Наполеон тогда же вечером 6 апреля сделал относительно Бурбонов. «...Нация примирится с ними, только если они удалят от себя эти головы в париках и отбросят старые претензии, но это значит требовать от них невозможного. Через год они надоедят сверх головы (*au bout d'un an on aura donc d'eux pardessus la tête*)» — так сказал он Коленкуру, записавшему это пророчество. Император ошибся лишь в том, что Бурбоны «надоели» не через год, а уже через одиннадцать месяцев, и настолько, что он же их и низверг и прогнал с престола в марте 1815 г., не сделав для этого ни единого выстрела.

Для Талейрана начинался новый, впрочем, далеко не последний этап в его карьере. Многое раздражало его и кое-что беспокоило. С одной стороны, решительно все считали, что именно он больше всех содействовал призванию Бурбонов на престол, насколько можно уследить в подобных исторических событиях роль отдельного человека. Низвергла Наполеона Европа, низвергли его три кровопролитные войны 1812, 1813 и 1814 гг. Но что на освободившийся престол посадил Бурбонов именно Талейран, в этом был убежден и сам Наполеон, назвавший эти апрельские дни 1814 г. «Революцией Талейрана»; в этом были уверены и Александр, и император Франц, и король Фридрих Вильгельм, с этим не спорили и сами Бурбоны, ни Людовик XVIII, ни его брат Карл д'Артуа, ни герцоги Ангулемский и Беррийский, сыновья графа д'Артуа.

Но почему же Бурбоны и их новый двор так странно посматривают на него, творца их благополучия, а некоторые из вернувшихся не торопятся пожать ему руку? Правда, ему поручают первое министерство Реставрации, но даже и это мало помогает, придворная атмосфера остается для него ледяной. А что еще важнее: почему император Александр, в течение первых 12 дней его гость, уехал из Парижа, несмотря на все домогательства и просьбы об аудиенции, не пожелав проститься со своим любезнейшим хозяином? Почему царь, уже перед тем перебравшийся в Елисейский дворец, не захотел никак даже объяснить свой оскорбительный отказ принять его? Это было хуже всего, беспокойнее всего. И эта пощечина от царской руки подрывала положение Талейрана при новом дворе.

Немало раздражало князя Беневентского и то, что этот же император Александр, у которого не хватило простой вежливости проститься с ним, не только моментально принял приехавшего проститься Коленкура, но и тепло облас-

кал его. Кого? Герцога Виченцкого, из всех сил боровшегося сначала против отречения Наполеона, потом так настойчиво хлопотавшего о воцарении наследника Наполеона и регентстве Марии Луизы! Почему Александр громко, демонстративно восхвалял верность Коленкура императору Наполеону, врагу России, кровавому узурпатору, и так грубо обошелся с ним, Талейраном, призвавшим столь быстро и ловко «законную» династию на прародительский престол? Какой политический расчет руководил всеми этими поступками лукавого «византийца»? Почему, наконец, царь заявил Коленкуру, что он берет на себя гарантию выполнения всех обязательств касательно устройства личной судьбы Наполеона, на которые, под прямым влиянием царя, согласились союзники? Гигантская тень с острова Эльбы нависла над Францией.

Все это явилось черной тучей на лучезарном горизонте, казалось, открывавшемся перед Талейраном после водворения Бурбонов в Тюильрийском дворце.

Непосредственно, впрочем, могло озабочивать лишь одно: какую позицию намерен занять Александр осенью на конгрессе всех монархов или представителей Европы, который должен был собраться в Вене.

Что он не будет в дальнейшем продолжать разыгрывать полное великодушие и абсолютное бескорыстие, это Талейран чуял, уже наблюдая Александра в Париже. Предстояла борьба. Это знала и возвратившаяся династия. Людовик XVIII понимал, уже по своим собственным чувствам, как отвратителен Талейран девяносто девяти сотым его двора. Но что же было делать? Не посылать же на конгресс сражаться с Александром, с Меттернихом, с Каслри верного, преданного, но пустоголового Полиньяка или кого-нибудь из подобных ему вернувшихся эмигрантов? Скрепя сердце пришлось обратиться к князю Беневентскому.

Положение осложнялось еще и тем обстоятельством, что между Бурбонами и Александром отношения успели уже довольно заметно испортиться за то короткое время, которое им пришлось провести в Париже между их приездом в столицу и отъездом оттуда царя. Во-первых, Александр навязывал им конституцию, во-вторых, Людовик XVIII всячески старался показать свою полную независимость и поэтому допустил несколько «жестов», затронувших самолюбие царя; в-третьих, — и это было главное именно ввиду предстоявшего Венского конгресса, — Александр выразил желание, чтобы именно Коленкур, герцог Виченцкий, был снова немедленно назначен французским послом в Петербург, где он уже пробыл несколько лет в качестве посла Наполеона I (1808—1811). Бурбоны приняли это за прямое оскорбление, в особенности потому, что этому предложению предшествовал в высшей степени неприятный эпизод, связанный с тем же Коленкуром. Граф Карл д'Артуа не пожелал принять Коленкура, обвиняя его в участии в аресте герцога Энгийенского в 1804 г. Тогда Александр устроил торжественный обед, на который пригласил и Коленкура, и графа д'Артуа. Не прийти граф д'Артуа не решился, но просидел, почти не раскрывая рта, и ушел сейчас же после обеда. Раздраженный этим до крайности, Александр разрешил Коленкуру опубликовать свое письмо к нему, в котором Александр выражал уверенность в полной непричастности Коленкура к делу герцога Энгийенского. Это опубликование было новой пощечиной Талейрану, потому что виновность именно Талейрана в этом деле очень и очень многим уже тогда считалась вполне доказанной. И когда после всех этих неприятностей царь намекнул о своем желании, чтобы к нему в Петербург прислали в качестве посла именно герцога Виченцкого, который только что сделал столько усилий, чтобы не допус-

тить старую династию занять наполеоновский престол, то и королевская семья и Талейран были этим предложением жестоко уязвлены. Александру было отказано в его просьбе, выраженной ясными намеками. А царь, не привыкший, чтобы ему вообще в чем-либо отказывали, в особенности чтобы ему отказывали Бурбоны, которые только благодаря победе русского оружия и сели на престол, удвоил свои старания, чтобы как-нибудь еще задеть Людовика XVIII. Случаев было сколько угодно. Александр стал бывать очень часто, всячески выражая ей глубочайшее почтение, у императрицы Жозефины, первой (разведенной) жены Наполеона, демонстративно посещал и королеву Гортензию Богарнэ, дочь Жозефины от ее первого брака и жену бывшего короля голландского Людовика Бонапарта, младшего брата Наполеона. Когда в Париже была назначена торжественная панихида по казненным во время революции Людовику XVI и Марии Антуанетте, то как раз почти весь этот день Александр провел в семье Гортензии. А двор возвращенных Бурбонов он посещал лишь с чисто официальными визитами.

Таким образом, еще до заключительного жеста Александра перед отъездом из Парижа, т.е. еще до того, когда Александр отказал Талейрану в просьбе проститься с ним, Талейран и Людовик XVIII достаточно хорошо были осведомлены о настроениях Александра. Конечно, Талейран шел на все, чтобы поправить свое дело, и поспешил написать царю низкопоклонное, стелющееся, смиренное, льстивое письмо с кротким, ласковым укором, что, вот, царь уехал, даже не допустив его до лицезрения своей «августейшей особы». Это был тон влюбленного, который огорчен холодностью возлюбленной. Но и письмо не помогло. «Властитель слабый и лукавый», как назвал императора Александр Пушкин, был

все же очень упорен в своих антипатиях, хотя и умел прятать до поры до времени острые когти. «Лукавства в нем было в 1814—1815 гг. гораздо больше, чем «слабости», а способности к длительной фальшивой игре не меньше, чем у Талейрана. За четыре дня до отъезда Александра из Парижа союзники подписали (30 мая 1814 г.) мирный договор с Францией.

7

Если историк хочет быть вполне точным, то он должен сказать, что главное дело, которое ставилось в актив князю Талейрану защитниками его памяти и считалось большой исторической заслугой перед Францией и перед прогрессом (т.е. сохранение целостности французской территории), было, во-первых, совершено не в Вене на конгрессе, начавшемся в конце сентября 1814 г. и окончившемся в июне 1815 г., а в Париже, 30 мая 1814 г.¹⁸ И, во-вторых, успех Талейрана во время этих майских парижских переговоров был обусловлен в серьезнейшей степени не столько его личными талантами, хотя они и были вполне в тот момент проявлены, сколько интересами, настроениями и соотношением сил союзников, победивших Францию и принимавших столь решающее участие в этих совещаниях.

Это важное дело заключалось в том, что старая Франция, т.е. та территория, которая называлась Францией 1 января 1792 г., до начала войн революции и империи, была оставлена в неурезанном виде за французским народом, который притом сохранял полностью свой государственный суверенитет. Мало того. Сверх этой территории за Францией оставались еще некоторые новоприобретенные территории, примыкающие к Эльзасу (к департаменту Верх-

него Рейна), некоторые сопредельные части Южной Бельгии, часть Савойи, Авиньон и еще кое-какие местности.

С отличающей многих французских историков своеобразной патриотической наивностью они выражают, говоря о мирном договоре 30 мая 1814 г., некоторую грусть: как это после столь славных и победоносных войн, длившихся двадцать два года, Франция ничем не была «вознаграждена». Конечно, истина заключается в том, что, потерпев полное, безнадежное поражение, не проявляя в тот момент решительно никакой ни способности, ни решимости к борьбе, Франция, находясь всецело во власти победителей, могла ждать (и в самом деле ждала), что Париж разгромят, что страну ампутируют, оторвут от нее лучшие территории, наложат тяжкие контрибуции, словом, сделают с ней, в свою очередь, то самое, что она сама столько лет делала при Наполеоне с ними же. Франция от этого возмездия спаслась, она осталась великой державой, она сохранила все, отдав лишь свои завоевания, плоды ряда веденных ею агрессивных войн. Буржуазная послереволюционная Франция, побежденная дворянско-феодальными державами, спаслась от расчленения, от низведения ее на уровень второстепенной или даже третьестепенной страны, спасла и свой полный суверенитет.

Бесспорно, трактат 30 мая 1814 г. был еще лучшим, неожиданно счастливым исходом и для Франции, а также с точки зрения интересов общего политического и социального прогресса Европы, поскольку в тот момент буржуазия представляла собой прогресс.

Все это так, но Талейрану могущественно помогла при этом борьба интересов России против стремлений Пруссии. Пруссия была заинтересована в увеличении своих владений, в приобретении Эльзаса, а если дадут, то и Лотарингии, в наложении на Францию тяжелой контрибуции, во всемерном

ослаблении Франции. А русская дипломатия была заинтересована в обратном, т.е. в том, чтобы Франция, отныне безопасная для русских границ, была достаточно сильна, чтобы служить противовесом как против Пруссии и Австрии на континенте, так и против Англии на море. «Дружи не с соседями, а через соседа» — было правилом русской дипломатии чуть ли не со времен боярина Ордина-Нащокина. Александр, желая «дружить» и с соседями, все-таки никак не хотел, чтобы эти соседи были очень уж прочно обеспечены со своего западного тыла. Русская армия в момент, когда велись переговоры в Париже в мае 1814 г., была гораздо сильнее и прусской и австрийской. Александр являлся вершителем судеб, по крайней мере так казалось. И якобы «мстя великодушием» французам за разорение России и пожар Москвы, прикидываясь человеком благостного христианского всепрощения, царь попросту делал казавшееся ему нужным и в самом деле важное политическое дело. Он уже тогда решил инкорпорировать Польшу и «вознаградить» Пруссию за отнимаемые у нее польские провинции, отдав ей Саксонию. Но именно это грядущее увеличение прусского могущества, с точки зрения русских государственных интересов, особенно настойчиво требовало, чтобы Франция, остающаяся в тылу Пруссии, отнюдь не оказалась слишком слаба. «Русские хотят, чтобы Германия осталась уязвимой!» — с отчаянием сказал ярый прусский патриот Штейн, и в 1814 и в 1815 гг. натолкнувшись дважды на категорический отказ Александра дать пруссакам что-либо из французской территории. Очень характерно, что Штейн правильно учел основную мысль Александра: дело шло не только о Пруссии, но именно о всей Германии, о всем конгломерате германских государств, который мог стать опасен для России.

Талейран, внушавший лживо в начале апреля, что только он спас Париж от разрушения и разграбления, стал внушать

и проповедовать, что опять именно он теперь, 30 мая, спас Францию от расчленения. Обстоятельства сложились так, что абсолютистская, дворянско-крепостническая Русская империя, имея в виду свои собственные задачи, обеспечивая свои западные границы от слишком сильного соседа, спасла целостность и суверенитет Франции, страны, еще за двадцать пять лет до того совершившей революционный путь от дворянско-феодалного социального режима к порядку буржуазному. А роль Талейрана главным образом сводилась к полной поддержке всех основных предложений русских представителей об оставлении Франции в границах 1792 г. и к аргументации в пользу передачи Франции указанных выше некоторых новых территорий. Важно было и то, что союзники немедленно после подписания договора 30 мая 1814 г. очистили полностью территорию Франции.

Итак, жизненно важное, наиболее существенное для Франции дело было сделано 30 мая. Предстоявшему осенью конгрессу в Вене нужно было лишь оставить это дело, т.е. определение границ Франции, неприкосновенным.

Но предстояли решения по двум другим, тоже капитальным проблемам, имевшим для Франции свое очень большое значение: вокруг этих двух проблем, саксонской и польской, неразрывно между собой связанных, и развернулась борьба, в которой Талейрану предстояло пустить в ход все свои силы.

8

Капитальную важность для Талейрана представлял вопрос: как отнесется к Франции и к нему лично Александр? Талейран был далек на этот раз от оптимизма: он помнил обстоятельства отъезда царя из Парижа 3 июня 1814 г.

В Архиве внешней политики сохранилось в подлиннике собственноручно написанное от начала до конца и подписанное письмо Талейрана к императору Александру¹⁹. Оно заслуживает самого внимательного чтения!

«Я не видел ваше величество перед вашим отъездом, и я осмеливаюсь сделать вашему величеству упрек, со всей почтительной искренностью самой нежной привязанности» — так начинается письмо. Талейран писал собственноручные письма мало и неохотно, его эпистолярная проза была суха, как его натура, его тугой, истинно суконный язык, выражавший всегда неискренние чувства и не подлинные мысли, сказывается и в этом длинном послании в каждой фразе. «Государь, важные сношения уже давно открыли вам мои тайные чувства, и последствием этого было ваше уважение. Оно меня утешало в течение многих лет и помогало мне выносить тягостные испытания. Я уже заранее разглядел ваше предназначение, и я почувствовал, что я могу, оставаясь французом (*tout français que j'étais*), обратиться к вашим проектам, потому что они не переставали быть великодушными. Вы полностью выполнили ваше прекрасное предназначение. Если я следовал за вами в вашей благородной карьере, не лишайте меня моей награды, я прошу этого у героя моего воображения и, осмелюсь добавить, у героя моего сердца». Так объясняет Талейран свои действия в Эрфурте и затем годами выпрашиваемые и получаемые за шпионские услуги денежные подачки от «героя его воображения и сердца». «Вы спасли Францию, ваш въезд в Париж знаменовал конец деспотизма», — продолжает Талейран и переходит к истинной цели своего письма. Чтобы понять содержание второй и третьей страниц этого послания, необходимы некоторые предварительные пояснения. Александр полагал, что единственным средством укрепить шаткий трон Бурбонов является

конституция, которая могла бы сколько-нибудь успокоить «недовольных», под каковыми понимались (что более всего беспокоило) армия и часть буржуазии и крестьянства. Наблюдая Людовика XVIII, который именно в это время был очень озабочен тем, чтобы всячески показать Александру, насколько династия Бурбонов знатнее и древнее династии Романовых, царь охотно склонялся к тому, что при подобной невероятно нелепой психике, при таком непонимании действительности, при таких истинно допотопных воззрениях король долго не усидит на престоле. И ведь притом еще Людовик XVIII был самым «умным» из Бурбонов, гораздо умнее своего брата и наследника Карла д'Артуа, в окружении которого открыто стали поговаривать о возвращении кое-каких упраздненных нечестивыми революционерами сеньориальных прав на землю. Не из «либерализма» Александр оказывал давление на Бурбонов, желая ограничить их власть, а исключительно из страха нового революционного переворота, который вызовет нахлынувшая во Францию эмигрантщина своими провокационными и наперед осужденными на неудачу поползновениями. Талейран прекрасно понимал нелепость стремлений к реставрированию старого режима. «Что с ними поделаешь, — повторялись приписываемые Талейрану слова, — природа поместила глаза вообще у всех людей спереди, чтобы они смотрели вперед, а у Бурбонов глаза находятся сзади, и они смотрят назад»²⁰.

Положение Талейрана при этих условиях становилось нелегким.

Казалось бы, он, тоже видевший все безумие, всю опасность для возвращенной династии подобного поведения, должен был бы сочувствовать мысли об ограничении власти Бурбонов, так мало понимавших шаткость своего положения. И в апреле Талейран вполне сочувствовал мыс-

ли о конституции. А в июне, когда уже царь уехал, когда русские войска собирались домой, когда, наконец, Париж и страна обнаруживали покорность, — король и его брат (и их ближайшее окружение во главе с князем Полиньяком) стали обнаруживать нетерпение по поводу этих «либеральных» советов и настояний, шедших с русской стороны. Со стороны ультрароялистов шло большое давление на короля с целью заставить его свести будущие законодательные учреждения, по возможности, к роли совещательных органов. Талейран без поддержки царя уже не рисковал особенно настаивать перед Людовиком XVIII на конституционных ограничениях королевской власти. Хамелеон и оппортунист сказался немедленно: не ему было рисковать окончательной ссорой с роялистами, которые, можно сказать, и без того едва пересиливали свое отвращение и глубочайшее недоверие к нему. И вот он заводит совсем другие песни, он пишет Александру вдогонку это письмо, в котором фантазирует и лжет что-то невразумительное о мнимой патриархальной любви французов к своему королю, о том, что французы вовсе не хотят всей той политической «свободы», которую им навязывает царь, и т.п. Талейран тут начинает плести какую-то, по-своему любопытную, затейливую словесную ткань, которая представляет собой образец заведомой лжи, облеченной в нарочито бессмысленную по существу, хотя на первый взгляд имеющую грамматическое благообразие форму. Талейран хочет доказать Александру, что вообще никакой особой конституции французам не требуется. «Наши мнения или, скорее, наши вкусы часто управляли нашими королями (Бонапарт более безнаказанно проливал бы французскую кровь, если бы он не захотел подчинить нас своим мрачным манерам). Формы, манеры наших государей нас создали в свою очередь (nous ont

façonnés à notre tour). Из этого взаимодействия (de cette réaction mutuelle) выйдет, вы увидите, такой способ управлять и такая манера повиноваться (un mode de gouverner et d'obéir), которые в конце концов смогут заслужить имя конституции (qui, après tout, pourrait finir par mériter le nom de constitution)».

Весь этот вздор Талейран излагает царю, который ему никогда и ни в чем не верил, даже когда французскому дипломату случалось сказать правду.

Итак, значит, только что, в марте, апреле и мае 1814 г., вполне ясно понимая всю основательность опасений Александра, желавшего предохранить Бурбонов от неизбежных последствий их же глупостей, совершенно соглашаясь с царем, что главным средством для достижения этой цели является конституция — теперь, в середине июня того же года, Талейран садится за стол и пишет царю это письмо, диаметрально противоположное по содержанию. Никакой конституции французам не нужно, им и отечество не очень нужно. Им король нужен: «Во Франции король всегда был гораздо больше, чем отечество. Нам представляется, что отечество превратилось в человека». А посему пусть царь не сердится, «даже если ему покажется, что монархия расположена захватить вновь («gessaisir») немного более власти, чем ему, царю, это казалось бы необходимым и даже если ему представится, что французы не очень заботятся о своей независимости (et les français — négliger le soin de leur indépendance)!»

Ничего не поделаешь: таков уж образ мыслей у французов! Слишком уж преданы они своему возлюбленному королю Людовику XVIII! Так преданы, что и без конституции им хорошо... И дальше:

Конечно, Александр не должен думать, что Талейран забывает роль России в только что окончившейся войне:

русские штыки вернули французам их обожаемого отца отечества, короля Людовика XVIII, без какой-либо помощи отец отечества ни за что в Тюильри не попал бы. Но пусть же царь не стесняется ничем короля, который уж сам от мудрости своей найдет, чем именно осчастливить свой народ: «Не сомневайтесь, государь, если король, которого вы нам отвоевали (sic: «que vous avez reconquis»), пожелает дать нам полезные учреждения, то он должен будет, приняв некоторые предосторожности, поискать в своей счастливой памяти: чем мы были некогда, для того чтобы судить о том, что нам подходит».

Другими словами, Талейран рабски повторяет здесь все то, что на все лады твердили как раз в эти дни и князь Полиньяк, и граф д'Артуа, и вся эта неистовая, изголодавшаяся в долгом изгнании, обозленная свора эмигрантов, вернувшихся в обозе неприятеля во Францию: они допускали еще в своих политических проектах существование в будущем старых дореволюционных совещательных учреждений, вроде нотаблей или генеральных штатов, но никак не ограничивающую власть короля конституцию. И вот Талейран, считавший и всегда называвший эту аристократическую компанию ничего не понимающими, тупыми болтунами, послушно повторяет эти курьезные, нелепые, допотопные советы, все эти химеры людей, для которых двадцать пять лет революции и империи были каким-то нереальным сновидением, не больше. Много масок носил последовательно одну за другой князь Талейран, чем угодно мог прикинуться, но притвориться глупцом ему было труднее всего. Это письмо к Александру — лучшее доказательство: у него даже ясных, точных слов не хватает, чтобы выразить эти сумбурные, пошло-глупые, чужие мысли, так легко укладывавшиеся в просторной пустой голове Карла д'Артуа и которые все-

таки с большим трудом и усилиями втискивались в голову Талейрана, привыкшую к иному содержанию.

Талейран знал, что Александр общается в Париже с многими, в том числе и с наполеоновскими маршалами, которые после отречения императора и с его особого разрешения остались на службе. Александр узнал очень многое о том, что делается при новом королевском дворе и как успешно роялисты типа князя Полиньяка роют сами под собой яму. Да и Талейран лично ему о многом докладывал, когда искал всемогущей протекции царя. Но это было в марте — апреле — мае, а в середине июня пришлось, живя с волками, завывать по-волчьи. Ничего не поделаешь. «Государь, я согласен, что в Париже вы видели много недовольных», но чем это объясняется, помимо слишком быстрых перемен? Очень просто: «Париж — город жалованья», чиновничьей заработной платы (*les appointements*)²¹. Даже от тирана Бонапарта Париж отошел тогда, когда перестали платить жалованье. А если бы он продолжал оплачивать видных чиновников, то и сидел бы дальше. Вся мелкая пошлость этих «объяснений» тем более курьезна, что, по существу, тут преподносится чистейшая фантазия: жалованье чиновникам платили исправно до конца империи, а краткий перерыв был именно обусловлен тем, что в критические дни, когда много казенной золотой монеты уже ушло от Наполеона и еще не дошло до Бурбонов, часть ее заблудилась по дороге в обширных карманах князя Талейрана.

Насквозь фальшивое и по содержанию и по тону письмо Талейрана к Александру кончается одной из тех выходов, которые ему никогда не удавались и к которым (курьезно отметить это) он прибегал особенно охотно, обращаясь к Александру, подозрительность которого он недооценивал, а сентиментальность безмерно преувеличивал и

поэтому всегда на этом деле срывался: мы имеем в виду его якобы «внезапные», а на самом деле весьма обдуманное обращение к чувствам царя, к предполагаемым у него религиозным и монархическим идеалам. «Государь! Пусть ваша благородная душа сумеет заpastись небольшим терпением. Позвольте мне, настоящему доброму французу, каким я являюсь, просить у вас разрешения сохранить старинный навык любви к нашим королям. Ведь не вам отказать понять влияние, которое оказывает это чувство на великий народ!»²². Другими словами: пусть Александр поверит, что французский народ столь же патриархально любит своих Бурбонов, как русский народ «любит» своих царей. А если так, то и с конституционными гарантиями можно не торопиться!

Конечно, Талейран не мог думать, что всей этой фальшиво-патетической шумихой он убедит в чем-нибудь Александра. Но ему ведь важно было не это; существенно было перед отъездом на конгресс в Вену укрепить свои фонды при дворе Людовика XVIII в Париже, где, как он знал, уже ведется против него сильный подкоп со стороны крайних роялистов. Этого он частично и достиг. По крайней мере он мог собираться на конгресс, не боясь внезапной отставки.

Но Талейран знает, что все-таки в письме к Александру нельзя писать такие вещи, которые с полным участием и доверием проглотит и даже не поморщится какой-нибудь Карл д'Артуа. Поэтому, наговорив эти пошлости о страстной любви французского народа к Бурбонам, Талейран вдруг на один-полтора абзаца в письме снова становится либералом: «Впрочем, либеральные принципы подвигаются с духом века, и придется к ним прийти, и если ваше величество захотите верить моему слову, то я вам обещаю, что мы будем иметь монархию, связанную со свободой...»²³.

В умении отпускать пустейшие, ни к чему и никого не обязывающие фразы, князь Беневентский не знал соперников.

9

Напечатанные в 1919—1920 гг. Шарлем Дюпюи неизданные донесения как из прусского, так и из австрийского государственных архивов вполне единодушно утверждают один и тот же факт: с середины июня и почти до самого отъезда Талейрана в Вену Талейран старается сблизиться с Россией, а фактический первый министр и любимец Людовика XVIII, граф Блака́, идет, напротив, на сближение с Австрией и Англией. «Князь Беневентский, по-видимому, сближается с русским послом все более и более... Он, может быть, ищет в своей позиции относительно России не только средства достигнуть своих целей, но и средства удержаться у власти», так как его влияние в министерстве слабеет — так пишет в Берлин прусский представитель граф фон Гольцц²⁴.

То же самое подтверждает и австрийский агент Бомбелль в донесении Меттерниху от 14 июня. Бомбелль был принят Людовиком XVIII, который так же, как его любимец и министр граф Блака́, стоит за сближение Франции с Австрией. С другой стороны, «влияния князя Беневентского в данный момент не существует вовсе. Он даже часто жалуется на это, проявляя при этом отсутствие ловкости. Хорошо информированные лица тем не менее думают, что он останется у власти и что король, сильно ограничивая его сферу деятельности, слишком отдает справедливость его действительным талантам, чтобы вовсе без него обойтись» — так доносил Бомбелль Меттерниху²⁵.

Вообще, когда приехал новый король и Бурбоны и их приверженцы стали прочно оседать на месте, устраиваться и осматриваться, положение Талейрана оказалось не из очень приятных. Правда, за его последние, мартовско-апрельские заслуги он мог выпросить себе у Людовика XVIII портфель министра иностранных дел, а своим близким — разные назначения и подачки. К тому же за время, когда он был (до приезда Бурбонов) главой правительства, он успел выискать в ведомственных архивах и документы о казни герцога Энгиенского, и об испанской войне, и целый ряд других компрометирующих его бумаг и благополучно их уничтожить; успел также разными путями заполучить очень много казенной золотой монеты. Мне лично не кажется убедительной приводимая Баррасом цифра взяток и хищений Талейрана, совершенных им в 1814 г. в связи с реставрацией Бурбонов (или за реставрацию Бурбонов): двадцать восемь миллионов франков. Баррас был врагом Талейрана, да у него самого вообще глаза на взятки были завидушие. Во всяком случае, миллионы новые были за эти дни приобретены (хоть и не двадцать восемь) и благополучно присоединились к прежним основным миллионам, оставшимся от службы Талейрана при Наполеоне. Кроме денег, сохранил он и владетельное княжество Беневентское (в Италии), пожалованное ему Наполеоном, и все знаки отличия, полученные от Наполеона. Все это было ему приятно.

Но неприятно было, что очень уж скоро и новый король и вся бурбонская семья, а за ними и придворные и новые сановники стали обнаруживать признаки более нежели отрицательного отношения к моральным качествам Талейрана и, казалось, совсем не желали считать его главным автором реставрации старой династии и своим благодетелем. Герцог и герцогиня Ангулемские (т.е. племянник

и племянница короля) обнаруживали даже нечто очень похожее на гадливость. Сам король был скептичен и насмешлив, умел (и хотел) говорить неприятности. Довольно резок бывал и брат короля, Карл д'Артуа, впоследствии Карл X.

Наконец, среди придворной аристократии фонды князя Талейрана тоже стояли не очень высоко. Эта аристократия состояла из старой, в значительной мере эмигрантской, части дворянства, вернувшейся с Бурбонами, и новой, наполеоновской, за которой остались все ее титулы, данные императором.

И те и другие тайно ненавидели и презирали Талейрана. Старые аристократы не прощали ему его религиозного и политического отступничества в начале революции, отнятия церковных имуществ, антипапской позиции в вопросе о присяге духовенства, всего его политического поведения в 1789—1792 гг. Возмущались его участием в деле герцога Энгиенского, его деятельной дипломатической помощью полиции в гонениях на аристократов-эмигрантов, ютившихся в чужих краях. С другой же стороны, наполеоновские герцоги, графы и маршалы гордились тем, что они, за немногими исключениями, присягнули Бурбонам лишь после отречения императора и сделали это только по прямому разрешению отрекшегося Наполеона, а на Талейрана, Фуше, Мармона они смотрели как на позорных изменников, предавших Наполеона, вонзивших кинжал ему в спину как раз тогда, когда он боролся изо всех сил против всей Европы, отставивая целостность французской территории. Наконец, те и другие не только знали о свободном обращении Талейрана с казенными деньгами и о бесчисленных и непрерывных взятках, но и преувеличивали полученные им суммы. Они повторяли словцо, неизвестно кем пущенное и в начале

1815 г. даже попавшее в печать (в газету «Le Nain jaune»): «Князь Талейран оттого так богат, что он всегда продавал всех тех, кто его покупал». Эта двуединая торговая операция, лежавшая в основе всех финансовых оборотов Талейрана в течение всего его земного странствия, очень усердно отмечалась не только в салонных разговорах за спиной заинтересованного лица, но и в прессе.

Тут впервые после революции Талейран почувствовал все для себя лично неудобства хотя бы такой ограниченной свободы печати, какая стала возможна в 1814 г. при установлении конституционной хартии. Еще при Директории иной раз приходилось терпеть дерзости журналистов, но зато при Наполеоне, с 1799 по 1814 г., не только о таких особах, как Талейран, но даже о поварах и лакеях таких сановников никто не осмелился бы ничего неодобрительного напечатать. Но в конце концов все эти колкости и неприятности князь Талейран мог до поры до времени игнорировать. Он был нужен, он был незаменим, и Бурбоны хотели его использовать полностью. Он снова шел в гору. Его назначили первым министром, с оставлением в его руках министерства иностранных дел. Наконец, осенью его послали в качестве представителя Франции на Венский конгресс.

Новые документы из Венского государственного архива, ставшие доступными французам и англичанам лишь после разгрома Австрии в конце Первой мировой войны, в 1918 г. напечатаны, к большой досаде, лишь в укороченном виде Шарлем Дюпюи в его издании, куда они вкраплены в беспорядке. Они дают кое в чем новое освещение обстановки деятельности Талейрана в Вене по подготовке тайного договора 3 января 1815 г. Оказывается, что королевская семья (Людовик XVIII и граф д'Артуа) и министр Блакá не переставали поддерживать секретные сношения

с агентом Меттерниха Бомбеллем, остававшимся в Париже. Эти сношения были обусловлены прежде всего тем, что Бурбоны не очень доверяли своему искусному, но не весьма равнодушному к русскому золоту представителю в Вене, и их позиция, определенно враждебная Александру и очень поэтому дружественная Австрии, обусловила и ускорила сближение Талейрана с Меттернихом и Каслри.

А Меттерних еще в сентябре 1814 г., в начале конгресса, опасался сближения Талейрана с Александром, и Бомбелль из Парижа должен был его успокаивать. «Я не сомневаюсь, — писал Бомбелль австрийскому канцлеру, — что вы с ним (Талейраном) справитесь, несмотря на то что найдете его очень злонамеренным (*beaucoup de mauvaise volonté*)... Я думаю, что интересы Франции и ее короля всегда будут для г. Беневентского (*M. de Bénévent*) вопросом второстепенным и что интересы г-на Талейрана, несомненно, будут ближе его сердцу», — иронически пишет Бомбелль 15 сентября 1814 г. из Парижа²⁶.

В биографии Талейрана открылась новая страница, и притом такая, которая имеет огромный исторический интерес, еще больший, чем вся его предшествовавшая деятельность.

ГЛАВА V

Талейран на Венском конгрессе.

Сто дней

Сентябрь 1814 г. — июнь 1815 г.

1

Талейрану приходилось выступать в Вене в 1814—1815 гг. против таких противников, которые, за вычетом Меттерниха и Александра, не возвышались над уровнем дипломатической обыденщины и могли в лучшем случае считаться средними служебными полезностями. Каслри, например, и других английских дипломатов, как и прусских представителей, он мог нисколько не опасаться. Эти люди были свидетелями и даже участниками величайших событий и сплошь и рядом не понимали их истинного характера и внутреннего значения. Они все еще плелись в традиционных колеях доброго, старого изящного XVIII века, который вел, по тогдашнему выражению, «кабинетные войны», признавал лишь «кабинетную дипломатию», менял, продавал, перепродавал «души» подданных, подобно помещикам в крепостных деревнях (и даже так и назывались эти обмениваемые верноподданные в дипломатических до-

кументах Венского конгресса — «душами», *les âmes*). С народными стремлениями, привычками, национальными чувствами и т.д. на Венском конгрессе не считались ни в малейшей степени. «Народ безмолвствовал». Талейрану тоже ни в малейшей степени не казалось это ненормальным, и в этом отношении между ним, Меттернихом и Александром нельзя усмотреть отличий.

В свое время Вильяма Питта Младшего, который, однако, несколькими головами был выше своих преемников, упрекали его критики в том, что он в борьбе с Францией был загипнотизирован местом, географическим пунктом, с которым смолоду боролся, и проглядел смену людей на этом месте. Он не заметил, что на том месте, в том самом Париже, где так долго сменяли друг друга и говорили от имени Франции элегантные и жеманные пудренные старорежимные щеголи версальского двора, стоит перед ним уже не пудренный щеголь, а Чингисхан и что речь идет уже не о прирезках и отрезках земель в Индии и не о правах на ловлю трески около Ньюфаундленда, но о существовании Английского королевства.

Теперь, в 1814 г., этот Чингисхан был только что низвергнут после отчаяннейших усилий всей Европы, но государственные люди, съехавшиеся осенью 1814 г. в Вене, чтобы установить новое политическое перераспределение земель и народов, все-таки не очень понимали исторический смысл истекшего кровавого двадцатипятилетия. Средний дипломат, средний политик Венского конгресса, подобно большинству дворянского класса тогдашней Европы, склонен был думать, что революция и Наполеон были внезапно налетевшими шквалами, которые, к счастью, окончились, и теперь следует, убрав обломки, починив повреждения, зажить по-прежнему.

Лишь сравнительно немногие понимали, что полная реставрация главного, т.е. социально-экономического старого режима, не удастся ни во Франции, где его разрушила революция, ни в тех странах, где ему нанес страшные удары Наполеон, и что поэтому не может удасться и полная реставрация политическая или бытовая. Из реакционеров это понимали и с горечью отмечали лишь единичные мыслители. Напрасно Людовик XVIII говорит, что он воссел на прародительский престол: он воссел и сидит на троне Бонапарта, а прародительский трон уже невозможен, — со скорбной иронией говорил Жозеф де Местр, указывая на то, что во Франции весь социальный, административный, бытовой строй остался в том виде, как существовал при Наполеоне, только наверху вместо императора сидит король и имеется конституция. В области международных отношений иллюзий было еще больше, с просыпающимися в буржуазии «национальными» стремлениями считаться никто не желал, а к совершенно бесцеремонному обращению с народами и целыми державами, к купле-продаже-обмену в этой области, ко всем этим привычкам старорежимной дипломатии прибавились еще воспоминания о только что пережитой наполеоновской эпопее. Если народы Европы терпели и молчали при том обхождении с ними, какое практиковал Наполеон, то стоит ли впредь считаться с их стремлениями и упованиями?

Из идеи «легитимности», которую приняла и не могла, конечно, не принять вся абсолютистская реакционная Европа и правящая в Англии аристократия, Талейран сделал аргумент при отстаивании интересов Франции, которая могла при сложившихся условиях только выиграть от возвращения ей старого великодержавного положения, старых границ, потому что отстаивать военной силой она была бы не в состоянии. И та же идея «легитимности», идея воз-

вращения к государственным границам дореволюционных времен, помогла ему отстоять Саксонию от присоединения к Пруссии, что было так важно для Франции.

Талейран проявил на Венском конгрессе в полном блеске свои дипломатические способности. Он всю остальную жизнь всегда указывал на Венский конгресс как на то место, где он упорно отстаивал — и отстоял — интересы своего отечества от целого полчища врагов, и притом в самых трудных, казалось, безнадежных обстоятельствах, в каких только может очутиться дипломат: не имея за собой в тот момент никакой реальной силы. Франция была разбита, истощена долгими и кровавыми войнами, подверглась только что нашествию.

Против Франции на конгрессе, как и прежде на поле битвы, стояла коалиция всех первоклассных держав: Россия, Пруссия, Австрия, Англия. Если бы этим державам удалось сохранить на конгрессе хоть какое-нибудь единство действий, Талейрану пришлось бы всецело подчиниться. Но интересы этих держав были противоречивы, и для действий Талейрана существовала реальная почва.

С первого дня приезда своего в сентябре 1814 г. в Вену Талейран принялся ткать сложную и тончайшую сеть интриг, направленных к тому, чтобы вооружить одних противников Франции против других ее противников и ускорить и без того неизбежный распад антифранцузской коалиции. Первые шаги были трудны. И репутация князя еще осложняла его положение. Не в общих оценках личности князя Талейрана было дело, не в том, что его на самом конгрессе называли (конечно, не в глаза) наибольшей канальей всего столетия, «*la plus grande canaille du siècle*». И не то было существенно, что богомольная, ханжеская католическая Вена со всеми этими съехавшимися монархами и правителями, для которых мистицизм в тот

момент казался наилучшим противоядием против революции, презирала расстриженного и в свое время отлученного от церкви епископа Отенского, который предал и продал католицизм революционерам. Даже и не то было самое важное, что его, несмотря на все его ухищрения, упорно считали убийцей герцога Энгиенского. Раздражало в нем другое: ведь все эти государи и министры именно с Талейраном имели дело в течение всей первой половины наполеоновского царствования. Именно он всегда после наполеоновских побед оформлял территориальные и денежные ограбления побежденных, согласно приказам и директивам Наполеона. Никогда, ни единого раза он не сделал даже и попытки хоть немного удержать Наполеона и от начальных конфликтов, и от дипломатической агрессии, и от войн, и от конечных завоеваний. Самые высокомерные, вызывающие ноты, провоцировавшие войну, писал именно он; самые оскорбительные и ядовитые бумаги при любых дипломатических столкновениях сочинял именно он — вроде, например, вышеупомянутой отповеди в 1804 г. императору Александру по поводу казни герцога Энгиенского с прямым указанием на убийство Павла и намеком на участие Александра в этом деле.

Талейран был послушным и искусным пером Наполеона, и это перо ранило очень многих из тех, которые теперь съехались в Вене. Впоследствии, между прочим и в своих мемуарах, Талейран очень прочувствованно и с укоризненным покачиванием головы поминал всегда о том, что Наполеон не щадил самолюбия побежденных, топтал их человеческое достоинство и т.д. Он совершенно прав, но забывает прибавить, что именно он же сам и был исправнейшим и неукоснительным исполнителем императорской воли. Теперь представители так долго

унижаемых и беспощадно эксплуатируемых держав и дипломаты, помнившие жестокие уколы, молчаливо ими переносимые столько лет, были лицом к лицу с этим высокомерным и лукавым вельможей, с этим «письмоводителем тирана», иго которого наконец удалось свергнуть.

Но, к общему удивлению, этот «письмоводитель тирана» держал себя на конгрессе так, как если бы он был министром не побежденной, а победившей страны, и недаром раздраженный Александр I сказал о нем тогда же в Вене: «Талейран и тут разыгрывает министра Людовика XIV». Талейран поистине артистически вел свою труднейшую, почти безнадежную вначале игру и ускорил распад антифранцузской коалиции.

Этот дипломатический успех повлек за собой и другой успех, не меньший. Пруссия претендовала на получение всех владений саксонского короля, которого соединенная против Наполеона Европа собиралась наказать за его союз с Наполеоном. Такое усилие Пруссии Талейран ни за что не хотел допустить и не допустил. Пруссия получила лишь наименее выгодную часть саксонской территории. Удержать Польшу от «поглощения» Россией он не мог, несмотря на все усилия. За Францией не только осталось все, что она, благодаря поддержке России, удержала по Парижскому миру, но Талейран не допустил даже и постановки в Вене вопроса о пунктах, которые в этой области некоторым державам очень хотелось бы пересмотреть. Талейран выдвинул «принцип легитимизма», как такой, на основе которого отныне должно быть построено все международное право. Этот «принцип легитимизма» должен был прочно обеспечить Францию в тех границах, которые она имела до начала революционных и наполеоновских войн, и, конечно,

этот принцип был в данной обстановке, повторяем, французам выгоден, так как силы для победоносного сопротивления в случае немедленных новых войн они в тот момент не имели.

Отстояв — с успехом — интересы буржуазной новой Франции и против феодальной Европы, Талейран со свойственной ему находчивостью пустил в ход для этого дела как раз архифеодальную, архимонархическую аргументацию: «принцип легитимизма». Звериные клыки прусских претендентов, уже готовые растерзать ненавистную «страну революции», не получили своей добычи. Расчленив побежденную и ослабевшую Францию не удалось ни в Париже, ни в Вене. Тут помогла Россия. Однако тогда же, на Венском конгрессе, Талейран окончательно убедился, что если обмануть Каслри и даже Меттерниха, не говоря уже о Фридрихе Вильгельме III прусском — дело хоть нелегкое, но возможное, то обмануть Александра, которого сам Наполеон называл «хитрым византийцем», несравненно затруднительнее. Талейран наперед мог знать, что Александр воспользуется потом этим же «принципом легитимизма», если попытается в иных формах заменить павшую наполеоновскую гегемонию над Европой русской гегемонией, но старый дипломат в то же время отдавал себе полный отчет и в том, что Франция от этих возможных поползновений потеряет, по сути дела, уже вследствие географических и иных условий, гораздо меньше, чем Центральная Европа, чем та же Пруссия, Австрия и другие германские страны. Все-таки хотел он (и очень хотел) не отдавать Польшу России, но тут потерпел полное поражение.

И тут же, на Венском конгрессе, Талейран сделал смелую и удавшуюся попытку: отколоть от этой, всегда наиболее опасной для Франции, Центральной Европы Австрию. Ведь против кого был в первую голову направлен

тайный январский англо-франко-австрийский договор 1815 г., сочиненный и осуществленный в Вене Талейраном? Конечно, против России и Пруссии. Но кто от него фактически пострадал? Не Россия, а Пруссия. Александр I хотел получить Польшу — и получил Польшу, и никакие договоры, ни тайные, ни явные, как бы ни были они заострены против него, не заставили его очистить Варшаву. А вот Пруссия действительно потеряла, и именно потеряла ту компенсацию, которую уже совсем готова была получить с полного согласия России: Саксонию. «Проблема Центральной Европы», т.е. проблема борьбы против усиления Пруссии, — вековая проблема французской дипломатии, — была разрешена на несколько поколений вперед. Нужны были сначала губительные ошибки Наполеона III в 1866—1870 гг., а потом сознательное предательство французских национальных интересов из-за шкурных соображений французской капиталистической верхушки уже в наши времена, в годы гитлеровщины — 1937, 1938 и 1939 гг., чтобы таким образом в два приема подорвать дело, сделанное в 1814—1815 гг. в самых трудных условиях, в каких когда-либо находилась Франция, и чтобы подготовить во имя классовых интересов крупной буржуазии позорную капитуляцию несчастной страны в июне 1940 г.

Такова была общая схема деятельности Талейрана в Вене в 1814—1815 гг. Мы предпослали эту общую схему достижений и главных действий Талейрана в Вене, чтобы читателю легче было разобраться в этом сложном материале. Теперь рассмотрим, останавливаясь на наиболее характерных моментах, как рисуются нам главные победы и поражения французского министра в хронологическом порядке, в каком разворачивалась эта дипломатическая борьба.

23 сентября 1814 г. французская делегация прибыла в Вену.

Программа действий у Талейрана была уже вполне выработана, но он твердо знал, что его положение будет очень нелегкое: лично презираемый представитель побежденной державы...

Талейран выставил устно «Verbalement» уже 30 сентября следующие три основных требования: во-первых, Франция признает лишь те решения конгресса, которые будут приняты на пленарных заседаниях конгресса, с участием всех членов конгресса. Во-вторых, Франция желает, чтобы Польша была либо возвращена к тому положению, в каком была в 1805 г., либо была бы восстановлена в том виде, как была до первого раздела в 1772 г. В-третьих, Франция не согласится ни на расчленение, ни тем менее на уничтожение самостоятельности Саксонии¹. Одновременно Талейран начал агитацию среди представителей малых держав, выставляя себя борцом за их права против засилия великих держав: России, Австрии, Англии и Пруссии. Но уже очень скоро он наметил ближайшую линию поведения: сблизиться с англичанами и с Австрией против России и Пруссии.

Обширная сеть интриг против России, раскинутая Талейраном с первых же дней его прибытия в Вену, не осталась, конечно, незамеченной (тоже с первых дней). Австрийская тайная полиция уже 13 октября (1814 г.) имела возможность донести императору Францу о том, как проболтался граф де Латур дю Пэн, один из свиты французского посла: «Франция желает лишь противовеса против России. Соединялось же христианство против мусульман несколько веков тому назад, почему же ему не соединить-

ся против калмыков, башкир и северных варваров... Мы не позволим, чтобы над нами насмехались. У нас есть 400 000 человек, которые готовы к действию по первому свистку. Мы собираемся ежедневно в 4 часа утра (sic!) у Талейрана, и он дает каждому из нас тему»².

И сам князь не забывал также своей личной темы: «Находясь у князя де Линь, Талейран говорил против русских и высказывал опасение, которое ему внушают их успехи. Посреди его речи докладывают о прибытии одного русского генерала. Талейран сейчас же меняет тему разговора и распространяется в похвалах России. Князь де Линь говорит ему вполголоса: сознайтесь, мой милый, что вы настоящий Тартюф. На что Талейран отвечает: я все могу говорить, так как вы меня считаете болтуном»³.

Бесчисленная тьма шпионов, соглядатаев и других агентов, австрийских и неавстрийских, реяла вокруг Талейрана и его квартиры в доме французского посольства с первого же момента его прибытия в Вену.

Агент Шмидт жалуется своему начальнику полиции-президенту барону Хагеру на трудный характер французского делегата: «Кто хоть немного знает характер Талейрана и, кроме того, даст себе труд отдать себе отчет в месторасположении его дома, сразу же поймет трудности, которые представляет установление серьезного наблюдения за князем и за тем, что он делает. Сейчас его дом — своего рода крепость, в которой он держит гарнизон, состоящий только из тех людей, в которых он уверен. Несмотря на это, мы кончили тем, что могли перехватить несколько бумаг из его бюро. А кроме того, удалось подкупить старого слугу, который уже был на службе при трех французских послах, так же как одного сторожа или канцелярского служителя, благодаря которому можно было достать некоторые разорванные бумаги, найденные в самом письменном столе Талейрана»⁴.

На первых порах Талейрану приходилось иной раз нарываться на язвительные замечания. «Не побежденному принадлежит право что-либо решать» — так ему, по слухам, кто-то заметил (в донесении агента барону Хагеру не сказано — кто именно) 15 октября, когда князь вздумал возражать против присоединения Бельгии к Голландии. Но именно в эти первые, трудные для него дни конгресса Талейран усиленно старался «не спускать тон» (*Rapport à Hager. Vienne, le 15 octobre*). Талейран всячески старался побудить Каслри к большей энергии в «саксонском деле» и сам усвоил себе некий «диктаторский» тон при сношениях с ним по этому делу. Этот тон, конечно, относился не к Каслри, а к тем, кому Каслри покажет это письмо⁵.

«Талейран и Каслри снова в хороших отношениях. Талейран по-прежнему очень раздражен против русских и пруссаков», — пишет в своих заметках барон Хагер 16 октября 1814 г.⁶

Доживал тогда (уже давно в отставке) свой долгий век в Вене старый австрийский фельдмаршал и дипломат (бельгиец родом), знаменитый в свое время князь де Линь, отчасти друг, отчасти клевет Екатерины II. Он с интересом старого профессионала наблюдал людей и дела конгресса.

Князь де Линь сказал Талейрану, едва только тот прибыл в Вену: «Вы теперь играете большую роль, вы — французский король, а Людовик XVIII должен танцевать по вашему желанию, иначе ему худо придется». Талейран ответил: «Князь, вот уже семь лет, как Бонапарт начал меня подозревать». «Как, — воскликнул де Линь, — всего семь лет! А я вас вот уже двадцать лет подозреваю»⁷. Остроумный де Линь выразил этими словами общее мнение о Талейране как о деятеле, вся жизнь которого была цепью предательств.

Талейрану приходилось в начале его пребывания в Вене выслушивать подобные сомнительные комплименты на каждом шагу.

Но на французском языке существует немало афоризмов, соответствующих русскому присловию: «брань на ворота не виснет», и князь Талейран вскоре увидел, что он не всегда будет в Вене совсем одинок.

Талейран мог заметить уже в первые дни своего пребывания в Вене, что Россия на конгрессе довольно изолирована; даже Пруссия, ждавшая от Александра великих и богатых милостей, боялась России. Это подтверждают и секретные агенты Меттерниха.

Пруссия, как всегда, была тайно враждебна России, несмотря на то что политически оказалась так тесно связанной с ней... «Пруссия, видимо, так связанная с Россией, очень ею на самом деле недовольна, потому что Россия питает ужасающие мысли о господстве. Если бы России удалось овладеть Польшей, то она оказалась бы в самом сердце прусских владений, как только этого захотела бы, и очутилась в Берлине раньше, чем Пруссия могла бы собрать необходимые силы, разбросанные по восточной Пруссии. Поэтому прусские министры хотели бы не иного чего, как тесного и сердечного союза с Австрией, чтобы этим помешать увеличению России и по крайней мере помешать возрастанию общей опасности». Вообще же, если бы дело дошло до войны между Россией и Австрией, то Пруссия всегда будет на стороне Австрии⁸.

Таковы были эти «вернейшие друзья» России на Венском конгрессе, для спасения которых русские солдаты пролили столько крови. Нечего и говорить о тайной (а вскоре и вполне откровенной) враждебности самого Меттерниха. Он окружил царя и его свиту целой шпионской сетью.

Слежка за русскими была организована с особой полнотой и законченностью. С огорчением тайный агент доносит своему непосредственному шефу барону Хагеру 10 октября о внушающей досаду подозрительности генерала Жомини (из свиты Александра): «Генерал Жомини, который запирает на ключ свои бумаги, велел переделать все замки и уносит с собой все ключи. Было бы трудно и опасно в настоящий момент пытаться открыть его ящики. Все же можно попробовать, когда он выздоровеет и снова выйдет из дому, и таким путем можно будет на несколько часов извлечь одну из его тетрадей. Уже и сейчас [мы] сняли отпечаток с его новых замков»⁹. А русские беспокоили Австрию не меньше, чем Талейрана и чем англичан. Зрел дипломатический заговор против России.

Агенты секретной службы доносили Хагеру 11 октября: «Русские уже разговаривают, как владыки всего света. Я знаю лицо, которому один из их министров сказал, что их цель сохранить преобладание, которое они приобрели столькими жертвами, усилиями и успехами... Александр, уезжая из Петербурга в Вену, сказал: я еду, потому что этого хотят, но я не сделаю ни больше, ни меньше того, что я хочу»¹⁰.

3

Агитация и интриги Талейрана против России имели ближайшей целью распространение среди великих держав тревоги по поводу будто бы грозящей мировой гегемонии русского императора. Герцог Дальберг, один из членов французской делегации на конгрессе, повторял всем, кто хотел его слушать, то, что он уже в самом начале октября заявил австрийскому полицей-президенту барону Хагеру,

доверенному лицу императора Франца: Талейрана мистифицируют. Ему сказали, что уже существует соглашение о многих вещах, а когда Талейран пожелал узнать, в чем дело, ему ответили, что это секрет и что условились сказать только в известное время... Мы знаем очень хорошо, в чем дело. Это — герцогство Варшавское, это — польская корона, которую уступили России; это — Саксония, которую уступили Пруссии. Они знают хорошо, что Талейран, Лабрадор (один из французских делегатов) и я — мы садимся в почтовый дилижанс и возвращаемся в Париж в тот момент, как нам откроют этот секрет. Мы ничего не понимаем в политике г. Меттерниха. Если он отдает польскую корону России, то меньше чем через пятнадцать лет Россия выгонит турок из Европы и Россия станет для свободы Европы более опасной, чем когда-либо был Наполеон. Пруссия отдаст себя России, быть может, вследствие своего географического положения. Но Австрия, вместо того чтобы содействовать и работать на пользу русского преобладания, почему Австрия не стремится вполне искренно к тому, чтобы воспротивиться этому колоссу, который раздавит Австрию и другие державы?»¹¹

Этим «угрозам» французской делегации покинуть конгресс мало кто верил, и никого они не пугали. Совсем иначе воспринимались угрозы Александра, что если конгресс не будет идти в желательном для России направлении, то он, император, может быть, и уедет в Петербург¹². А требовал Александр именно того, чего не желал бы ему уступить Талейран: Польши. Неравной была борьба. Талейран глгал направо, направо и налево, сегодня говоря, что у французов наготове армия в 200 000 человек¹³, а завтра, что у них уже целых 400 000.

Стендаль, при всем своем скептицизме, поверил легенде, что в самом деле именно Талейран («человек самого жи-

вого ума и самых низких страстей»), искусно распустив на Венском конгрессе через своего агента, генерала Ринара, слух о том, будто Франция имеет двухсоттысячную армию, этой «превосходной мистификацией» спас Саксонию¹⁴. Ничего подобного не было. На конгрессе никто этому слуху не верил. Спасло Саксонию нежелание Александра энергично отстаивать прусские интересы, после того как сам он «благополучно» получил Польшу.

Талейран, конечно, изо всех сил старался с первых же дней конгресса делать вид, будто Франция вовсе не так слаба, как думают. «Французская делегация решила занять на конгрессе самую энергичную позицию. Она приготовила три ноты, которые и представит на первом же заседании конгресса: в одной Франция протестует против присоединения Бельгии к Голландии, во второй излагает свои воззрения на устройство Германии, причем южная Германия была бы под покровительством Австрии, а северная — под покровительством Пруссии; третья же нота имеет отношение к Польше»: Но сколько бы слухов ни пускал Талейран со своей свитой о происходящей якобы концентрации французских войск и пр., никто этому не верил и никто не пугался. «Однако склонны думать, что Талейран усиливает свой голос (*grossit la voix*) только затем, чтобы поднять престиж своего короля и своей страны, но что он думает так же мало, как и его государь, пустить в ход силу, что не обещало бы ничего хорошего. Армия не привязана к новому режиму (Бурбонов. — *Е. Т.*), и в ее рядах много сторонников Наполеона»¹⁵.

Уже 3 октября австрийские секретные агенты знали, что Талейран преувеличил свои умственные силы и недооценил Александра, когда вздумал и его пугать войной французов против России. «Хорошо, вы будете иметь войну», — сказал царь, и на это французский дипломат был в состоя-

нии возразить только словами, которые не могли иметь ни малейшего влияния на его собеседника: «Государь, вы потеряете вашу славу миротворца всего света, единственную славу, на которую вы претендовали в Париже»¹⁶. Столь возвышенные речи из уст человека, которому Александр долгие годы платил звонкой монетой поштучно за систематические шпионские сообщения о Наполеоне, конечно, никак не могли произвести на царя назидательного действия. Талейран, как увидим, ушел с первой аудиенции с тем же, с чем пришел.

Гумбольдт, прусский уполномоченный, сказал об Александре: «Русский император фальшив и упрям, и, ведя с ним переговоры, никогда нельзя принять достаточно предосторожностей»¹⁷. Гумбольдт несравненно глубже понял Александра, чем Талейран. Это вполне ясно доказала первая большая аудиенция Талейрана у царя.

Первая встреча Александра с Талейраном в Вене произошла 3 октября, на аудиенции, которую Александр дал Талейрану в присутствии Нессельроде. После нескольких вопросов о положении вещей во Франции Александр перешел к двум, тесно между собой связанным проблемам, которые царя больше всего интересовали: к Польше и Саксонии. «Я удержу то, что я занимаю», — заявил Александр. «Ваше величество пожелаете удержать лишь то, что законно вам принадлежит». — «Я — в согласии с великими державами». — «Я не знаю, считает ли ваше величество Францию в числе этих держав?» — «Да, конечно, но если вы не желаете, чтобы каждый нашел то, что ему подходит (*ses convenances*), так на что же вы претендуете?» — «Для меня, — возразил Талейран, — прежде всего — право, а уж потом то, что подходит». — «То, что нужно для Европы, и составляет право». — «Этот язык, государь, — не ваш язык, он вам чужд, и ваше сердце его отвергает!» —

«Нет, я повторяю: то, что нужно Европе, и есть право». «Тогда (продолжает свое донесение Людовику XVIII Талейран) я обратился к гипсовому панно, у которого я стоял, прислонился к нему головой и, ударив рукой по стене, я воскликнул: «Европа! Несчастливая Европа!» Повернувшись к императору, я сказал: «Должно ли будет сказать, что вы погубили Европу?» Он мне ответил: «Скорее война, чем я откажусь от того, что я занял». Тогда я опустил руки и в позе удрученного, но решившегося человека, которая как бы говорила ему: вина будет не моя, — я хранил молчание». Князь Талейран редко обнаруживал на своем веку отсутствие чувства смешного, но на сей раз явно обнаружил. Он, продававший за деньги долгий ряд лет своего «благодетеля» Наполеона Александру, получавший вознаграждение за это систематическое предательство через Нессельроде, теперь он, перед лицом этого самого Александра и в присутствии этого самого Нессельроде, ломает глупейшую комедию расстроенных благородных чувств, призывает царя к велениям суровой морали, стучается лбом о гипсовые украшения, в мнимой неисходной скорби опускает руки, сокрушается с театральным отчаянием о «несчастной Европе» и полагает, очевидно, что этим курьезным кривлянием он может расстрогать Александра, знающего его как отъявленного вора, взяточника и общепризнанного предателя... Нессельроде стоял тут же, наблюдая, как получавший годы через его руки свою тайную заработную плату шпион русского правительства (кличка: «Анна Ивановна») ломается и кривляется, изображая мнимую скорбь и фальсифицированное отчаяние, и явно при этом надеется, что из внимания к огорчениям его доблестной и чистой души Александр, так и быть, откажется от Польши и выведет оттуда свои войска.

Талейран не скрывал своего раздражения и огорчения после этой аудиенции.

Бутягин, временно управлявший русским посольством в Париже, доносил оттуда графу Нессельроде, что, по слухам, в Париже утверждают, ссылаясь на какое-то письмо Талейрана, что он недоволен ходом дел на конгрессе¹⁸.

23 октября 1814 г. состоялся тот второй решающий дипломатический бой Талейрана с Александром, который не только снова был проигран французским представителем, но и не мог быть не проигран им. Слишком неравны были силы, стоявшие за каждым из антагонистов. «Я в Польше, посмотрим, кто меня оттуда выгонит». Александр повторял эту фразу в Вене несколько раз и до 23 октября и после 23 октября. Что мог противопоставить ему Талейран? Ухищрения, которые показывают, что он понимал царя гораздо меньше, судил о нем несравненно поверхностнее, чем Наполеон, который, отправляя графа Нарбонна к Александру в Вильну перед началом нашествия 1812 г., предостерегал его: «Не забывайте, что вы будете говорить с человеком, хитрым в высшей степени».

Вот как излагает решающую беседу сам Талейран в донесении в Париж королю Людовику XVIII, через два дня после события¹⁹.

Замечу, кстати, что Альбер Сорель довольно небрежно воспользовался этим документом. Во-первых, ложно утверждение Сореля, будто Александр был инициатором свидания: «Талейран пишет о разных причинах, которые заставили меня просить у него аудиенции». Во-вторых, самая аудиенция была не 22-го, а 23 октября, т.е. за день до аудиенции Меттерниха у Александра.

Начал Александр, после нескольких формальных учтивостей, так: «В Париже вы были того мнения, что необходимо царство польское; как же случилось, что вы изменили мнение?» — «Мое мнение, государь, осталось прежним. В Париже шла речь о восстановлении всей Польши. Я хотел тогда, как я хочу и теперь, ее независимости. Но теперь речь идет совсем о другом. Вопрос подчинен определению границ, которые давали бы безопасность Австрии и Пруссии». — «Они не должны беспокоиться. А впрочем, у меня в герцогстве Варшавском двести тысяч человек, пусть же меня оттуда выгонят. Я отдал Пруссии Саксонию, Австрия на это согласна». — «Я не знаю, — возразил Талейран, — согласна ли на это Австрия. Мне бы трудно было этому поверить, до такой степени это не в ее интересах. Но даже и согласие Австрии может ли сделать Пруссию владелицей того, что принадлежит саксонскому королю?» — «Если саксонский король не отречется [от престола], его увезут в Россию. Он там и умрет. Другой король уже умер там». — «Ваше величество, позвольте мне не поверить вам. Конгресс собрался не затем, чтобы видеть подобное покушение». — «Как? Покушение? Разве король Станислав не поехал в Россию? Почему бы и саксонскому королю туда не отправиться? Положение одного из них подобно положению другого. Для меня тут нет никакой разницы». Приведя эти слова, Талейран пишет королю Людовику XVIII: «У меня было слишком много для ответа. Я признаюсь вашему величеству, что я не знал, как сдержать свое негодование. Император говорил быстро. Одна из его фраз была такова: я думал, что Франция мне обязана кое-чем. Вы мне все говорите о принципах: ваше международное право для меня — ничто, я не знаю, что это такое. Как вы думаете, много ли для меня значат ваши пергаменты и все ваши трактаты?» В этом изложении выходит, что беспринцип-

ный царь никак не может возвыситься до благороднейшего, взирающего на него со скорбной укоризной праведника Талейрана. Но мы ведь знаем, с какой презрительной насмешкой дипломаты конгресса говорили о всех этих благородных выходках и моральных негодованиях прожженного плута и обманщика, вора и взяточника, сначала купленного Наполеоном, потом продавшего Наполеона. Ведь вполне ясно, что Александр именно с язвительной иронией, глядя в глаза продажному предателю, который от него лично получал взятки с 1808 г. вплоть до 1814-го, подчеркивал о «ваших трактатах», «вашем» международном праве и «ваших» пергаментных... Все эти словесные презрительные пощечины, все эти язвительные напоминания по его личному адресу Талейран силится представить, вопреки всякому вероятию, как совсем несвойственные осторожному Александру циничнейшие признания в собственной политической безнравственности, в том, будто он вообще презирает всякое международное право, всякие трактаты.

Видя, что ровно ничего от Александра в польском вопросе он не добьется, Талейран перевел разговор на то, что его интересовало гораздо больше, т.е. на «саксонскую проблему». Тут тоже дело пошло не гладко. «Для меня есть нечто выше всего — это мое слово. Я обещал Саксонию прусскому королю в тот момент, как мы соединились», — заявил царь. «Ваше величество обещали прусскому королю от девяти до десяти миллионов душ. Вы можете дать их ему, не уничтожая Саксонию». Это Талейран имел в виду свой проект «вознаграждения» Пруссии за счет мелких немецких владений. «Саксонский король изменил», — сказал Александр. Талейран возражал. Помолчав, Александр закончил аудиенцию словами: «Прусский король будет королем Пруссии и Саксонии, как я буду русским императором и королем польским. Уступчивость, кото-

рую Франция обнаружит по отношению ко мне в этих двух вопросах, будет соразмерна с той, которую я обнаружу относительно Франции во всем, что может интересовать Францию».

Меттерних, который уже от имени Австрии возобновил на другой день (24 октября) атаку на Александра, точно так же ровно ничего не добился, как и Талейран. Мало того, между австрийским министром и русским императором произошла такая бурная, озлобленная ссора, дело дошло до таких резких выражений, что оба собеседника с тех пор почти до конца конгресса старались как можно меньше встречаться. Меттерних полуоткрыто стал угрожать, а Александр совсем открыто дал понять, что несколько этих угроз не боится. Но, во всяком случае, Меттерних воздержался от таких пошлых, комедиантских выходов, до которых унизился 3 октября Талейран, рассчитывавший взять царя патетическими восклицаниями и благородными призывами к великодушию и бескорыстию.

«Рассказывают, что после своего знаменитого разговора с Александром Талейран сказал, что раздражение императора заставило его думать, что он находится перед лицом второго Наполеона. Шведский министр сделал подобное же замечание»²⁰. Так сообщают в своих секретных донесениях австрийские агенты, шпионившие за съехавшимися в Вене дипломатами и государями.

Об истинном отношении Людовика XVIII к Талейрану во время Венского конгресса австрийский агент Бомбелль доносит 22 ноября (1814 г.) Меттерниху из Парижа: «Король еще сохраняет немного преувеличенное мнение о талантах князя Талейрана. Несмотря на это, у меня есть большое основание думать, что король далек от того, чтобы оказывать этому министру безграничное доверие. При дворе Талейрана больше боятся, чем любят, но партия, кото-

рую этот ловкий хамелеон сумел создать себе в обществе, оказывает влияние...» Тут же Бомбелль передает о своем секретном разговоре с графом д'Артуа, который определенно высказался за «полное» соглашение между Австрией, Францией и Англией, направленное против России и Пруссии²¹.

Все эти сношения велись секретно. О них знали: с австрийской стороны — Бомбелль и Меттерних, и не знал официальный глава австрийского посольства в Париже — барон Винцент. С французской стороны об этих переговорах короля, графа д'Артуа и министра Блака не знал никто, кроме этих трех лиц, — не должен был знать и Талейран.

Но князь Талейран обыкновенно устраивался так, что особенно обстоятельно знал именно то, чего не должен был узнать. Да и Меттерниху, решительно обеспокоенному упорством Александра и грозящим Австрии увеличением могущества России и Пруссии, не было особых причин долго таить от Талейрана, что, по его данным, в Париже не хотят потерпеть соглашения с Александром против Австрии. Меттерниху, напротив, было выгодно предварить какие-либо (всегда, по его мнению, возможные) интриги Талейрана в пользу России. Но самое важное заключалось в том, что еще в те недели, предшествовавшие Венскому конгрессу, когда Бомбелль вел с королем, с графом д'Артуа и с министром Блака переговоры за спиной Талейрана, сам Талейран уже начал переговоры за спиной короля, графа д'Артуа и министра Блака, но не с Австрией, а с Англией. Через английского уполномоченного в Париже, Чарлза Стюарта, Талейран еще с августа 1814 г. знал, что по двум важным для Англии пунктам Каслри непременно пойдет на соглашение с Францией рано или поздно: во-первых, по вопросу о Польше, которую англичане не желают отда-

вать России, и, во-вторых, по вопросу об окончательном удалении из Неаполя короля Мюрата и о возвращении королевства Обеих Сицилий Фердинанду IV Бурбону. Англия считала это возвращение неаполитанских Бурбонов наиболее соответствующим британским интересам на Средиземном море.

Мудрено ли, что разговоры графа д'Артуа с Бомбеллем о желательном соглашении Франции, Австрии и Англии дошли при всей их секретности до агентов Талейрана? Ведь знавшие графа д'Артуа всегда говорили, что его болтливость не уступает по своим размерам его легкомыслию.

Эти предрасположения французского двора, ставшие известными Талейрану, нисколько не внушили ему новой линии поведения, потому что он, как сказано, уже и сам вел дело к сближению с Австрией и с Англией против России и Пруссии. Но эти новые сведения очень укрепили его решимость и, главное, ускорили все предприятие, потому что, помимо общих соображений о выгодах для Франции, тут дело шло лично для него о том, чтобы опередить своих врагов — графа д'Артуа и министра Блака́, фаворита Людовика XVIII, — и собственными усилиями как можно скорее достигнуть четкого дипломатического успеха.

5

Итак, все «атаки в лоб» были отбиты Александром. Было ясно, что Польшу царь ни за что не уступит и что ему удалось также добиться определенной поддержки влиятельнейшей части руководящих кругов польской аристократии. Князь Адам Чарторыйский побывал у Талейрана и объявил о том, что действует заодно с Александром, обещающим создать из герцогства Варшавского «царство

польское», причем сам «царь польский» будет в Польше конституционным королем, оставаясь в то же время самодержавным императором в России. Талейран ответил, что если так, то Франция устраняет свою оппозицию польским планам Александра. После провала, испытанного 3-го, затем 23 октября, Талейран окончательно сосредоточил свои усилия на саксонском вопросе, с самого начала несравненно больше интересовавшем Францию, чем польское дело. И здесь ему удалось достигнуть очень многого. Правда, и борьба за Саксонию была легче. Во-первых, могущественнейшее лицо Венского конгресса, Александр, не был непосредственно заинтересован в том, чтобы Саксония попала в руки Пруссии, а прусский король был недостаточно силен, чтобы обеспечить за собой эту обещанную ему царем компенсацию. Во-вторых, проиграв польское дело, Меттерних решил ни за что не соглашаться на переход Саксонии к Пруссии: такое одновременное усиление и географическое приближение к Австрии обоих соседей — России через Польшу и Пруссии через Саксонию — являлось для Габсбургской монархии явной угрозой в будущем. На этой почве сближение с Францией представлялось Меттерниху совершенно натуральным. Талейран со своей стороны рядом ловких маневров подталкивал Меттерниха к тому, чтобы оформить это сближение всех противников России и, присоединив всегда готовую пойти на подобные комбинации Англию, составить нечто вроде тайного соглашения между тремя великими державами с целью совместной борьбы на самом конгрессе против притязаний как Пруссии, так и России. Дело шло на лад, хотя и не так скоро, как Талейрану было бы желательно. В конце ноября он уже мог с радостью сообщить Людовику XVIII: «До сих пор император Александр не поколебался. Лорд Каслри, лично уязвленный, хотя он недавно получил от России

мягко составленную ноту, говорит (не нам), что если император не хочет остановиться на Висле, то его нужно к этому принудить войной; что Англия сможет выставить лишь мало войск вследствие ее войны в Америке, но что она даст субсидии и что ее ганноверские и голландские отряды могут быть пущены в дело на нижнем Рейне». А со своей стороны Австрия тоже настроена воинственно: «Князь Шварценберг стоит за войну, говоря, что вести ее теперь выгоднее, чем несколькими годами позже». Словом, дело кипит: «Австрия, Бавария и другие германские государства выставили бы триста двадцать тысяч человек. Двести тысяч под начальством князя Шварценберга отправились бы через Галицию и Моравию на Вислу. Сто двадцать тысяч под командой генерала Вреде пошли бы из Богемии в Саксонию, а оттуда — к Одеру и Эльбе»... Война должна начаться в конце марта: «Этот план требует содействия ста тысяч французов»²². Все, словом, идет прекрасно, но вот только неприятно, что ни лорд Каслри, ни Меттерних не говорят об этом с французами, а Талейрану именно этого хочется больше всего: подобная негоциация Англии и Австрии с побежденной Францией, направленная против России и Пруссии, сразу уничтожила бы «коалицию победителей».

Весь декабрь 1814 г. (особенно его вторая половина) прошел в совершенно бесплодной переписке между прусским уполномоченным и Меттернихом и в столь же бесплодных разговорах Александра с Меттернихом и Францем I. Дело о Саксонии не сдвигалось с мертвой точки. А казавшееся уже достигнутым согласие держав на присоединение Польши к владениям Александра снова было поставлено под вопрос: лорд Каслри стал протестовать гораздо сильнее, чем он это делал в октябре и даже в ноябре. Кажется, что никакими дипломатическими средствами ни Пруссию нельзя склонить

к отказу от захвата всей Саксонии, ни Александра к отказу от Польши²³. И усилия Талейрана если не относительно Польши и Саксонии, то относительно самого важного для него вопроса увенчались успехом.

25 декабря лорд Каслри приехал к Талейрану, и после нескольких вступительных слов Талейран предложил заключить «маленькую конвенцию», в которой приняли бы участие он сам, Каслри и Меттерних. «Конвенцию? Значит, вы мне предлагаете союз?» — спросил Каслри. «Эта конвенция, — ответил Талейран, — может очень хорошо состояться и без союза, но если хотите, это будет и союзом. Что касается меня, то у меня нет против этого никакого чувства противоречия». — «Но союз предполагает войну, а мы должны сделать все, чтобы ее избежать». На это Талейран возразил: «Я тоже так думаю, нужно все сделать, кроме того, чтобы пожертвовать честью, справедливостью и будущим Европы». Дальше Талейран стал уверять Каслри, что война, которая восстановит Польшу, будет популярна в Англии. Сошлись на том, чтобы назначить комиссию (из трех держав) для рассмотрения вопроса о конвенции. Лорд Каслри все-таки упирался и дал знать Талейрану через своего брата лорда Стюарта, что подписи Талейрана при таком соглашении не нужно. Талейран пишет королю, что он вышел из себя от гнева при таком предложении и заявил, что уезжает из Вены, если по-прежнему Англия и Австрия будут себя считать союзниками против Франции, как во времена Наполеона. Конечно, ни за что бы он из Вены не уехал, и гневаться на самом деле он вовсе и не умел никогда. Он стал выжидать, зная, что его контрагенты уступят. Ждать пришлось недолго. Уже 28 декабря Талейран мог сообщить королю, что комиссия действует с участием делегированного Талейраном Дальберга. А 3 января 1815 г. секретный договор между Францией, Англией и Австрией был подписан.

Неожиданное, счастливое для Талейрана событие ускорило развязку и покончило с нерешительностью Каслри. Лорд Каслри получил в Вене как раз на новый год, 1 января 1815 г., известие, что в Генте 24 декабря состоялось подписание мирного договора между Англией и Америкой. Этот договор, окончивший очень трудную, разорительную и хлопотливую войну, длившуюся с 1812 г., сразу вполне развязал руки английскому министру. Талейран и до той поры, еще при заключении общего мира 30 мая 1814 г. в Париже, был крайне уступчив относительно англичан. Слишком нужна была ему в Европе поддержка Англии, чтобы вести с ней, совсем безнадежный в тот момент, спор из-за колоний.

Все английские приобретения, утвержденные за Великобританией в 1814 г., находились вне Европы. Эти приобретения были колоссальны. Ряд британских генерал-губернаторов вели больше четверти века перед 1814 годом, в сущности, почти непрерывно одну за другой ими же самими провоцируемые войны на необъятном Индостанском полуострове. Лорд Корнуэлс с 1786 по 1793 г., сэр Джон Шор, его преемник, с 1793 по 1798 г., лорд Уэлсли (старший брат герцога Веллингтона) с 1799 по 1807 г., лорд Минто с 1807 по 1814 г. произвели огромные по размерам завоевания и на севере, и в центре, и на юге Индии. Целые богатые царства: Бенгал, Мадрас, Майсор, Карнатик, затем ряд громадных областей, населенных мараттами, город и область Дели и т.д. — все это попало в руки англичан. Мало того, не только было положено очень прочное начало покорению всей остальной Индии, но и заняты все нужные исходные пункты и плацдармы для полного в будущем завершения этого дела.

Французские владения (Пондишери, Шандернагор, Кархал, Маге, Янаон) свелись к нескольким сиротливым и бессильным городам и участкам. Ни о какой политической или экономической конкуренции с Великобританией в Индии французы с тех пор уже не смели и помыслить. Кончился их вековой спор с англичанами из-за Индии. Все эти приобретения и остались за Англией. При этих условиях не весьма большим утешением для Талейрана могло быть «великодушное» согласие Каслри возвратить захваченный лордом Минто в 1810 г. остров Бурбон, причем за Англией оставался другой, гораздо более богатый остров этой же группы — Иль-де-Франс (он же остров Св. Маврикия). У берегов Северной Америки англичане вернули Франции захваченные ими при революции и Наполеоне острова Сен-Пьер и Микелон, из Антильской группы — Мартинику и Гваделупу и еще три небольших острова около Гваделупы, в Южной Америке — Гвиану. Англичане отступились и от острова Сан-Доминго, который, однако, фактически признал французский суверенитет лишь значительно позже.

Один из главных результатов участия Англии в борьбе против Наполеона заключался также не только в исчезновении континентальной блокады, но и в согласии правительства Бурбонов на установление таможенного тарифа, сразу сделавшего Францию необычайно выгодным и богатым рынком сбыта английских товаров. Отныне только и стало возможно англичанам полностью пожать обильные плоды промышленного переворота второй половины XVIII в.

Все это читатель должен помнить, чтобы понять, почему так сравнительно гладко шла на лад затеянная Талейраном комбинация, которая требовала для своего успеха участия Англии. Едва только Каслри получил (1 января 1815 г.) известие о подписанном мире с Америкой, как он

официально примкнул к договору, и через два дня тайный договор 3 января 1815 г. был подписан.

Торжество Талейрана было полное. Вот в каких выражениях он пишет об этом событии королю Людовику XVIII: «Коалиция и дух коалиции пережили парижский мир. Моя корреспонденция до сегодняшнего дня дала вашему величеству многочисленные доказательства этого [факта]. Если бы проекты, которые я нашел здесь по прибытии, осуществились, Франция на полстолетия оказалась бы изолированной в Европе, не имея ни одного хорошего сближения [с кем-либо]. Все мои усилия направлялись к тому, чтобы предупредить подобное несчастье, но самые радужные мои надежды не шли до того, чтобы льстить себя мыслью о полном успехе. Теперь, государь, коалиция уничтожена и уничтожена навсегда. Не только Франция уже не изолирована в Европе, но ваше величество оказались в такой системе союзов, которую не могли бы дать и пятьдесят лет переговоров». Франция действует в согласии с двумя великими державами, тремя государствами второстепенными «и скоро все государства, следующие не революционным принципам», пойдут за Францией²⁴. Так ликует консервативный и благочестивый Талейран, столь удачно и быстро написавший после низвержения Людовика XVI 10 августа 1792 г., по поручению Дантона, истинно революционную ноту, прекрасно объясняющую англичанам, почему французский народ был вправе совершить свою славную революцию. Но теперь это все (против «революционных принципов») Талейран прибавил в письме и родному брату Людовика XVI больше для красоты слога: никаких государств, «следующих революционным принципам», в 1815 г. и в помине не было. А громадное значение для Франции этого акта 3 января, в самом деле нанесшего самый тяжкий удар антифранцузской коалиции держав, Талейран понимал глубоко и оценивал с объективной точки зрения вполне правильно.

Этот секретнейший трактат 3 января 1815 г., если бы стал известен Александру, мог бы до самой крайней степени в тот момент ухудшить отношения между великими державами. Называется он так: «Секретный трактат об оборонительном союзе, заключенном в Вене между Австрией, Великобританией и Францией, против России и Пруссии 3 января 1815 г.»²⁵. В объяснительной части говорится, что указанные три державы, во имя ограждения своей безопасности и независимости (*état de sécurité et d'indépendance*), принуждены «вследствие недавно обнаружившихся претензий» озаботиться тем, чтобы обеспечить себе «средства отразить всякую агрессию», которой могли бы подвергнуться их владения. А посему все три державы обязываются в случае нападения на любую из них немедленно прийти на помощь имеющимися в их распоряжении средствами. Уточняется, что каждая из трех держав (статья III) обязывается выставить армию в 150 тысяч человек, причем (статья IV) из них должно быть сто двадцать тысяч пехоты и тридцать тысяч кавалерии, с соответственным количеством артиллерийских парков. Сделана оговорка: если Великобритания не выставит условленного числа полностью, то за каждого отсутствующего солдата она уплачивает двадцать фунтов стерлингов. Под договором подписались: Талейран, Меттерних, Каслри.

7

Нужно сказать, что в Англии, где никогда не доверяли ни одному слову князя Талейрана, даже в тех случаях, когда он говорил правду, были в начале конгресса очень недовольны князем. Герцог Веллингтон, находившийся осенью 1814 г. в Париже, был крайне раздражен и не скры-

вал этого. Он открыто заявлял (в конце октября 1814 г.), что «г. Талейран обманул всех, говоря о мирных предрасположениях Франции», что, едва только прибыв в Вену, он уже создал себе партию из государей бывшего (рейнского) союза, чтобы импонировать четырем великим державам с целью вмешательства в дела Германии и восстановления там французского влияния...»²⁶. Веллингтон сам норовил попасть на Венский конгресс, будучи убежден, что одному Каслри с Талейраном не справиться и что подобная задача по плечу только ему, герцогу Веллингтону. Герцог был прав относительно Каслри, но заблуждался относительно себя самого. Договор 3 января 1815 г. был, впрочем, вполне одобрен британским кабинетом. Он клонился к ослаблению дипломатической позиции России, а больше ничего для англичан и не требовалось. Что касается Талейрана, то к концу конгресса даже наиболее недоверчивые члены лондонского кабинета уже не подозревали его в воинственных намерениях касательно Англии: никаких попыток к пересмотру договора от 30 мая Талейран не предпринимал.

Но и англичане уже не представляли себе (еще за месяц до подписания договора 3 января 1815 г.), что возможно предпринять что-либо на конгрессе без участия и ведома Талейрана.

«Мне кажется, что г. Талейран делает здесь чудеса. Когда он сюда прибыл, хотели изолировать Францию от всего, а теперь она повсюду. Нет ни одного комитета, в котором она не принимала бы участия и где с ее голосом очень бы не считались», — и это мнение Латур дю Пэна, высказанное им 8 декабря 1814 г. в письме к маркизу де Боннэй, разделялось, в сущности, всем конгрессом²⁷.

Таков был путь «хитроумного Одиссея», как прозвали его, французского делегата, за три месяца с небольшим

от конца сентября 1814 г., когда Талейран прибыл на конференцию и когда его еще не хотели допускать к общим совещаниям представителей четырех «союзников», до 3 января 1815 г., когда тот же Талейран подписал секретный военный договор с двумя из этих четырех «союзников», направленный против двух других. Антифранцузская коалиция была непоправимо разрушена, была разбита на куски. Границы Франции, на которые согласились победители в Париже по договору 30 мая 1814 г., остались прочными и нерушимыми. Каслри и Меттерних тоже были довольны, хоть и в меньшей степени, чем Талейран. Им незачем было «выходить из изоляции», потому что они никогда и не были в изоляции; им не приходилось радоваться за дипломатическую консолидацию своих границ, потому что границам Англии и Австрии ничто и не грозило в тот момент. Но договор 3 января, в котором ни звука нет ни о Саксонии, ни о Польше, имел для подписавших держав гораздо большее, общее значение: он обеспечивал оборону в случае, если бы Александр вздумал, пользуясь отныне далеко выдвинутым форпостом — «царством польским», напасть оттуда на Австрию и поставить тем самым вопрос о воскрешении всеевропейского владычества, но уже под эгидой не Парижа, а Петербурга. Что с Польшей уже ровно ничего нельзя поделать и что нужно оставить ее в руках Александра, — с этим все трое, подписавших тайный трактат, были согласны: затевать в самом деле немедленно войну из-за Польши они не хотели и не могли. Гнезен (Гнезно) и Познань и прилегающую территорию с 850 000 жителей Александр согласился уступить Пруссии, Величку и Тарнопольский округ — в общем 400 000 человек — Австрии, Краков был объявлен вольным городом, а все остальное «царство польское» попало в руки Александра.

Зато в саксонском вопросе «заговорщики 3 января» достигли известного и немалого успеха. Еще 29 декабря на совещании представителей России, Пруссии, Австрии и Англии прусский король, всецело поддержанный Александром, требовал включения всего саксонского королевства в состав владений Пруссии, т.е. требовал того, от чего не отступался с самого начала конгресса. А на окончательном, решающем заседании по этому вопросу 8 февраля 1815 г., под влиянием очень обострившейся оппозиции Австрии, Англии и Франции, король прусский, который не мог взять в толк, чем объясняется это обострение (так как он, конечно, понятия не имел о тайном договоре 3 января), принужден был уступить. «Хотя присоединение всей Саксонии является единственным средством дать прусской монархии ту целостность и то округление (*set ensemble et set arrondissement*), которые ей гарантируют трактаты; хотя неудобства, проистекающие от дележа Саксонии и которые указаны в меморандуме 29 декабря, являются очень важными и для этой страны, и для Пруссии, и для самого же саксонского короля, — его величество [прусский король] решил... принести эту жертву, которой, по-видимому, придают такую цену, и согласен, чтобы король саксонский был восстановлен в части своих прежних владений», — с такой горечью Фридрих Вильгельм III принужден был покориться неизбежности²⁸. Саксонский король удерживал в своих руках 1314 337 подданных, Пруссии досталось 723 380 жителей. Территория Саксонии (744 кв. мили) была разделена почти пополам. Лучшая часть Саксонии, с 28 городами, с наиболее богатыми и промышленными местами осталась в руках саксонского короля. Кое-какие позднейшие изменения не внесли больших перемен в этот план раздела Саксонии. Нечего, конечно, напоминать (это слишком общеизвестно), что дележ саксон-

ских «душ», как и решение польского вопроса, были актами, не считавшимися с чем бы то ни было хоть отдаленно похожим на опрос населения и на истинные его желания.

Итак, проиграв польское дело, Талейран в значительной мере выиграл саксонское и полностью выиграл самую главную свою ставку: новая, буржуазная Франция не только не была расхватаана по кускам феодально-абсолютистскими великими державами и их союзницей, экономически первенствовавшей Англией, от чего Францию спасла Россия еще 30 мая 1814 г., но она вошла как равноправный член в среду великих европейских держав и комбинация 3 января 1815 г. разбила грозную для французов коалицию. А это уже было направлено прямо против царя.

Таковы были главные дипломатические победы Талейрана, выигранные его проницательностью и настойчивостью, притом в борьбе против таких совсем незаурядных контрагентов, как Александр I и Меттерних.

Обстоятельства сложились так, что уже в первые месяцы 1815 г. и затем после сумятицы Ста дней, среди которой наскоро закончился Венский конгресс, благоприятно, с точки зрения Талейрана, разрешены были и еще два вопроса, в которых Франция была заинтересована: вопрос об «устройстве» Германии, и вопрос об Италии. Но здесь дело обошлось без активного участия Талейрана. Германия осталась в раздробленном состоянии, и то же самое случилось с Апеннинским полуостровом. И в том и в другом случае определяющую роль сыграли интересы Габсбургской монархии, представленные на конгрессе Меттернихом. Но объективные результаты этих усилий австрийской политики оказались, с точки зрения Талейрана, благоприятными условиями безопасности французских границ.

Итак, Талейрану удалось помочь отстоять самостоятельное существование и большую часть территории Саксонии, но он согласился без особых споров на то, чтобы к Пруссии присоединена была рейнская провинция. Много было впоследствии споров относительно того, что было выгоднее для Франции: чтобы Пруссия забрала всю Саксонию или чтобы она овладела рейнской провинцией. В первом случае она усилилась бы гораздо больше, чем во втором; но зато она все-таки была бы дальше от Франции, чем оказалась, овладев рейнскими городами и землями. Следует заметить, что легенды окружили венские переговоры такой дымкой, сквозь которую не всегда можно уловить не совсем точные контуры событий. Очень маловероятны слова, якобы сказанные Талейраном Александру в ответ на упрек императора, что саксонский король — изменник, сражавшийся на стороне Наполеона: «Он провинился лишь боязнью перед Наполеоном, а разве большинство государей, присутствующих на конгрессе, не могут упрекнуть себя в том же? Не следует обращаться к прошлому, государь, нам всем пришлось бы краснеть».

Всех этих смелых выходов не было, вероятно, потому уже, что даже сам Талейран их вовсе не приводит. А уж он ли не любит прихвастнуть своей мнимой нелицеприятной «правдивостью» перед царями...

Но он всячески старался поддержать опасение Меттерниха и Каслри, что «вместо колосса на Сене может отныне возникнуть колосс на Неве». Это запугивание «русской опасностью» стало с тех пор одним из шаблонов французской внешней политики. Теперь уже Александр не мог лично ничего дать Талейрану, и они расстались в холодных отношениях после этой решающей политической встречи в их жизни.

Союз и дружба с Англией и, по возможности, с Австрией для общего отпора Пруссии, борьба против России, если она будет поддерживать Пруссию, — вот базис, на котором Талейран желал отныне основать внешнюю политику и безопасность Франции. Ему не суждено было долго управлять делами в период Реставрации, но едва лишь в 1830 г. Июльская революция дала ему важнейший в тот момент пост французского посла в Лондоне, он, как увидим дальше, сделал все зависящее, чтобы провести свою программу в жизнь. Ближайшие поколения молодой французской буржуазии всегда расценивали очень положительно работу, проделанную Талейраном на Венском конгрессе.

И недаром бальзаковский «герой» Вотрен в романе «Le père Goriot» с таким восторгом говорит о Талейране (не называя его): «...князь, в которого каждый бросает камень и который достаточно презирает человечество, чтобы плюнуть ему в физиономию столько присяг, сколько оно потребует их от него, воспрепятствовал разделу Франции на Венском конгрессе. Его должны были бы украшать венками, а в него кидают грязью»²⁹. Эта горячо проповедуемая мысль, что клятвопреступник может «плевать» в лицо «человечеству», если конечный результат его предательства приносит буржуазии реальную пользу, приносит политический капитал; эта циническая убежденность в первенстве «интеллекта над моралью» в политике — необычайно характерны для времени перелома, передавшего власть в руки буржуазии. И более всего характерно именно торжественное, всенародное провозглашение этого принципа и нескрываемое восхищение человеком, в котором самым законченным образом олицетворялся указанный идеал полного аморализма, т.е. князем Талейраном-Перигором.

Но своеобразная откровенность этого хищного героя Бальзака была далеко не всем свойственна. И даже те из политических деятелей, кто изо всех сил старался подражать Талейрану как недостижаемому образцу, не переставали поносить его за глаза, наблюдая, как этот маэстро коварства и циничнейший комедиант артистически разыгрывает на мировой сцене совсем новую для него роль. Конечно, более всего злобились на его безмятежную наглость его прямые противники, дипломаты феодально-абсолютистских держав и прежде всего Пруссии, одурачить которых он поставил себе первоочередной задачей. Эти дипломаты видели, что он в Вене ловко выхватил у них собственное их оружие, раньше чем они опомнились, и теперь их же этим оружием побивает, требуя во имя «принципа легитимизма» и во имя уважения к вернувшейся во Францию «законной» династии, чтобы не только французская территория осталась неприкосновенной, но чтобы и Центральная Европа возвратилась полностью в свое дореволюционное состояние и чтобы поэтому «легитимный» саксонский король остался при всех старых своих владениях, на которые претендовала Пруссия.

Противников Талейрана больше всего возмущало, что он, в свое время продавший так быстро легитимную монархию, служивший революции, служивший Наполеону, расстрелявший герцога Энгиенского только за его «легитимное» происхождение, уничтоживший и растоптавший при Наполеоне всеми своими дипломатическими оформлениями и выступлениями всякое подобие международного права, всякое понятие о «легитимных» или иных правах, — теперь с безмятежнейшим видом, с самым ясным лбом заявлял (например, русскому делегату на Венском конгрессе Карлу Васильевичу Нессельроде): «Вы мне говорите о сделке, — я не могу заключать сделок. Я счастлив,

что не могу быть так свободен в своих действиях, как вы. Вами руководят ваши интересы, ваша воля; что же касается меня, то я обязан следовать принципам, а ведь принципы не входят в сделки (*les principes ne transigent pas*)». Его оппоненты прямо ушам своим не верили, слыша, что столь суровые речи ведет и нелюбезную мораль им читает тот самый князь Талейран, который, как о нем около того же времени писала уже упомянутая газета «*Le Nain jaune*», всю жизнь продавал всех тех, кто его покупал. Ни Нессельроде, ни прусский делегат Гумбольдт, ни Александр не знали еще, что даже в те самые дни Венского конгресса, когда Талейран давал им суровые уроки нравственного поведения, верности принципам и религиозно-неуклонного служения легитимизму и законности, он получил от саксонского короля взятку в пять миллионов франков золотом, от баденского герцога — в один миллион; они не знали также, что впоследствии все они прочтут в мемуарах Шатобриана, что за пылкое отстаивание во имя легитимизма прав неаполитанских Бурбонов на престол Обеих Сицилий Талейран тогда же, в Вене, должен был получить от претендента Фердинанда IV обещанные ему шесть миллионов (по другим показаниям, три миллиона семьсот тысяч) и для удобства пересылки денег даже был так любезен и предусмотрителен, что отправил к Фердинанду своего личного секретаря Перре.

Остановимся, кстати, на этом любопытном эпизоде, тем более что мы нашли в нашем Архиве внешней политики кое-какие интересные и не известные никому из писавших о Талейране уточнения.

Англия и Австрия вполне поддержали французское предложение о возвращении в Неаполь на престол королевства Обеих Сицилий династии неаполитанских Бурбонов (короля Фердинанда IV). Фердинанд очень боялся, что

престол останется за ставленником и маршалом Наполеона королем Иоахимом Мюратом, и пообещал Талейрану взятку в случае содействия и усердия. Король Людовик XVIII настойчиво требовал в письмах к Талейрану, чтобы тот настоял на изгнании Мюрата и возвращении Фердинанда в Неаполь, и Талейран, конечно, это проделал, конгресс согласился. Тогда Талейран, искусно утаив от Фердинанда уже состоявшееся, но еще не обнародованное постановление держав, потребовал от неаполитанского короля шесть миллионов франков за доброжелательное содействие и услуги. Король Фердинанд, введенный в заблуждение, пообещал эту сумму. Но Фердинанд IV все-таки дал Талейрану не шесть миллионов, которые обещал, и не три миллиона семьсот тысяч, а гораздо меньше.

В конце июля 1815 г. неожиданно прибыл в Неаполь секретарь князя Талейрана. Русский представитель в королевстве Обеих Сицилий, Мочениго, донося об этом графу Нессельроде, передает сначала слух, что причиной приезда секретаря являются дела Талейрана по его княжеству Беневентскому. Но уже спустя несколько дней Мочениго в зашифрованном донесении поясняет, в чем дело: секретарь послан получить с неаполитанского короля Фердинанда IV деньги в пользу князя, ибо король секретно обязался уплатить ему деньги за восстановление своего на неаполитанском престоле³⁰. В одном из позднейших донесений (тоже зашифрованном) Мочениго сообщает уже совершенно точно цифру взятки, полученной Талейраном: два миллиона франков³¹. Но и эти два миллиона очень легко могли не попасть в ожидавший их карман.

Когда Талейран уже в июле 1815 г. с большим опозданием (из-за ста дней) командировал своего личного секретаря Перре в Неаполь, то он имел все основания беспокоиться: уже теперь, в июле 1815 г., Фердинанд IV, несмотря

на все хитрости и утайки Талейрана, наверное, знал, что от Талейрана его воцарение уже не зависит. Словом, король мог теперь совершенно безопасно для себя прогнать прочь Перре, явившегося с таким запозданием за взяткой. Но Фердинанд все-таки выдал треть обещанного. Когда Перре возвратился из Неаполя к Талейрану, привезя достождно оформленный чек на банкирскую контору Баринга, то потрясенный неожиданностью величавый князь Беневентский не в силах был совладать со счастьем, переполнившим до краев его душу, и бросился на шею Перре, обнимая и целуя своего посланца. Такой бурной эмоции он, по крайней мере по имеющимся у нас данным, не переживал с 1797 г., когда, тоже прямо потерявшись от радости при известии о своем назначении впервые министром иностранных дел, он, как бы в забытьи, восклицал, что на этом месте можно составить себе огромное состояние. Только подобные мотивы, по-видимому, и были способны вывести этого сдержанного, высокомерного, холодного, глубоко равнодушного человека из душевного равновесия.

Но и тут, на Венском конгрессе, он действовал в деле взятковзимания точь-в-точь так, как в первые годы при Наполеоне. Он по возможности не делал за взятки тех дел, какие шли бы прямо вразрез с интересами Франции или, иначе говоря, с основными дипломатическими целями, к достижению которых он стремился. Но он попутно получал деньги с тех, кто был лично заинтересован в том, чтобы эти цели были поскорее и как можно полнее Талейраном достигнуты. Так, Франция, например, была прямо заинтересована в том, чтобы Пруссия не захватила владений саксонского короля, и Талейран отстаивал Саксонию. Но так как саксонский король был заинтересован в этом еще гораздо более, чем Франция, то этот король для возбуждения наибольшей активности в Талейране и дал ему со сво-

ей стороны пять миллионов. А Талейран их взял. И конечно, взял со всегда ему свойственными сдержанностью и «величием», с какими некогда в 1807 г., принял взятку от этого же самого саксонского короля за заступничество перед Наполеоном.

Конгресс подходил к концу. Съехавшиеся государи и представители держав весело проводили блестящий зимний светский сезон в Вене и не очень утруждали себя работой. «Конгресс танцует, но не подвигается вперед» (*Le congrès danse, mais ne marche pas*), — иронизировал старый наблюдатель, австрийский вельможа князь де Линь.

К концу января 1815 г. все наиболее острые, опасные вопросы были более или менее разрешены. Победа в саксонском вопросе в глазах Талейрана компенсировала его поражение в вопросе польском. Сближение с Англией и Австрией вознаграждало за холодные отношения с Россией. Для особого эффекта и подкрепления пресловутого «принципа легитимности» французский министр вдруг решил воспользоваться наступающей годовщиной казни Людовика XVI (21 января) и отметить ее в Вене особым траурным чествованием.

Талейран, так успешно продавший Людовика XVI в начале революции, возбудил (конечно, за глаза) немало иронического смеха на Венском конгрессе, когда вздумал использовать эту годовщину для архиторжественной панихиды, куда пригласил всех членов конгресса, причем произнес крайне прочувствованную речь. «Тот, кто не знал бы, что такое Талейран, — вспоминает один из очевидцев, — мог бы сказать: вот, вероятно, это один из старых друзей короля, один из тех, кто последовал за его семьей за границу; наконец, это человек, которому не в чем себя упрекнуть. Но так как свидетели этой декламации все знали прошлое поведение Талейрана, то нашли, что он плоско

(platement) играет комедию». «Этот мерзавец Талейран неприглядно должен выглядеть в Вене», — заметил тогда же брат Наполеона Люсьен Бонапарт³².

Впрочем, прочувствованная речь министра обошлась французской казне очень недешево: за церемонию 21 января 1815 г., состоявшую лишь из церковной панихиды, князь Талейран не преминул представить счет почему-то... в восемьдесят тысяч франков золотом, не более и не менее (реальная покупательная сила одного франка золотом в 1815 г. признается равной покупательной силе приблизительно десяти франков в валюте 1934 г.)³³. Столь высоко оценил Талейран порыв своих горестно-монархических чувств, вызванный в нем траурной датой 21 января.

9

И вдруг среди совсем ясного неба грянул гром. Наполеон внезапно отплыл с острова Эльбы, высадился у мыса Жуан и ровно через три недели после высадки восстановил империю и вошел 20 марта 1815 года в Париж с триумфом, не сделав во время всей этой экспедиции ни единого выстрела, не испытав ни малейшего сопротивления.

Возвращение Наполеона с острова Эльбы, паническое бегство Бурбонов и восстановление империи застали Талейрана совершенно врасплох. Не так давно (в мае 1933 г.) в Париже вышла фантазерская книга Фердинанда Бака «Le secret de Talleyrand». Этот раскрытый одним только Баким «секрет» заключается в том, что Талейран... сам устроил бегство Наполеона с Эльбы. Отмечаю эту дилетантскую фантазерскую книгу тут только в виде курьеза для доказательства, что и далекое потомство продолжает считать Талейрана способным не только на самый изумительный по

коварству и хитрости план, но и достаточно ловким и сильным, чтобы осуществить любой проект. Нечего и говорить, что даже и тени научной аргументации в этой книге нет. Для Талейрана бегство Наполеона было тяжким ударом.

Восстановив империю в марте 1815 г., Наполеон дал знать Талейрану, что возьмет его снова на службу. Но Талейран остался в Вене; он не поверил ни в милостивое расположение императора (приказавшего тотчас по своему новому воцарении секвестровать все имущество князя), ни в прочность нового наполеоновского царствования. Венский конгресс закрылся.

Возвращение Наполеона мгновенно превратило Талейрана, автора секретного антирусского соглашения от 3 января, в смиренного просителя, и в главном и во второстепенном зависящего от Александра. И христианнейший король французский Людовик XVIII, отсидевшись в Генте, тоже сразу забыл о своем глубоком убеждении, что Бурбоны знатнее Романовых, и, подобно своему министру, не переставал докучать царю своими челобитьями. В Швейцарии во время Ста дней (особенно в кантоне Ваадт) обнаружилось некоторые бонапартистские интриги и сношения с Жозефом Бонапартом. Князь Талейран извещал Нессельроде, что «...король Людовик XVIII очень добивается от швейцарских властей удаления Жозефа Бонапарта из Швейцарии, но, увы, одного лишь желания его христианнейшего величества, сидящего в изгнании в Генте, маловато. Так вот, не соблаговолит ли император все-российский помочь, поддержав в Швейцарии эту просьбу французского короля»³⁴. Александр «всемиловитвейше» согласился³⁵.

13 марта 1815 г. представители восьми держав, собравшиеся на Венском конгрессе, опубликовали знаменитую декларацию, объявлявшую Наполеона Бонапарта «вне

гражданских и общественных отношений», «врагом и возмутителем мирового спокойствия» и подлежащим каре (*il s'est livre à la vindicte publique*). Эта декларация в тот момент была оценена как призыв к убийству Наполеона, поставленного вне покровительства законов. На первом месте в списке представителей Франции под этим документом подписано: «Князь Талейран».

Однако Наполеон ни в малейшей степени не обратил на это внимания. Своего Талейрана он знал довольно хорошо, хотя ему известны были далеко не все его поступки. Только поэтому император его и не повесил в свое время, а лишь примеривался это сделать, облюбовал уже и место для этой операции: решетку на Карусельской площади. Как мы видели, он даже поделился с самим князем этим своим намерением во время знаменитой сцены 28 января 1809 г. на приеме в Тюильри.

Но теперь Талейран был ему снова нужен, и возвращение старого дипломата на его службу произвело бы колоссальное впечатление в Европе. А что Талейран подписал декларацию 13 марта, то мало ли он разных деклараций на своем жизненном пути подписывал! Наконец 13 марта ведь было еще за неделю до триумфального въезда Наполеона в Тюильри. Словом, решено было попытаться перекупить, по случаю, маститого князя у союзников. Ничего особенно странного в этом намерении не было: ведь сам Талейран к концу жизни добродушно подшучивал, что ему привелось на своем веку по самым различным поводам принести четырнадцать крайне разнохарактерных присяг.

Одним из первых действий Наполеона после его нового воцарения было назначение Коленкура, герцога Виченцского, министром иностранных дел, а 22 апреля (1815 г.) император дал следующее распоряжение своему министру:

«Господин герцог Виченцкий! Я вас уполномочиваю удостоверить князя Беневентского, что его имения будут ему возвращены, если он поведет себя как француз и окажет мне некоторые услуги»³⁶. Но Талейран оставался в Вене, потом уехал из Вены, однако не в Париж. Он не верил в прочность восстановленной империи. Предложение императора было переслано Талейрану в Вену в собственноручном письме Коленкура от 24 апреля: «Мой дорогой князь, вы знаете мою старинную дружбу. Я надеюсь, что вы вполне поверите всему, что вам скажет и в чем вас удостоверит от нашего имени г. де Сен-Леон, который, как друг, занялся вашими делами»³⁷.

Во всяком случае, эти документы, найденные в частном архиве семьи герцога Виченцкого и впервые напечатанные в новом (цитируемом тут) издании его «Мемуаров», показывают, что даже после активнейшего участия Талейрана в водворении Бурбонов в марте и апреле 1814 г. Наполеон все еще полагал возможным купить Талейрана и считал эту покупку по случаю, если бы она состоялась, выгодной для себя.

Но Талейран был глух и к письменным, и к устным обещаниям. А все-таки приезд Сен-Леона с его посулами пошел на пользу Талейрану: союзники обеспокоились и сочли более надежным, на всякий случай, в спешном порядке обильно одарить князя деньгами, чтобы он не перебежал неожиданно к Наполеону. Они-то знали, что хотя Талейран не очень верит в прочность империи и, вероятно, не соблазнится, но — чего с князем Беневентским не случалось? Излишняя предосторожность не мешает никогда. Талейран деньги принял с полной готовностью и пребыл верен союзникам.

А попытки императорского окружения залучить его на службу все-таки, по-видимому, прекратились не сразу.

Не забудем, что у Наполеона были некоторые основания думать, что положение Талейрана в Вене станет очень трудным: ведь вернувшийся так внезапно с острова Эльбы в свой дворец в Тюильри 20 марта 1815 г. император нашел в письменном столе бежавшего накануне короля Людовика XVIII копию (одну из трех существовавших) секретного антирусского договора 3 января 1815 г., составленного в Вене Талейраном и подписанного, как уже выше было сказано Талейраном, Каслри и Меттернихом. Король Людовик XVIII с такой предельной быстротой бежал вечером 19 марта из Парижа, что впопыхах забыл захватить с собой этот роковой акт. Конечно, Наполеон немедленно отправил этот документ со специальным курьером в Вену для вручения императору Александру. Царь был глубоко взволнован, внезапно узнав таким, совсем неожиданным, способом, какую мину изготовил и подложил в Вене против России князь Талейран. Да и Талейрану в голову не могло прийти, что Бурбоны, убегая в панике, забудут в столе такую важную бумагу. С этой поры к недоверию и антипатии Александра к Талейрану прибавилась уже настоящая ненависть, которая и сказалась, как увидим, в том же 1815 г.

Александр не изменил, правда, своей политики, как рассчитывал Наполеон. Но было ясно, что положение Талейрана стало щекотливым.

Ни Меттерних, ни Каслри, казалось, до такой степени не раздражили царя, когда он столь внезапно (и неопровержимо) был информирован о подкопе, тайно против него вырытом. Ни Англия, ни Австрия не были так обязаны России, как Франция, которую Россия спасла от расчленения. Но царь решил продолжать общую борьбу против вернувшегося Наполеона и не подал Талейрану пока и вида, что сердится.

А из Парижа повторялись, по-видимому, попытки завязать с Талейраном сношения.

«Распространился здесь слух, что Монрон, человек позорной репутации и связанный с г. Талейраном, отправился в Вену. Это обстоятельство возбудило живейшую тревогу», — сообщает Поццо ди Борго из Брюсселя графу Нессельроде. Выехал он почти в одно время с Сен-Леоном. Сам посол не испуган: «ни тот, ни другой индивидуумы» не могут уже повредить. И хотя король Людовик XVIII оказывает Талейрану полное доверие, но публика не верит ему: «доверия по приказу не бывает»³⁸.

Заметим, к слову, что со своей стороны Талейран относился в душе к Людовику XVIII с чувством не только антипатии, но прямо гадливости.

Когда в 1823 г. Людовик XVIII напечатал свой дневник (о бегстве в Брюссель и в Кобленц при революции, в 1791 г.), то князь Талейран так отозвался (устно) об этом произведении: «Это — путешествие арлекина, он (Людовик) ел и боялся, боялся и ел». Стендаль, знавший короля, был согласен вполне с этим отзывом³⁹.

В нашем Архиве внешней политики сохранились следы каких-то и дальнейших сношений между Парижем и князем Талейраном во время Ста дней. Так, Нессельроде доносит 16 мая 1815 г. из Вены императору Александру, что в Вену прибыл с письмами к Талейрану и к Меттерниху выехавший из Парижа некий де Брэн, личность «незначительная» и интриговавшая в свое время, чтобы получить придворное местечко при наполеоновском дворе. Но содержание привезенных писем осталось неизвестным Нессельроде⁴⁰.

ГЛАВА VI

Министерство Талейрана — Фуше. Второй Парижский мир 9 июля — 24 сентября 1815 г.

1

18 июня 1815 г. кровопролитная битва под Ватерлоо покончила с вторичным царствованием Наполеона.

Король Людовик XVIII, отсиживавшийся все Сто дней нового наполеоновского владычества в городе Генте, стал немедленно собираться в Париж. Свора озлобленных своим вторичным изгнанием эмигрантов окружала его.

Русский посол в Париже Поццо ди Борго взирал на ближайшее развитие внутренних событий пессимистически, ввиду ожидаемых реакционных неистовств. На Талейрана и его умеряющее, образумливающее воздействие он не надеялся. В нашем Архиве внешней политики мы нашли доказательство, что русский дипломат осенью 1814 г. не верил в реальное, твердое сопротивление Талейрана ультрароялистской реакции.

Поццо ди Борго, проницательный корсиканец, давно и превосходно изучивший Талейрана, очень хорошо понимал, что, как бы здраво ни судил хитроумный князь о положении вещей во Франции и о глупостях Бурбонов и вернувшихся эмигрантов, все равно толка большого от него не будет. «Его лень и его сдержанность» и нежелание себя ни в чьих глазах компрометировать таковы, что он всегда будет поддакивать тому тону и тем речам, какие будут наиболее приняты при дворе, независимо от истинных достоинств этих речей¹.

В этих сжатых строках служебного донесения русского посла в Париже графу Нессельроде чувствуется самая реальная и точная историческая правда, известная нам из весьма обильной документации. А когда же Талейран говорил то, что думал, если при дворе думали по-другому? Когда же он не поддакивал сегодня Людовику XVI, завтра Дантону, послезавтра Наполеону?

Еще во время Ста дней не только Поццо ди Борго, но и сам Александр I делали попытки доказать Людовику XVIII, что все это позорнейшее для династии Бурбонов новое изгнание их из Франции вернувшимся Наполеоном обусловлено прежде всего ненавистью населения к разнузданной роялистской реакции.

19 апреля (1 мая) 1815 г. в Гент прибыл граф Алексис де Ноайль из Вены с депешами от Талейрана для короля Людовика XVIII. Но важнее всяких депеш был привезенный Ноайлем доклад Талейрана о разговоре, который он имел с императором Александром перед отъездом Алексиса де Ноайля. «Главной целью этого сообщения, по-видимому, является доказать королю необходимость на будущее время составить министерство согласно конституции, т.е. образовать кабинет, который имел бы свою систему управления, который был бы единоклубен в своих решениях и

солидарно ответствен за все свои шаги, одним словом, такой кабинет, который, как в Англии, занимал бы свое место между нацией и королем, чтобы он мог заслужить доверие за свое поведение или подвергнуться порицанию, не компрометируя величие трона и особу монарха». Поццо ди Борго подчеркивает, что он и раньше старался королю внушить (тут нетерпеливый Поццо ди Борго употребляет более сильный глагол: *inculquer*, несколько приближающийся к русскому «вдолбить») эти принципы. Теперь, по мнению русского посла, Блака́, представитель «персонального режима», типичный ультрароялист, фаворит Людовика XVIII, разглагольствовавший о божественном происхождении королевской власти, должен уйти из министерства, а Талейран должен стать во главе конституционного кабинета. Хоть он и царедворец, хоть он и интриган, но он необходим².

Но вот прибыл из Вены, как раз спустя четыре дня после Ватерлоо, и сам князь Талейран.

У нас в Архиве внешней политики сохранилось документальное доказательство, что накануне приезда своего в Монс (Бельгия) Талейран виделся 22 июня в Брюсселе с Поццо ди Борго, имел с ним «долгое совещание», после чего русский посол выражает надежду, что «направление дел будет самым приличествующим» (*de la manière la plus convenable*)³.

Это свидание, совершенно очевидно, и вдохнуло в Талейрана полную уверенность в прочности своего положения.

Талейрану случалось изредка попадать впросак, когда он не учитывал соотношения сил и преувеличивал собственное значение и нерешительность противника. Это случилось с ним, например, как уже сказано, при переговорах с Александром о Польше. Но редко попадал он в та-

кое унижительное и курьезное положение, как в июне 1815 г., когда так внезапно обнаружилось, что его политическая карьера держится на волоске...

Дело было так. Перед вечером, около шести часов 23 июня 1815 г., Талейран прибыл в город Монс (в Бельгии) к королю Людовику XVIII, который выехал из Гента, где он укрывался в течение Ста дней царствования Наполеона. Людовик XVIII направлялся теперь в Париж, и в Монсе у него была только краткая остановка. Дело было лишь спустя пять дней после битвы при Ватерлоо, и англичане и пруссаки непрерывно шли к Парижу, преследуя остатки разбитой французской армии.

Талейрану совершенно без всяких оснований представилось, что он так же точно нужен для вторичного возвращения Бурбонов на престол, откуда их в марте того же 1815 г. прогнал прочь Наполеон, как он оказался им нужен в апреле 1814 г., когда сделал все зависящее, чтобы склонить в их пользу Александра. Но он решительно ошибался. Во-первых, теперь уж ни малейшего сомнения не было, что ни с Наполеоном и ни с кем из его семьи или его окружения никаких переговоров никто вести не будет и что союзники, со всех сторон спешившие со своими армиями к побежденной столице, признают Людовика XVIII единственным законным монархом. Во-вторых, что Талейран в Вене прочно рассорился с Александром и лишился главной своей бывлой поддержки, — это тоже хорошо знала и Франция и Европа. В-третьих, если Людовик XVIII всегда не терпел Талейрана и переносил его как неизбежное зло, то теперь ультрароялисты, полные жажды мести за свое позорное изгнание из Франции во время Ста дней, решившие действовать совсем непримиримо, ни за что не желали мириться с пребыванием у власти этого ренегата. Они твердо решились на этот раз сделать то, на что они не мог-

ли отважиться в 1814 г., произвести генеральную чистку всех высших правительственных мест от бывших деятелей времен революции и империи.

Талейран лишь постепенно все это понял, но когда 23 июня, через пять дней после Ватерлоо, он прибыл в Монс, то он был полон сладостных иллюзий и вел себя, по наблюдению Шатобриана, так, как если бы именно он сам был королем. Ему хотелось сразу же показать королю, как тот должен расценивать значение своего министра. Вместо того чтобы пойти к королю, Талейран объявил, что он устал с дороги и посетит короля завтра. В ответ на эту выходку Людовик XVIII объявил, что уезжает в три часа. Это он сказал в разговоре с окружающими, вовсе не поручая им сообщить об этом Талейрану. Знал ли об этом намерении Талейран или «друзья» нарочно сбили его с толку и он неправильно истолковал слова, думая, что речь идет о трех часах пополудни следующего дня, но король ровно в три часа ночи выехал, и разбуженный, поспешно одевшийся Талейран еле-еле успел захватить его на выезде и перекинуться несколькими словами. Слова были неутешительные. Король ни с того ни с сего сказал: «Князь, вы нас покидаете? Воды вам принесут пользу. Вы нам дадите о себе известия».

Талейран и не думал говорить ни о каких водах. Король уехал, ничего больше не прибавив. Все это было достаточно ясно. Унижение было тем нестерпимее, что все происходило в присутствии Шатобриана, презиравшего князя Беневентского так, как только можно презирать кого-либо. Шатобриан и оставил описание всей сцены. Собственно, это и было преддверием к отставке. Но Талейран цеплялся за власть и решил «не понять» того, что произошло в Монсе. Однако его пребывание у власти стало совсем невозможным уже очень скоро, и ровно

через три месяца после этой «встречи» в Монсе Талейран получил отставку.

В эти три месяца во Франции всем сделалось постепенно известно, что Александр определенно враждебно настроен к Талейрану. И для Людовика XVIII стало ясно, что пало последнее препятствие, которое мешало ему покончить с министерством Талейрана.

Но все-таки обстоятельства сложились так, что Людовику XVIII еще не представлялось возможным сразу же, в конце июня и начале июля 1815 г., на другой день после своего вторичного возвращения в Париж, избавиться от Талейрана. Мало того, Фуше, герцог Отрантский, о котором говорили, что, не будь на свете Талейрана, он был бы самым лживым и порочным человеком из всего человечества, этот самый Фуше целым рядом ловких маневров достиг того, что и его хоть на первое время, а все же пришлось пригласить в новый кабинет, хотя Фуше числился среди тех членов Конвента, которые в 1793 г. вотировали казнь Людовика XVI («цареубийцы», *les régicides*, как их называли).

Эти два человека, Талейран и Фуше, оба бывшие духовные лица, оба принявшие революцию, чтобы сделать себе карьеру, оба министры Директории, оба министры Наполеона, оба получившие от Наполеона высшие титулы, оба нажившие при Наполеоне миллионное состояние, оба предавшие Наполеона, — и теперь тоже вместе вошли в кабинет «христианнейшего» и «легитимного» монарха, родного брата казненного Людовика. Фуше и Талейран уже хорошо узнали друг друга и именно поэтому стремились прежде всего работать друг с другом. При очень большом сходстве обоих в смысле глубокого пренебрежения к чему бы то ни было, кроме личных интересов, полного отсутствия принципиальности и каких-либо сдерживаю-

щих начал при осуществлении своих планов, они во многом отличались один от другого. Фуше был очень не робкого десятка, и перед 9 термидора он смело поставил свою голову на карту, организовав в Конвенте нападение на Робеспьера и низвержение его. Для Талейрана подобное поведение было бы совершенно невыносимо. Фуше в эпоху террора действовал в Лионе так, как никогда бы не посмел действовать Талейран, который именно потому и эмигрировал, что считал, что в лагере «нейтральных» оставаться очень опасно в настоящем, а быть активным борцом против контрреволюции станет опасно в будущем. Голова у Фуше была хорошая, после Талейрана — самая лучшая, какой только располагал Наполеон. Император это знал, осыпал их обоих милостями, богатством, высокими отличиями, но потом наложил на них опалу. Он их поэтому и поминал часто вместе. Например, уже после отречения от престола он выразил сожаление, что не успел повесить Талейрана и Фуше. «Я оставляю это дело Бурбонам», — так, по преданию, добавил император.

Однако Бурбоны волей-неволей должны были сейчас же после Ватерлоо и после своего вторичного возвращения летом 1815 г. на престол не только воздержаться от повешения обоих, — как князя Беневентского, так и герцога Отрантского, — но и призвать их к управлению Францией. Трубадур и идеолог дворянско-клерикальной оголтелой реакции в тот момент, Шатобриан, даровитый поэт, но в политике — бестолковый фантазер, не мог скрыть своей ярости при виде этих двух деятелей революции и империи, из которых на одном была «кровь Людовика XVI» и множества других казненных в Лионе, а на другом — кровь герцога Энгиенского. Шатобриан был при дворе, когда хромой Талейран, под руку с Фуше, прошел в кабинет к королю: «Вдруг дверь открывается; молча входит Порок,

опирающийся на Преступление, — господин Талейран, поддерживаемый господином Фуше; адское видение медленно проходит предо мною, проникает в кабинет короля и исчезает там».

Не только роялистам сильно не хотелось иметь дело с Талейраном. Сформирование нового министерства Талейрана затруднялось отчасти и тем, что даже те наполеоновские маршалы и генералы, которые во время Ста дней не стали на сторону вернувшегося с острова Эльбы императора, заявляли теперь, после Ватерлоо, что им отвратительно сидеть «рядом с двумя изменниками» — Талейраном и Фуше. Например, старый наполеоновский генерал Кларк, герцог Фельтрский, который был уже военным министром Людовика XVIII в 1815 г. и последовал за королем в Гент во время Ста дней, теперь, в июне 1815 г., при возвращении и новом воцарении Людовика XVIII, узнав, что Талейран назначается первым министром, прямо объявил, что подает в отставку. Роялист граф де Рошешуар, друг и адъютант Ришелье, эмигрант, долго служивший на юге России под начальством герцога Ришелье, передает следующий свой разговор с Кларком: «Герцог Фельтрский признался мне, что он питает большое презрение к князю Талейрану и что он этого не скрывал никогда от Талейрана. Это чувство было ему внушено Наполеоном, который однажды ему сказал: «Кларк, я вам запрещаю связываться с князем Талейраном, потому что он... дальше Наполеон употребил абсолютно нецензурное слово... и он вас перепачкает»⁴. Сообщив эту чуждую всякой уклончивости квалификацию личности Талейрана со стороны императора и выразив полное согласие с такой предельно энергичной терминологией, Кларк, герцог Фельтрский, окончательно ушел из министерства.

Проскрипционные списки были составлены Фуше. Они включали имена лиц, способствовавших возвращению и воцарению Наполеона во время Ста дней. В списке было и имя Карно, старого деятеля революции, честного, убежденного республиканца, который не шел на службу к Наполеону и был в опале в течение всего долгого первого царствования императора, но пошел на службу к нему во время Ста дней, потому что, подобно очень многим тогда уцелевшим бывшим якобинцам и подобно большинству рабочей массы парижских предместий, считал в тот момент Наполеона меньшим злом, чем Бурбонов. Теперь, после Ватерлоо, при новом возвращении Бурбонов министр Фуше (некогда заседавший вместе с Карно в революционных комитетах) осудил Карно на изгнание. «Куда же мне удалиться, изменник?» — спросил Карно министра полиции. «Куда пожелаешь, дурак!» — ответил без малейшего замешательства Фуше⁵.

2

Прежде всего необходимо было формально заключить новый мир с союзниками после войны, только что окончившейся битвой под Ватерлоо. Талейран был нужен для новой дипломатической борьбы. Пруссаки громко кричали о необходимости «навсегда» ослабить Францию, чтобы наконец иметь покой. Блюхер решительно хотел взорвать Иенский мост в Париже только потому, что он напоминает о разгроме пруссаков в 1806 г. под Иеной. И на этот раз, как и в 1814 г., Россия спасла Францию от расчленения по тем же мотивам, о которых у нас уже была речь.

Сто дней формально уничтожили Парижский мирный договор от 30 мая 1815 г., и Пруссия надеялась уже на этот раз получить Эльзас и Лотарингию.

Упорная борьба Гарденберга, Штейна, Фридриха Вильгельма III, фельдмаршала Гнейзенау против Александра разыгралась в июле — августе — сентябре 1815 г., когда речь шла о новом мирном договоре с Францией. Здесь прусские претензии натолкнулись на решительный отпор, причем Англия отчасти поддержала Россию в отстаивании неприкосновенности французской территории. Захватнические аппетиты пруссаков начали беспокоить даже Веллингтона и Каслри. Штейн, к которому благоволил Александр, просто не давая проходу, не отставал от царя, «благоволение» которого, впрочем, имело крайне малую цену, когда на весах были дипломатические интересы. 14 августа 1815 г. царь даже обнял и расцеловал Штейна, когда тот явился к нему в Париже. Но не успел Штейн растаять от восторга при этой царской ласке, как услышал от Александра: «Эльзасцы испытывают очень большое отвращение к плану присоединения к Германии; их торговые интересы требуют соединения с Францией»⁶. Это было похоронами по первому разряду всех надежд пруссаков урвать у Франции Эльзас и Лотарингию. Так называемый «второй» Парижский мир, окончательно выработанный 19 сентября 1815 г., в общем подтверждал прежний договор 30 марта 1814 г., кроме нескольких незначительных исправлений границ в пользу союзников. На Францию налагалась контрибуция в 800 миллионов франков, и в восточных и северных департаментах союзники оставляли оккупационную армию в 150 тысяч человек «минимум на три года, максимум на семь лет».

Немцы негодовали. Они приписывали упорство Александра поддержке англичан, а поддержку англичан — влиянию Талейрана, Фуше и «интригам» русского посла Поццо ди Борго.

Курьезно, что такой ученый, как Пертц (знаменитый издатель коллекции документов по средневековой истории Германии — «*Monumenta Germaniae historica*»), пресерьезно повторяет в своей многотомной «биографии» барона Штейна нелепую обывательскую легенду о том, что Александр, отказывая Пруссии, Вюртембергу и другим в отдаче им Эльзаса, действовал под влиянием мистической веры в пророчицу, г-жу Крюднер, которая якобы внушила ему, что господь бог повелевает оставить французские границы в неприкосновенности⁷. Пертц и тут показал себя довольно слабым историком, хотя превосходным издателем документов, каким всегда и был. Его многотомная книга о Штейне — вовсе не история и не биография в точном смысле слова, но собрание писем и документов, имеющих отношение к деятельности этого прусского политика. И Пертцу совсем незачем было бы нелепо фантазировать с глубокомысленным видом о мистических повелениях г-жи Крюднер императору Александру касательно Эльзаса и Лотарингии, если бы он вчитался в им же самим напечатанные подлинные документы.

Вот что писал фельдмаршал Гнейзенау Арндту 17 августа 1815 г., т.е. ровно через три дня после решающего разговора Штейна с царем: «Если Россия говорит таким языком, то это объясняется своекорыстной политикой, которая не желает, чтобы Пруссия и Австрия были в безопасности в своих западных границах, русская политика думает сохранить для себя в лице Франции всегда готового союзника»⁸. Старый вояка и умный человек, фельдмаршал Гнейзенау мыслил несравненно реалистичнее, чем ученый профессор Пертц, искренно и до курьеза простодушно негодующий на русскую дипломатию, недостаточно чутко заботившуюся, по его мнению, об усилении Пруссии.

Хотя в деле борьбы за целостность французской территории, конечно, действия Талейрана теперь всецело совпадали с интересами и целями Александра, но царь вообще уже не скрывал своей вражды к нему. Да Талейран ему был совсем и не нужен на этот раз. Восстания против Бурбонов теперь, после Ватерлоо и при 150 000 солдат оккупационных войск во Франции, Александр уже ни в малейшей степени не боялся. И не только Талейран стал бесполезен, но и дальнейшее царское либеральничанье можно было очень сильно поубавить. Для присмотра за Бурбонами, от которых Александр все-таки ждал всяких непредвиденных нелепостей и неосторожностей, достаточно было посадить первым министром герцога Ришелье, умеренного конституционалиста, бывшего (с 1803 г.) генерал-губернатором Новороссийского края и Крыма и лично преданного царю.

Дни кабинета Талейрана были сочтены.

Рассмотрим теперь, при каких обстоятельствах пало его министерство.

3

В этом министерстве, назначенном 6 июля и официально объявленном 9 июля 1815 г., в котором председателем совета министров был Талейран, а министром полиции Фуше, наполеоновский генерал Гувьон Сен-Сир стал военным министром; были и еще подобные назначения. Талейран особенно ясно видел, что Бурбоны могут держаться, только если, махнув рукой на все свои обиды, примут революцию и империю как неизбежный и огромный исторический факт и откажутся от мечтаний о старом режиме. Но не менее ясно он вскоре увидел и другое: именно, что ни королевский брат и наследник Карл, ни дети

этого Карла — герцог Ангулемский и герцог Беррийский, ни вернувшиеся во Францию эмигранты ни за что с такой политикой не согласятся. Он увидел, что при дворе в 1815 г. берет верх партия разъяренных и непримиримых дворянских и клерикальных реакционеров, находящихся под властью абсурдной мечты об уничтожении всего сделанного при революции и удержанного Наполеоном, т.е., другими словами, они желают обращения страны, вступившей на путь буржуазного торгово-промышленного развития, в страну феодально-дворянской монархии. Талейран понимал, что эта мечта совершенно неисполнима, что эти ультрароялисты могут бесноваться как им угодно, но что всерьез начать ломать новую Францию, ломать учреждения, порядки, законы гражданские и уголовные, оставшиеся от революции и от Наполеона, даже только поставить открыто этот вопрос — возможно, лишь окончательно сойдя с ума. Однако он стал вскоре усматривать, что ультрароялисты и в самом деле как будто окончательно сходят с ума — по крайней мере утрачивают даже ту небольшую осторожность, какую проявляли еще в 1814 г.

Дело в том, что внезапное возвращение Наполеона в марте 1815 г., его стодневное царствование и его новое низвержение, опять-таки произведенное не Францией, а исключительно новым нашествием союзных европейских армий, — все эти потрясающие события вывели дворянско-клерикальную реакцию из последнего равновесия. Они чувствовали себя жесточайше оскорбленными. Как мог безоружный человек среди полного спокойствия страны высадиться на южном берегу Франции и в три недели, непрерывно двигаясь к Парижу, не произведя ни единого выстрела, не пролив капли крови, отвоевать Францию у ее «законного» короля, прогнать этого короля за границу, снова сесть на престол и снова собрать громадную армию

для войны со всей Европой? Кто был этот человек? Деспот, не снимавший с себя оружия в течение всего своего царствования, опустошивший страну рекрутскими наборами, узурпатор, ни с кем и ни с чем на свете не считавшийся, а главное — монарх, новое воцарение которого неминуемо должно было вызвать сейчас же новую, нескончаемую войну с Европой. И к ногам этого человека без разговоров, без попыток сопротивления, даже без попыток убеждений с его стороны, в марте 1815 г. пала немедленно вся Франция, все крестьянство, вся армия, вся буржуазия.

Ни одна рука не поднялась на защиту «законного» короля, на защиту вернувшейся в 1814 г. династии Бурбонов. Объяснить этот феномен страхом за приобретенную при революции землю, который питало крестьянство, опасениями перед призраком воскрешения дворянского строя, которые испытывало не только крестьянство, но и буржуазия, вообще объяснить это изумительное происшествие, эти «Сто дней», какими-либо общими и глубокими социальными причинами ультрароялисты были не в состоянии — не хватало ни ума, ни кругозора, да и просто не хотели. Они приписывали все случившееся именно излишней слабости, уступчивости, неуместному либерализму со стороны короля в первый год его правления с апреля 1814 г. до марта 1815 г. Если бы тогда, уверяли они, успеть беспощадно истребить крамолу, — такая всеобщая и внезапная «измена» была бы в марте 1815 г. невозможна, и Наполеон был бы схвачен тотчас после его высадки на мысе Жуан. Теперь к этому позору изгнания Бурбонов в марте прибавился еще позор их возвращения в июне, июле и августе, после Ватерлоо, и уж на этот раз действительно «в фургонах» армии Веллингтона и Блюхера. Бешенство ультрароялистов не имело пределов. Если король еще несколько сопротивлялся им и если они еще позволили ему сопротивляться, то это было именно

только в первый момент: все-таки нужно было осмотреться, можно было ждать еще сюрпризов.

Только поэтому и стало возможно правительство с Талейраном и Фуше во главе. Но по мере того как во Францию вливались все новые и новые армии англичан, пруссаков, потом австрийцев, позднее — русских, по мере того как неприятельские армии, на этот раз уже на долгие годы, располагались для оккупации целых департаментов и для полнейшего обеспечения Людовика XVIII и его династии от новых покушений со стороны Наполеона, а также и от каких бы то ни было революционных попыток, — крайняя реакция решительно поднимала голову и вопила о беспощадной мести, о казни изменников, о подавлении и уничтожении всего, что враждебно старой династии.

Талейран понимал, к чему поведут эти безумства. И он даже делал некоторые попытки удержать иступленных. Он долго противился составлению проскрипционного списка тех, кто способствовал возвращению и новому воцарению Наполеона. Эти преследования были бессмыслицей, потому что вся Франция либо активно способствовала, либо не сопротивлялась императору и этим тоже способствовала ему. Но тут выступил Фуше. Гильотинировав или потопив в Роне сотни и сотни лионцев в 1793 г. за приверженность к дому Бурбонов, вотировав тогда же смерть Людовика XVI, годами расстреливая при Наполеоне в качестве министра полиции людей, обвиненных опять-таки в приверженности к дому Бурбонов, — Фуше, снова министр полиции, теперь, в 1815 г., горячо настаивал на новых расстрелах, но на этот раз уже за недостаточную приверженность к дому Бурбонов. Фуше поспешил составить список наиболее, по его мнению, виновных сановников, генералов, вроде Нея, и частных лиц, прежде всего и раньше других активно помогавших вторичному воцарению Наполеона.

Талейран решительно протестовал. Полицейский ум Фуше и яростная мстительность королевского двора восторжествовали над более дальновидной политикой Талейрана, который понимал, до чего непоправимо компрометирует и губит себя династия, пачкаясь в крови таких людей, как знаменитый маршал Ней, легендарный храбрец, любимец всей армии, герой Эльхингена и участник Бородинской битвы. Талейрану удалось спасти только сорок три человека, остальные пятьдесят семь остались в списке Фуше. Расстрел маршала Нея состоялся и, конечно, сделался благодарнейшей темой для антибурбонской агитации в армии и во всей стране.

Это было лишь началом. По Франции, особенно на юге, покатила волна «белого террора», как тогда же было (впервые в истории) названо это движение. Страшные избиения революционеров и бонапартистов, а заодно уже и протестантов (гугенотов), разжигаемые католическим духовенством, раздражали Талейрана, и он пробовал вступить с ними в борьбу, но ему не суждено было долго продержаться у власти.

Дело началось с Фуше. Как министр полиции ни усердствовал, но простить ему казнь Людовика XVI и все его прошлое ультрароялисты не желали. Фуше прибегнул было к приему, который ему часто помогал при Наполеоне: он представил королю и своему начальнику, т.е. первому министру Талейрану, доклад, в котором старался припугнуть их какими-то заговорами, якобы существовавшими в стране. Но Талейран явно не поверил и даже не скрыл этого от своего коллеги. Фуше только казалось, будто он видит Талейрана насквозь, а вот Талейран в самом деле видел хитроумного министра полиции насквозь. Талейран считал, во-первых, нелепой и опасной политику репрессий и преследований, которую желал проводить Фуше с единствен-

ной целью: угодить ультрароялистам и удержать за собою министерский портфель. Во-вторых, Талейран ясно видел, что все равно из этого ничего не выйдет, что ультрароялисты слишком ненавидят Фуше, залитого кровью их родных и друзей, и что кабинет, в котором находится «царевубийца» Фуше, не может быть прочен при полном неистовом разгуле дворянской реакции и воинствующей клерикальной агитации. По всем этим соображениям князь Беневентский решительно пожелал отделаться от герцога Отрантского. Совершенно неожиданно для себя Фуше получил назначение французским посланником в Саксонию: он уехал в Дрезден. Но, выбросив этот балласт, Талейран все-таки не спасся от кораблекрушения. Ровно через пять дней после назначения Фуше в Дрезден Талейран затеял давно подготовлявшийся принципиальный разговор с королем. Он хотел просить у короля свободы действия для борьбы против безумных эксцессов крайне реакционной партии, явно подрывавших всякое доверие к династии. Он закончил свою речь внушительным ультиматумом: если его величество откажет министерству в своей полной поддержке «против всех», против кого это понадобится, то он, Талейран, подает в отставку. И вдруг король на это дал неожиданный ответ: «Хорошо, я назначу другое министерство». Случилось это 24 сентября 1815 г., и на этом оборвалась служебная карьера князя Талейрана на пятнадцать лет.

4

Конечно, эта решимость короля удалить в отставку Талейрана диктовалась и желанием русского царя. Если бы можно было еще чем-либо усилить в Александре то презрение и недоверие, которое он всегда питал к Талейрану

(и именно с первых же времен, когда «Анна Ивановна» поступила к нему на платную шпионскую службу), то, конечно, это чувство еще более усилилось после комедиантских выходов Талейрана на Венском конгрессе, когда маститый дипломат разыграл перед ним (без всякого успеха) сцену отчаяния по поводу Польши. А когда Наполеон во время Ста дней немедленно переслал Александру найденный им в кабинете поспешно бежавшего Людовика XVIII секретный договор 3 января 1815 г. Талейрана, Меттерниха и Каслри против России, то царь повел себя после этого при встречах с Талейраном так, что Талейрану должно было стать вполне очевидно: больше никакой благосклонности от Александра и ни одного рубля от Российской империи ему уже не видать. Русский посол в Париже Поццоди Борго, теперь уже совершенно разочаровавшийся в «конституционности» князя, делал все от себя зависящее, чтобы ускорить отставку кабинета Талейрана. Эта отставка была вызвана прежде всего, конечно, усилившейся после Ста дней и после нового возвращения в Париж Людовика XVIII роялистской реакцией. Долго сдерживаемая стародавняя ненависть роялистов (особенно эмигрантов) против расстриги, предателя, убийцы герцога Энгиенского сдерживалась еще в 1814 г., но теперь Талейран был им уже не нужен, и известие, что Александр от него отвернулся, разумеется, ускорило его отставку.

Сэр Генри Литтон-Бульвер, много важных фактов узнавший из личных бесед с руководящими британскими дипломатами и участниками событий 1814—1815 и следующих годов, утверждает даже, что отставка Талейрана была вызвана прямым вмешательством и чуть ли не угрозами русского императора: «...император Александр, который никогда не простил г. Талейрану его поведения на недавнем конгрессе, теперь не скрывал своей личной антипа-

тии к нему и сказал Людовику XVIII, что королю нечего ждать от петербургского кабинета, пока Талейран остается во главе кабинета тюильрийского, но что если его величество отдаст пост г. Талейрана герцогу Ришелье, то он, император, сделает все, что может, чтобы смягчить суровость условий, на которых теперь все союзники решительно настаивали»⁹. Дело было после Ватерлоо, после новой оккупации Парижа и части страны, после свирепых заявлений Блюхера и других представителей прусской армии о расправе со вторично побежденной страной. Спорить с Александром не приходилось, даже если бы Людовик сам хотел оставить у власти Талейрана, а этого желания у него не было и в помине.

Генерал граф Рошешуар, близкий человек и императору Александру и герцогу Ришелье, бывший в самом центре событий в 1815 г., вносит все уточнения в историю отставки Талейрана: «Большая туча поднялась между императором Александром и князем Талейраном. Я в то время не узнал об этом разногласии, которое повлекло за собой падение министерства Талейрана... Вот что произошло: император Александр открыл, что во время работ Венского конгресса князь Талейран предложил князю Меттерниху план секретного договора...» Дальше, изложив историю и содержание известного нам секретного договора 3 января 1815 г., так неожиданно ставшего известным Александру, Рошешуар говорит, что Александр не скрывал своего неудовольствия при мысли, что «этот же самый дипломат будет в качестве председателя совета министров направлять политику Франции»¹⁰.

Рошешуар должен был бы только добавить, что не только перед битвой при Ватерлоо, но и в самое первое время после этого события (пока войска союзников не оккупировали прочно побежденную страну) Александр еще счи-

тал присутствие Талейрана и даже Фуше в правительстве необходимым злом, с которым до поры до времени приходится мириться. Но теперь, через два с половиной месяца, можно было обойтись без обоих.

Царь отшвырнул прочь уже бесполезного для него Талейрана. Другого дипломата, подписавшего договор 3 января, австрийского канцлера Меттерниха, он «простил», потому что взаимная страховка абсолютизма России, Австрии и Пруссии против революции показалась ему нужной на том пути, по которому он с 1815 г. пошел, впредь уже не делая даже и вида, что хочет от него уклониться в сторону.

24 сентября 1815 г. Талейран вышел в отставку, а через два дня, 26 сентября, Александр, Франц I, император австрийский, и Фридрих Вильгельм III, король прусский, подписали (инициатива принадлежала Александру) акт о Священном союзе... Мы знаем, как высказывались классики марксизма о жандармской роли, навязанной России царизмом, как отзывалась об этой роли вся революционная общественность Европы и России впоследствии.

Вот как характеризует политику Александра в описываемый момент Герцен в своем знаменитом «С того берега»: «Наполеон поднял против себя целый народ (русский), который решительно схватился за оружие, перешел за ним следом в Европу и взял Париж. Судьба этой части света была несколько месяцев в руках императора Александра, но он не сумел воспользоваться ни своей победой, ни своим положением. Он поставил Россию под то же знамя, что и Австрию, точно у этой гнилой и умирающей империи было что-нибудь общее с молодым государством, которое только что явило себя во всем своем великолепии; точно самый энергичный представитель славянского мира мог иметь те же интересы, что и самый ярый угнетатель сла-

вян». Так квалифицировал Герцен роль Александра, конечно, по своему обыкновению, преувеличивая решающее значение воли отдельной личности в истории, как бы ни была эта личность могущественна, и игнорируя общие классовые социально-политические интересы, связывавшие австрийскую реакцию с русской.

Начинались времена Священного союза, времена меттерниховщины в Европе, аракчеевщины, Рунича и Магницкого и юродствующего Фотия в России, ультрароялистских неистовств во Франции. Но эта мировая реакция раньше всего стала наталкиваться на организованный отпор со стороны прогрессивных сил буржуазии, а затем и рабочих именно во Франции.

Вглядимся теперь в то, как отражались на политическом поведении отставного министра Талейрана, члена верхней палаты (палаты пэров), зигзаги французской политики в долгие пятнадцать лет, когда он был не у дел.

ГЛАВА VII

Талейран в отставке

24 сентября 1815 г. — 6 сентября 1830 г.

1

Для отставленного так внезапно министра это было полнейшей неожиданностью, вопреки всему тому, что он пишет в своих мемуарах, придавая своей отставке вид какого-то добровольного патриотического подвига и связывая ее ни с того ни с сего с отношениями Франции к ее победителям. Дело было не в том, и Талейран лучше всех, конечно, понял, в чем корень событий. Людовик XVIII, старый, больной, неподвижный подагрик, хотел только одного: не отправляться в третий раз в изгнание, умереть спокойно королем и в королевском дворце. Он был настолько осторожен, что понимал правильность воззрений Талейрана и опасность для династии белого террора и безумных криков и актов ультрареакционной партии. Но он должен был считаться с этой партией хоть настолько, чтобы не раздражать ее такими сотрудниками, как Фуше или Талейран.

Нужна была талейрановская политика, но делаемая не руками Талейрана. Талейран не хотел замечать, что его-то

самого еще больше ненавидят, чем Фуше, что большинство ультрароялистов (да и большинство во всех других партиях) охотно повторяет слова Жозефа де Местра: «Из этих двух людей Талейран более преступен, чем Фуше». Если Фуше был излишним балластом для Талейрана, то сам Талейран был излишним балластом для короля Людовика XVIII. Вот почему не успел еще Фуше выехать в Дрезден, как удаливший его Талейран сам оказался выброшенным за борт. При отставке он получил придворное звание великого камергера с жалованьем в сто тысяч франков золотом в год и с «обязанностью» заниматься чем угодно и жить там, где ему заблагорассудится. Он, впрочем, и при Наполеоне имел это самое звание (наряду со всеми другими своими званиями и титулами), и при Наполеоне обязанности эти были столь же мало обременительны, а оплачивались еще более щедро. Он оставался, конечно, и пожизненным членом палаты пэров.

Освободившись от министерства, Талейран занялся давно обдуманной им операцией, о которой до последних лет, — точнее, до 15 декабря 1933 г., когда некоторые секретные документы были во Франции опубликованы, — никто не знал.

12 января 1817 г. Талейран, окончательно удостоверившись, что удален от участия в правительстве надолго, решил затеять выгодную продажу одного ценного товара и написал Меттерниху письмо. Со спокойной и величавой миной, которой он никогда не утрачивал, Талейран откровенно сообщает о себе, что он тайком «унес» (*emporté*) из государственных архивов (сектор министерства иностранных дел) громадную массу документов из корреспонденции Наполеона. И хотя Англия и Россия, да и Пруссия, очень много дали бы, даже пятьсот тысяч франков, но он, Талейран, во имя старой и теплой дружбы к канцлеру Мет-

терниху, желает продать эти украденные им документы только Австрии и никому другому. Так вот: не угодно ли купить? Он сообщает при этом, что украл не только переписку Наполеона с ним, Талейраном, начиная с египетской экспедиции и кончая 1807 г., но и переписку императора с преемниками Талейрана по министерству иностранных дел: герцогом де Кадором (Шампаньи) с 1807 по 1811 г. и с герцогом Бассано (Марэ) с 1811 по 1813 г. Все это — с собственноручными подписями Наполеона, в оригинале. Так выхваляет Талейран свой удачно выкраденный из архивов товар. Меттерних сейчас же откликнулся, тем более что Талейран дал понять, что среди продаваемых документов есть кое-что австрийского императора компрометирующее, и, купив документы, австрийское правительство — так советует Талейран — смогло бы или похоронить их в глубине своих архивов, или даже уничтожить. Сделка состоялась, и Талейран продал за полмиллиона эти украденные им лично архивные документы. Украл он их заблаговременно, в 1814 и 1815 гг., когда мимолетно дважды побывал во главе правительства.

Цена, правда, была немалая: полмиллиона франков. Да и сверх того, понимая вполне ясно, что если он на этот раз попадетсЯ, то подлежит по всем законам суду за государственную измену, осложненную воровством, Талейран предусмотрительно требует от своего покупателя князя Меттерниха, чтобы в случае каких-либо неприятностей (по части уголовного преследования) Австрия предоставила ему, Талейрану, и его семье убежище «в Вене или какой-либо другой части австрийских владений, если бы обстоятельства потребовали... его удаления из Франции». Меттерних пошел на все эти условия, и с соблюдением всех нужных предосторожностей и строжайшей конспирации документы (832 номера) оказались в Вене у Меттерниха, а

500 тысяч франков золотом очутились в Париже у Талейрана. Это ничего не значит, что Талейран крайне бесстыдно обманул Меттерниха, ибо из проданных 832 документов только 73 оказались в самом деле оригиналами, подписанными Наполеоном, а все остальные простыми служебными копиями, и притом не очень интересными. Издатель «Mélanges» Лакур-Гайе, напечатавший всю документацию об этой воровской сделке, замечает, что вовсе не надо представлять себе дело так, будто Меттерних стал при этой покупке жертвой «ловкого мошенника»: «Канцлер не был дураком, который покупает kota в мешке, а князь Талейран не был таким мошенником, который обманывает насчет качества товара. Он торговал, но как честный торговец... Один продавал документы, «драгоценные и часто компрометирующие», а другой заведомо покупал «именно их»¹. Тонко ввернув в своем письме шантажный намек, Талейран заставил своего корреспондента сразу согласиться на эту покупку, и среди малоинтересной служебной архивной трухи Меттерних получил все-таки за свои деньги нужные ему неприятные для Австрии документы. Сообщники прекрасно друг друга понимали, ведь они не первый день работали вместе.

Может быть, эта догадка Лакур-Гайе и произвольна. Но если бы его гипотеза была и неверна, то ведь австрийский канцлер все равно был лишен возможности как-нибудь реагировать на поступок Талейрана, который, лишь получив деньги, отдал документы в австрийское посольство в Париже. Меттерних согласился на все и все уплатил сполна. А уже потом, когда все это краденое добро было вывезено из Франции (под видом не подлежащих осмотру австрийских посольских бумаг) и прибыло в Вену, австрийский канцлер мог убедиться, что продавец и его тоже отчасти обманул; что многие документы оказались, как сказано,

вовсе не подлинниками, а копиями, без подписи Наполеона. Но в таких деликатных случаях кому же будешь жаловаться? Укрыватель и скупщик всегда рискует пострадать, если вор и сбытчик склонен к лукавству. На том дело и кончилось. Во всяком случае, дальнейшие отношения Меттерниха к Талейрану отмечены большой сухостью. Но за сердечностью отношений с кем бы то ни было маститый князь Беневентский никогда и не гнался.

2

Талейран, — так казалось на первых порах, — удалился на спокойное житье в отставку. Громадное богатство, великолепный замок в Валансэ, великолепный дворец в Париже, царственная роскошь жизни — вот что ждало его на закате дней. Безделье не очень тяготило его. Он и никогда вообще не любил работы. Он давал руководящие указания своим подчиненным в министерстве, своим послам, наконец, своим министрам, когда был первым министром. Он давал советы государям, которым служил, — Наполеону, Людовику XVIII; делал это в интимных разговорах с глазу на глаз. Он вел свои дипломатические переговоры и интриги иной раз за обеденным столом, иной раз на балу, иной раз в перерыве карточной игры; он достигал главных результатов именно при разных обстоятельствах той светской, полной развлечений жизни, которую всегда вел.

Но работа терпкая, ежедневная, чиновничья была ему неведома и не нужна, — для этого существовал штат опытных подчиненных ему сановников и чиновников, секретарей и директоров. Теперь, в отставке, так же как и в годы своей опалы при Наполеоне, он внимательно наблюдал за политической шахматной доской и за ходами партнеров,

сам же до поры до времени не принимал участия в игре. И он видел, что Бурбоны продолжают подкапывать свое положение, что единственный между ними человек поосторожнее, Людовик XVIII, изнемогает в своей безуспешной борьбе против крайних реакционеров, что когда король умрет, на престол попадет легкомысленный старик Карл д'Артуа, который не только не станет противиться планам восстановления старого режима, но и сам охотно возьмет на себя инициативу, потому что у него не хватит ума понять страшную опасность этой безнадёжной игры, этого нелепого и невозможного поворачивания истории вспять, не хватит даже того инстинкта самосохранения, который один только и мешал его старшему брату, Людовику XVIII, вполне примкнуть к ультрароялистам.

Отойдя временно от активной политики, Талейран засел за мемуары. Он написал пять томов (имеющихся в сокращенном русском переводе). С чисто биографической стороны, в точном смысле слова, эти пять томов особого интереса для нас не представляют. Скажем здесь лишь несколько слов об этом произведении Талейрана.

Мемуары буржуазных деятелей, игравших первостепенную роль, редко бывают сколько-нибудь правдивы. Это весьма понятно: автор, знающий свою историческую ответственность, стремится построить свой рассказ так, чтобы мотивировка его собственных поступков была по возможности возвышенной, а там, где их никак нельзя истолковать в пользу автора, можно постараться и вовсе отречься от соучастия в них. Словом, о многих мемуаристах этого типа можно повторить то, что Анри Рошфор в свое время сказал по поводу воспоминаний первого министра конца Второй империи, Эмиля Оливье: «Оливье лжет так, как если бы он до сих пор все еще был первым министром». Лучшим из новейших образчиков такого рода литературы

могут послужить девять томов воспоминаний покойного Пуанкаре (готовилось еще десятка полтора, судя по принятому масштабу и по известному трудолюбию автора). Все девять томов Пуанкаре — почти сплошное, по существу, повторение патриотической казенщины, печатавшейся в эпоху нескольких его министерств и его президентуры.

Мемуары Талейрана имеют некоторое преимущество. Во-первых, в том, что они, — хотя, правда, после первоначальных явственных колебаний, — предназначались лишь для потомства, и ни в коем случае не должны были появиться при жизни автора (они впервые вышли в 1891 г., т.е. спустя пятьдесят три года после смерти Талейрана). Во-вторых, как я уже отмечал, Талейран понимал, что, действуя на мировой арене, оказав несколько раз громадное влияние на ход дел в самые решающие исторические моменты, проявляя всегда абсолютную беззастенчивость и не пытаясь даже оправдываться почти ни в чем впоследствии, — он и не может рассчитывать, что ему будут очень верить в его мемуарах. Поэтому он избрал такой метод. Он прежде всего загромоздил свои мемуары перепечаткою официальных документов или служебных и полуслужебных донесений, которые составлял за время своей активной политической жизни, а затем просто обошел молчанием все те случаи, где лгать было бы совсем бесцельно вследствие слишком уж большой известности и твердой установленности бесспорных фактов. Конечно, по этой причине мемуары должны были неминуемо очень много потерять в своем внешнем интересе. В самом деле: вспомним, кого только не видел, с кем только не имел дела этот человек! «Он говорил о себе самом, что он — великий поэт, и что он создал трилогию из трех династий: первый акт — империя Бонапарта, второй акт — дом Бурбонов, третий акт — Орлеанский дом. Он сделал все это в своем дворце, и, как паук в

своей паутине, он последовательно привлекал в этот дворец и забирал героев, мыслителей, великих людей, завоевателей, королей, принцев, императоров, Бонапарта, Сиейеса, госпожу Сталь, Шатобриана, Бенжамена Констана, Александра российского, Фридриха Вильгельма прусского, Франца австрийского, Людовика XVIII, Луи-Филиппа и всех золотых и блестящих мух, которые жужжат в истории последних сорока лет» — так писал о нем Виктор Гюго через несколько дней после его смерти. Талейран сравнительно мало говорит о них всех, — значительно меньше, чем мог бы сказать.

И при всех этих недостатках воспоминания его — не бесполезная часть того мемуарного фонда исторической литературы, который желательно иметь интересующемуся историей человеку.

Именно потому, что Талейран об очень многом умалчал, мы можем с несколько бóльшим доверием отнестись к тому, о чем он говорит. Ведь он умалчивал о таких событиях, о которых заведомо до него знали все на свете, и потому своим умалчиванием не стремился их «скрыть», а просто давал понять, что не хочет о них распространяться. Говорил же он лишь о том, о чем, по его мнению, еще можно спорить, что еще можно пытаться осветить в благоприятном для него свете, и что, быть может, в глубине души он считал несколько не зазорным для своей чести.

Талейран в своем завещании сделал полной распорядительницей всех своих бумаг свою племянницу, герцогиню Дино, причем обусловил, чтобы его мемуары были опубликованы не раньше, чем спустя тридцать лет после его смерти. После смерти герцогини Дино бумаги перешли, по ее завещанию, к Бакуру, который и принялся готовить их к печати. Умирая, он завещал эти бумаги двум светским дилетантам, к которым присоединился впослед-

ствии и академик герцог Бройль, известный лидер французских легитимистов и министр в начале Третьей республики. Бройль и приготовил окончательно к печати эти мемуары, первый том которых появился в Париже в феврале, второй и третий — в июне, а четвертый и пятый — в октябре 1891 г.

Теперь уже может считаться вполне установленным, что все свои воспоминания, относящиеся ко времени от первых лет своей жизни вплоть до своей отставки в сентябре 1815 г., Талейран написал в эпоху Реставрации, и едва ли не больше всего именно в первые годы Реставрации. Затем в мемуарах следует глубокий провал, ровно ничего не говорится о годах отставки, и затем — непосредственный переход к Июльской революции 1830 г. и к последней фазе активной деятельности Талейрана — к его пребыванию в качестве посла Луи-Филиппа в Лондоне в 1830—1834 гг. Эта часть написана, очевидно, в 1835—1837 гг., так как в 1838 г. он часто болел и уже не мог работать.

Что касается первой части, то на ней очень явственно отразилось время, когда Талейран писал ее. Он принимает тон человека, всегда в душе скорбевшего об ошибках и злоключениях «законной» династии Бурбонов, тон умеренно-либерального аристократа, который лишь скрепя сердце, — чтобы по мере сил спасти отечество, — стал служить и Учредительному собранию, и Законодательному собранию, и Директории, и Наполеону, личное же его предпочтение было (хочет он внушить читателю) всегда на стороне Бурбонов. С этой нотой вполне гармонируют и две другие, также очень слышные в первой части мемуаров: Талейран с удовольствием останавливается на старорежимных бытовых подробностях, которые помнит с детства, предается горделивым размышлениям о том, что невозможно неаристократу играть ту же роль, быть так же поставленным в

глазах населения, как поставлены люди старинных дворянских родов; с другой стороны, он настойчиво обращает внимание читателя на то, как он до революции отстаивал права и преимущества церкви, споря против светской власти, желавшей наложить на церковь более тяжелые поборы. Ясно, что он, думая о читателях 1815—1816 и следующих годов, имел в виду прикинуться совсем их человеком, со всеми дворянскими и даже отчасти клерикальными симпатиями, свойственными тогдашней торжествовавшей реакции. Мы можем по некоторым признакам судить, что он не сразу отказался от мысли печатать свои мемуары еще при жизни. Ясно, что некоторое время он думал о том читателе, который задавал тон при Реставрации, и именно в первые ее годы.

Это у него отразилось не только на заведомо лживой оценке собственной роли и мотивов своих действий при революции и империи, но и на умышленном почти полном умолчании о самых важных событиях (вроде секвестра, по его предложению, всех земельных имуществ церкви в 1789 г. и т.д.). Посвящая особую главу свиданию императоров Наполеона и Александра в Эрфурте, он только беглым и глухим намеком говорит о своих изменнических деяниях в тот момент. Поминая мельком о казни герцога Энгиенского, он внушает читателю мысль о полнейшей своей моральной непричастности к этому событию. Говоря о 1814—1815 гг., он представляет дело так, что, кроме как о спасении отечества, он ни о чем не думал. И чтобы окончательно замаскировать перед читателем свою инициативную роль в расстреле герцога Энгиенского, он не забывает (правда, ни к селу ни к городу) прибавить, что именно принц Конде (т.е. отец расстрелянного герцога Энгиенского) поздравлял его с результатами Венского конгресса. Он забывает прибавить, что это поздравление было им по-

лучено значительно позже, и именно после того, как он бесстыдно обманул принца Конде и этой беззастенчивой ложью оправдался в его глазах.

Впрочем, читатель, ознакомившись с моей характеристикой Талейрана и с бесспорными фактами, которые я привожу, без труда разберется в причинах, почему автор мемуаров о многом предпочитает вовсе не говорить, а о многом говорит не то и не так, как было.

И тем не менее без этих мемуаров не всегда может обойтись историк Франции конца старого режима, революции, империи, Реставрации, Июльской революции, монархии Луи-Филиппа; пригодятся они и историку европейской дипломатии в этот период. Они содержат порой важные детали, тонкие замечания и оценки как лиц, так и событий. В этих томах выгодно сказывается отмеченная мной характерная черта Талейрана: отсутствие мстительности, происходящее, правда, не от благодушия, но от способности и склонности не столько ненавидеть, сколько презирать людей и пользоваться ими для личных целей.

Его мемуары не носят характера боевого памфлета, написанного для посрамления врагов и наказания обидчиков, как аналогичные книги Тирпица, или Клемансо, или леди Асквит, или графа Витте, или фальсифицированные мемуары Бурьенна или Бисмарка. Напротив, к тем, кто умер или уже не может ему помешать, он относится со спокойствием и равнодушием, которые вообще были ему свойственны. Наконец, в его мемуарах есть неуловимая, но очень важная черта, которая свойственна только тем, кому пришлось самим быть главными актерами исторической драмы: Талейран как-то интимно, — можно было бы сказать, фамильярно, — рассказывает о великих исторических событиях, реальное сцепление фактов иной раз само собою выявляется под его пером. Этому отчасти способствует даже та небрежность, та

скудость на самостоятельный труд, которые тоже были всегда очень заметны в этом человеке. «Не слишком усердствуйте», — учил он молодых дипломатов. «Тот, кто придал бы его величеству императору Наполеону немножко лени (*un peu de paresse*), был бы благодетелем человечества», — говорил со вздохом Талейран в годы самого расцвета «великой империи». Талейран полагал, что иногда не спешить, уметь выждать, не очень вмешиваться, вообще поменьше работать — единственно полезная для дипломата тактика. Он и в мемуарах своих скуп на работу. Он явно почти не обрабатывал этих набросков и стремился быть как можно лаконичнее и поскорее перейти к «бумагам за номером», за которыми, очевидно, по его мнению, можно и от потомства укрыться как-то надежнее.

Для предлагаемого анализа жизни и деятельности Талейрана я, конечно, лишь в самой малой степени использовал эти пять томов мемуаров. Для читателя несравненно интереснее не то, о чем говорит Талейран, но то, о чем он совершенно умалчивает, — и я основал свою работу сплошь на совсем другого рода источниках. Я старался при этом из необъятной массы фактов выбрать и проанализировать лишь те, которые считал наиболее характерными и показательными.

Но писание мемуаров не очень князя развлекало. Он еще вовсе не хотел сдавать себя в архив.

3

Талейран в первые годы Реставрации, конечно, хотел вернуться к власти, брюзжал, ругал — и даже публично — министров, за что однажды в виде наказания был «лишен двора», т.е. ему было воспрещено появляться в Тюильри

(несмотря на сан великого камергера). Он иронизировал над глупостью и бездарностью правящих лиц, острил, составлял эпиграммы. Он давал понять, где нужно, что он незаменим. Но его не взяли. Судя по разным признакам, он уже тогда полагал, что час падения Бурбонов не весьма далек. Он их никогда не только не любил (он никого не любил), но и не уважал, как он, например, уважал Наполеона, и он видел, что Бурбоны и их приверженцы стремятся к цели, по-своему ничуть не менее фантастической, чем «всемирная монархия» их грозного предшественника на престоле Франции.

Талейран отчетливо сознавал, что дворянство, как класс, ранено насмерть еще Великой буржуазной революцией и не только уже никогда не воскреснет, но заразит трупным ядом самую династию.

Талейран очень скоро уже показал королю, что он отнюдь не намерен развлекать свою старость только писанием мемуаров. Не назначить его членом палаты пэров Людовик XVIII никак не мог, — а назначив, уж и вовсе не мог от него отвязаться, ибо должность члена верхней палаты была пожизненной.

Убедившись, что он самым неприятным образом промахнулся и что король Людовик XVIII довольно ловко воспользовался этим промахом, чтобы отделаться от давно беспокоившей его и всегда ему антипатичной личности своего новоявленного «друга и верноподданного», Талейран начал терпеливо ткать новую паутину интриг против «неблагодарных» Бурбонов.

Вот что писал русский посол Поццо ди Борго из Парижа в Петербург: «Г-н де Талейран, взяв себе за правило с горечью фрондировать против всего, что тут делается, вызвал против себя, как и следовало ожидать, равным образом неприятные возражения. В том положении, в каком

он находится, его оппозиция, основательная или несправедливая, всегда объясняется его честолюбием или коварными планами, когда на самом деле это только легкомыслие, сарказм и раздраженное самолюбие. Интриганы всякого рода, окружающие его, стараются его скомпрометировать и, потеряв почву в Париже, они избрали своей ареной Лондон, где им удалось установить публичную корреспонденцию, публикуемую через газеты. Эта корреспонденция состоит из документов, сфабрикованных из неверно передаваемых разговоров и зложелательной критики против короля и его семьи. Г-н де Талейран там изображается как преследуемый мудрец, отсутствие которого в составе министерства порождает все недостатки, против которых они протестуют...» Эта работа направляется и «против нашего [русского] двора, причем порицают «почтение» французского правительства по отношению к России и стремятся повредить влиянию России на французские дела». Поццо ди Борго явно побаивается, как бы теперь, в 1816 г., Талейран не пустил в ход «либеральные» разговоры, которые Александр с ним имел в марте—апреле—мае 1814 г.² Судя по нескольким завуалированным строкам Поццо ди Борго, Талейран и его друзья пропагандируют идею, будто король отстаивал Талейрана за верное следование князя «либеральным» советам царя. А теперь, в 1816 г., после образования Священного союза, уж очень много воды утекло с весны 1814 г., когда эти либеральные разговоры велись, и обо многом царю вспоминать уже не хотелось.

Что «либеральные» и «конституционные» тенденции царя в области французской (но никак не русской) внутренней политики диктовались исключительно опасением возможности новой революции во Франции и ничем иным, — это Талейран понимал, конечно, очень давно и очень хорошо. Ему для этого даже не потребовалось до-

ждаться разгула аракчеевщины, военных поселений, голицынского мракобесия, расцвета Священного союза, поведения царя в Троппау, в Лайбахе и в Вероне.

Хотя Талейран был отныне, с 24 сентября 1815 г., в отставке, которая оказалась продолжительной и длилась пятнадцать лет, вплоть до Июльской революции 1830 г., но все-таки король и двор, ненавидевшие его, продолжали его бояться и, по-видимому, далеко не сразу сами сообразили, что для них лично окажется возможным уже никогда больше не быть вынужденными прибегать к его услугам. Боялись его холодной злобы, его беспощадного языка, его зловещих пророчеств.

«Князь Талейран возвратился в Валансэ перед окончанием празднеств по случаю свадьбы [герцога Беррийского]. Король и принцы вели себя по отношению к нему так, чтобы не дать ему никакого предлога к жалобам. Хотя этот человек показывает вид, что ушел от дел, он еще будет некоторое время не совсем безразличен (*ne sera pas encore de quelque temps tout-à-fait indifférent en France*). Самое лучшее средство притупить его критику заключалось бы в том, чтобы не оправдывать эту критику своими ошибками. Таков аргумент, который я чаще всего пускаю в ход относительно тех, кто боится и кто поддается его интригам только вследствие собственных неосторожностей»³. Так доносил русский посол в Париже Поццо ди Борго летом 1816 г.

4

Вражда Талейрана к королю и его министрам, кто бы они ни были и какую бы политику ни проводили, не знала предела. В палаты вносится (в 1817 г.) закон, несколько понижающий ценз активного избирательного права: вотиро-

вать имеет право отныне гражданин, платящий 300 франков прямого налога в год. Крайние реакционеры поднимают бурную агитацию, им этот закон кажется субверсивным, революционным, разрушающим монархию. И Талейран, член палаты пэров, зная, что тупая, непримиримая аристократическая реакция губит монархию, становится во главе этой реакционной клики, лишь бы провалить министерство. Русский посол Поццо ди Борго, понимая, какую комедию играет Талейран и зачем он ее играет, доносит графу Нессельроде и царю: «Все эти элементы интриги дали г. Талейрану надежду одержать успех. Он притворился, что становится на сторону предполагаемых интересов дворянства, что он разделяет опасения принцев (родни короля. — *Е. Т.*), и он объявил себя ревностным защитником легитимности, которую может поставить в опасное положение дурной выбор депутатов... В этом качестве он снова появился в палате пэров, окруженный гг. Полиньяком, Матье де Монморанси, Шатобрианом и другими, о которых говорят, что они действуют только согласно желаниям принцев»⁴. Под «принцами» тут понимаются королевский брат Карл д'Артуа и его сыновья (племянники короля: герцоги Ангулемский и Беррийский).

Как активен и деятелен был Талейран, интригуя против короля и правительства, и как тесно он, по-видимому, увязывал свои интриги с английскими внешнеполитическими происками против Ришелье, которого правильно считали ставленником Александра, мы узнаем из одного важного документа. Этот очень ответственный документ был составлен первым министром, герцогом Ришелье, в сентябре 1817 г., в ответ на запрос русского министерства относительно того, насколько безопасно для восстановленной династии Бурбонов вывести из Франции оккупационные войска союзников.

Ришелье дает очень успокоительный ответ, уверяя, что опасности восстания против правительства и династии нет, но не отрицает, что еще совсем недавно ультрароялистские реакционеры внушали беспокойство: «Эта партия, мятежная и бурливая (*factieux et turbulent*), то поддерживала самые абсолютистские доктрины, то спускалась до самой безудержной демократии (*sic!*), лишь бы доставить затруднения государю. Она прибегала ко всем крайностям (*à tous les extrêmes*), к г. Талейрану, г. Каннингу, герцогу Веллингтону, английским газетам, к клевете, к ложной тревоге, — все было пущено в ход, лишь бы произвести смуту»⁵. Во всем длинном отчете герцог Ришелье не упоминает ни одного собственного французского имени, кроме имени Талейрана, когда говорит об английских политических деятелях, интригующих вместе с Талейраном против французского правительства. Это показание Ришелье очень подкрепляет вышеприведенные свидетельства Поццо ди Борго.

Так действует в пользу сторонников абсолютистской реакции Талейран, столько раз высказывавшийся о полной нелепости, губительности и невозможности политики этих самых Полиньяков, графов Блака́ и графов Артуа. А вот какие средства пускает в ход «патриот» Талейран, оправдывавший все свои предательства тем, что он изменял не Франции, а лишь правительствам, политика которых была, по его мнению, вредна национальным интересам; вот о чем пишет в Петербург Поццо ди Борго в дополнительном донесении, помеченном тем же днем 2/14 февраля 1817 г. Министерство Ришелье вело трудную негоциацию о постепенном уходе войск союзников с французской территории. Талейран, делавший все от него зависящее, чтобы привлечь в свой дом герцога Веллингтона, британского представителя в Париже, и войти с ним в самые теплые

отношения, нашел возможность довести до сведения герцога, что управляющий отделом косвенных налогов Барант, говоря об оккупационных войсках союзников, стоявших еще во Франции, выразился о них грубым словом. Это слово не попало в печать, но, узнав в доме Талейрана об этом факте, Веллингтон, распалясь гневом, поднял большой шум, требовал удовлетворения, и перепуганный Ришелье уже готов был уволить Баранта и т.д. Благодаря вмешательству русского посла дело уладилось, Веллингтон успокоился, так что Талейрану не удалось вызвать международный инцидент: разрушены были «все надежды, которые были возбуждены интригами г. Талейрана среди его сторонников», — добавляет Поццо ди Борго⁶.

Действия Талейрана приобрели наконец такой вызывающий характер, что Людовик XVIII запретил ему являться при дворе, но все-таки не посмел лишить его при этом звания «великого камергера королевского двора». Это курьезнейшее «наказание», обличавшее страх короля и министерства перед дальнейшими действиями многоопытного великого камергера, было очень скоро (в феврале 1817 г.) снято «по просьбе герцога Ришелье», как сообщает Поццо ди Борго⁷. Конечно, в этом «великодушии» играли роль опасения будущих интриг Талейрана. Ришелье знал, как его не терпит Талейран, как он распускает слухи о том, что Александр сначала дал Ришелье в управление Новороссию и Крым, а потом Францию, причем Талейран острил, что главное право герцога Ришелье на управление Францией заключается в том, что из всех французов он лучше всех знает Крым.

Соответствующая благодарность за королевскую «милость» последовала довольно скоро. «Я уже известил ваше превосходительство, что герцог Ришелье по чувству деликатности склонил короля позволить князю Талейрану снова явиться при дворе и отправлять обязанности великого

камергера. Последствием этой снисходительности была новая интрига», — сообщает с сокрушением русский посол графу Нессельроде⁸.

«Интрига», собственно, в данном случае не заслуживала столь громкого наименования. Говоря старинным простодушным слогом русских приказных, поступок Талейрана был на этот раз лишь «подвохом и ехидством». Талейран просил Людовика XVIII (минуя министерство — как первого министра Ришелье, так и хранителя печати Паскье), чтобы тот дал ему титул герцога Валансэ по названию его великолепного дворца в Валансэ. Король, принимая во внимание все уже имевшиеся гораздо более пышные титулы — «князя Беневентского» и «князя Талейрана-Перигора» и т.д., не подумав, взял да и подписал подsunутую Талейраном бумагу. Министерство, узнав об этой проделке, пришло в смятение: ведь Талейран, в свое время, по приказу Наполеона именно у себя в Валансэ держал в качестве пленников часть испанской королевской семьи, коварно арестованной императором в Байонне в 1808 г.! Выходило, что Людовик XVIII задним числом как бы одобряет этот поступок Наполеона с испанскими Бурбонами!

Хранитель печати Паскье, к которому явился Талейран с подписанной королем бумагой, бросился к Ришелье, тот — к королю, и Людовик XVIII, сообразив, на какой громкий политический скандал подталкивает его Талейран, взял сейчас же назад свое согласие: ведь в этом, 1817, году на престоле Испании сидел именно Фердинанд VII, для которого замок Валансэ в 1808 г. был тюрьмой.

Эта притушенная в самом зародыше история с «герцогством Валансэ» по-своему знаменательна. Отныне оппозиция Талейрана приобретает уже не реакционный, как это было еще в 1816 г. и в самом начале 1817 г. и изредка также в 1818—1819 гг., характер, но «либеральный». Талейран начи-

нает понемногу вспоминать о своей деятельности при революции и при случае похваливать «великого императора».

Борьба Талейрана в 1817—1819 гг. против «либеральных» министерств — сначала Ришелье, потом Деказа — была прямым продолжением той тактики, которую он обнаружил в своем письме к Александру в июне 1814 г.: он желал тогда, вопреки основному и правильному своему взгляду на гибельность ультрароялистских вожделений, подладиться (с целью удержаться у власти) именно к ультраароялистам и отстранить «конституционное» влияние Александра. Затем, когда ультраароялисты, ненавидевшие его за прошлое, удалили его в отставку, он, назначенный членом палаты пэров, стал все-таки снова маневрировать с целью сблизиться с ними на почве борьбы против Ришелье и Деказа, чтобы хотя таким путем вернуться к власти. Но вот наступает 1820 год, происходит убийство герцога Беррийского, уходят «либеральные» министры, и начинается безудержная реакция. Тут уж и не Талейрану становится вполне ясно, что тот отпор, который либеральная буржуазия твердо решила дать дворянско-абсолютистским тенденциям, будет расти из года в год и непременно окончится либо переходом династии на позиции буржуазной, конституционной монархии, либо новой революцией. Безнадежная политическая слепота, тупость и вместе с тем слабость реакции становятся вполне очевидными и с каждым годом все яснее.

5

И тут Талейран решил снова и круто сманеврировать налево, к либералам, окончательно и уж на этот раз бесповоротно порвав с реакцией, которой он только что мимолетно по чисто личным (и ошибочным) карьеристским

соображениям служил. В 1821-м, а затем в 1822 г. он произносит в палате пэров речи в защиту свободы печати (против реакционных проектов правительства о цензуре); в 1823 г. борется против реакционно-клерикальной авантюры — посылки французской военной экспедиции в Испанию с целью подавления испанских революционеров и восстановления абсолютизма Фердинанда VII.

Эта линия политического поведения все более и более сближает его с молодыми лидерами буржуазного либерализма, с Тьером, с Минье и со старым вождем либеральных доктринеров Ройе-Колларом.

Выступления его в палате пэров были очень редки, но производили впечатление. Речь Талейрана против затеянной ультрароялистами и иезуитами французской вооруженной интервенции в Испании в 1823 г. очень ему удалась. Либералы восхваляли ее, а такой тонкий литературный ценитель, как Стендаль, написал о ней восторженный отзыв для одного лондонского журнала, где он сотрудничал. Стендаль настаивал, что эта речь — не только политическое, но и литературное событие и что общественное мнение признает, что «ничего равного не слышно было со славных дней Мирабо»⁹.

«Г.г. Тьер, Минье, Стапфер, переводчик Гёте, и Каррель, офицер, основали газету «Le National», пока еще довольно плоскую. Они вложили в это все свое небольшое состояние, а г. Талейран дал остальное...

...Старый, умирающий Талейран, которому 73 года, сказал публично, что он призвал Бурбонов в 1814 г., чтобы заключить мир, а что в 1829 г. их должно прогнать, чтобы иметь спокойствие», — писал Стендаль в частном письме в Лондон за полгода до Июльской революции¹⁰.

В эти последние годы Реставрации Талейран, впрочем, охотно сближался не только с либералами и конституцио-

налистами вроде Армана Карреля, Тьера, Ройе-Коллара, Минье, но и с бонапартистами вроде графа Флао (близкого друга королевы Гортензии). Именно в гостях у графа Флао Талейран в 1829 г. сказал крылатое слово о необходимости прогнать Бурбонов, «чтобы иметь спокойствие».

Стендаль вовсе не желал наступления надвигавшейся революции, но ждал ее. И он, всегда интересовавшийся Талейраном и ни малейших иллюзий не делавший себе на его счет, все более и более приковывается мыслью к этому «порочному старцу», который один только мог бы спасти Францию от пугающих последствий глупости и нахальства крайних реакционеров. Как характерны с этой точки зрения иные его корреспонденции в английские журналы в 1825 г., когда реакция во Франции окончательно закусила удила! «Этот ловкий государственный человек (Талейран), который вот уже тридцать лет обнаруживает такое политическое ясновидение, предвидя грядущие судьбы Франции, доказал ультрароялистам в различных мемуарах, что невозможно восстановить старый режим», — пишет Стендаль 1 февраля 1825 г.¹¹. «Старый и хитрый Талейран — наилучшая голова Франции», но «окружающие Карла X ничтожества», сознавая недостаточность своих сил «в присутствии гения Талейрана», не хотят верить ему руководство делами. И почему? «Под смешным предлогом, что он один из самых безнравственных людей во Франции». Все эти аристократы, главари былой эмиграции, бездарные люди, и «если они не позволят руководить собой Талейрану, самому ловкому мошеннику Европы, они только будут нагромождать одну глупость на другую».

Стендаль выражал в эти последние годы перед Июльской революцией мнение многих представителей французской буржуазии.

Что Талейран «мошенник», для Стендаля не подлежит ни малейшему сомнению. Но он и всякого политического деятеля склонен иной раз считать мошенником — даже ничем особенно позорным не проявившего себя Мартиньяка; хотя все-таки Талейрана, конечно, считает хуже. «Мне нужен первый министр, который был бы мошенником и занимательным человеком, как Вальполь или г. Талейран». И отец Люсьена Левена советует своему сыну «быть мошенником», как Талейран¹². Талейран видел, что и «со стороны», «извне» никто Бурбонов не предупредит и не спасет. Полевевший Талейран в эти годы уже иронически-сожалительно говорил о «голове бедного императора Александра», набитой контрреволюционными и мистическими бреднями и запуганной Меттернихом: еще в 1814 г. Александр понимал, что Бурбоны погибнут, если не примирятся с новой Францией, но в двадцатых годах он уже перестал об этом говорить. Любопытно, что в эти годы Реставрации Талейран всегда вспоминал Наполеона со сдержанным почтением и при случае любил делать сопоставления, мало выигрышные для преемников императора. Байроновское чувство к Наполеону, выразившееся в словах: «Затем ли свергнули мы льва, чтоб пред волками преклоняться?» — не находило себе, конечно, никакого отзвука в сухой и ничего общего с романтизмом не имевшей душе Талейрана, но поскольку он думал об историческом имени своем, о своей исторической репутации (он, впрочем, не очень много по сему поводу кручинился), постольку сознавал, что историческое бессмертие обеспечено прежде всего тем, кто связал свою деятельность с деятельностью этого «раздавателя славы», как выразился о Наполеоне русский партизан 1812 г. Денис Давыдов. И князь, составляя как раз в эти годы свои мемуары, особенно настойчиво подчеркивал, что если бы Наполеон не начал вести губитель-

ную для него самого и для Франции необузданно завоевательную политику, то никогда бы он, Талейран, не перестал верой и правдой служить императору.

А в ожидании дальнейшего, со времени смерти Людовика XVIII и восшествия на престол Карла X в 1824 г., князь Талейран начал сходитья с вождями либерально-буржуазной оппозиции — Ройе-Колларом, Тьером, историком Минье. Дело явно шло к катастрофе, и новый король очертя голову устремлялся к пропасти. Талейран, принимая и угощая в своих великолепных дворцах в Париже и в Валансэ вождей буржуазной оппозиции, с которыми считал теперь полезным сблизиться, в то же время бывал и у короля. Но он с Карлом X уж совсем не стеснялся, именно потому, что ждал со дня на день его гибели. «Тот король, которому угрожают, имеет лишь два выбора: трон или эшафот», — сказал однажды Талейрану Карл X, любивший повторять, что только уступки погубили в свое время Людовика XVI. «Вы забываете, государь, третий выход: почтовую карету», — заметил Талейран, который, предвидя, что Бурбоны вскоре перестанут царствовать, охотно допускал, что на этот раз дело обойдется без гильотины, а кончится лишь изгнанием династии.

Как сказано, с 1829 г. Талейран начал сближаться и с герцогом Луи-Филиппом Орлеанским, кандидатом на престол, потому что установления республики буржуазный класс в его целом, так же как особенно деревенская его часть — собственническое крестьянство, определенно боялись и не хотели. 8 августа 1829 г. Карл X назначил первым министром Жюля Полиньяка, который никогда и не скрывал, что стремится к восстановлению всей полноты королевской власти, как к первому шагу по пути нужных «реформ» в государстве. Другими словами, следовало ждать нападения на конституцию, государствен-

ного переворота с целью в дальнейшем воскрешения феодально-абсолютистского строя.

Талейран твердо знал, что Карл X погибнет на этой попытке лишить буржуазию и собственническое крестьянство того, что им дала революция. Что рабочему классу революция дала гораздо меньше, а Наполеон и Бурбоны отняли и то, что она дала, и что рабочие теперь впервые после 1—4 прериаля 1795 г. начинают проявлять стремление к активности и непременно поддержат любое восстание, даже если оно начнется не по их инициативе, — этого Талейран не предвидел. Но даже и без этого шансы династии спастись в случае, если будет произведена попытка государственного переворота со стороны короля, были довольно сомнительны. Полиньяк еще менее, чем Карл X, блистал умственными качествами, еще меньше короля понимал, что он шутит с огнем, но отличался эмоциональностью и узколобым реакционным фанатизмом, который повелительно требовал немедленных военных действий против всех, несогласно с ним мыслящих.

Либеральная буржуазия, чувствуя за собой всю силу, твердо решила сопротивляться. В кабинете у Талейрана собрались вожди либералов: Тьер, Минье и Арман Каррель. Дело было в декабре 1829 г. Решено было основать новый, резко оппозиционный орган (знаменитую впоследствии газету «Le National») для последовательной борьбы против Полиньяка и, если понадобится, против династии Бурбонов. На совещаниях этих трех молодых деятелей либеральной буржуазии председательствовал хозяин дома, вельможа старорежимного двора, бывший епископ, присутствовавший и при коронации Людовика XVI, и при коронации Наполеона, и при коронации этого самого Карла X; человек, служивший и старому режиму, и революции, и Наполеону, и опять Бурбонам, посадивший в 1814 г. Бурбонов

на престол во имя «принципа легитимизма». Теперь он готовился способствовать их же свержению во имя принципа революционного сопротивления «легитимному» королю... В его кабинете и при его серьезной финансовой поддержке родился таким образом самый радикальный из органов буржуазной оппозиции, какие только прославились борьбой против Полиньяка и стоявшего за ним короля в эти последние месяцы пребывания Бурбонов на французском престоле. Эти молодые деятели, вроде Тьера, взирали на величавую фигуру семидесятишестилетнего, больного и хромого старика с большим почтением: слишком уж много — как никто из еще живших тогда людей — был он овеян воспоминаниями о величайших исторических событиях, во время которых играл роль и с которыми, так или иначе, навеки соединил свое имя.

Талейран еще до революции был связан довольно сложными отношениями с герцогом Орлеанским (Филиппом Эгалитэ), казненным потом в годы террора. Теперь, в 1829—1830 гг., он очень усердно стал поддерживать отношения с сыном его, Луи-Филиппом, и с сестрой Луи-Филиппа Аделаидой. Он знал, что оппозиционная буржуазия прочит Луи-Филиппа на престол в случае низвержения «старшей линии» Бурбонов, т.е. Карла X (герцоги Орлеанские были «младшей линией» Бурбонов).

Больной, глубокий старик, Талейран не желал сдаваться смерти. Он все еще думал о будущем, о новой карьере, все еще копал яму врагам и расчищал дорогу друзьям; а его друзьями всегда были те, кого исторические силы несли в данный момент на высоту. Его предвидение и на этот раз его не обмануло...

Он был в Париже, в великолепных чертогах своего городского дворца, когда наконец Полиньяк и король решились на свой безумный поступок и издали фактически

уничтожавшие конституцию знаменитые ордонансы 25 июля 1830 г. Революция на другой день уже, 26-го, казалась несомненной; она вспыхнула 27 июля и в три дня снесла прочь престол Карла X. Личный секретарь Талейрана, Кольмаш, был в эти дни при князе. Ежеминутно поступали новые и новые известия о битве между революцией и войсками. Слушая неумолкающий грохот выстрелов, бой барабанов и звуки набата, несшиеся со всех колоколен, Талейран сказал Кольмашу: «Послушайте, бьют в набат! Мы побеждаем!» — «Мы?! Кто такие мы! Кто же именно, князь, побеждает?» — «Тише, ни слова больше: я вам завтра это скажу!»

Этот характерный для Талейрана разговор происходил 28 июля.

На другой день, 29 июля 1830 г., битва кончилась. Революция победила. Династия Бурбонов снова — и на этот раз уже навеки — была низвергнута с французского престола. Она вернулась после того, как ее низвергла революция 10 августа 1792 г., она вернулась после того, как ее низверг 20 марта 1815 г. явившийся с о. Эльбы Наполеон. Но после того как ее низвергла Июльская революция 1830 г., она уже не вернулась никогда.

ГЛАВА VIII

Талейран при июльской монархии.

Посольство в Англии.

Последние годы

6 сентября 1830 г. — 17 мая 1838 г.

1

Еще 29 июля, как раз когда те войска, которые еще не перешли на сторону революции, начали свое отступление из города, Талейран послал записку сестре Луи-Филиппа, герцога Орлеанского, с советом — не терять ни минуты и немедленно встать во главе революции, свергавшей в этот момент старшую линию династии Бурбонов.

Авторитет князя Талейрана как политического пророка, твердо знающего ближайшее политическое будущее, был так колоссален, что именно после этого его совета новый кандидат в короли прибыл в Париж (из Ренси, где он находился). Мало того, когда 31 июля, собравшись в Палатке Рояле, оппозиционные депутаты предложили Луи-Филиппу временное звание «главного наместника королевства», но с тем, чтобы он немедленно объявил о полном своем разрыве с Карлом X и вообще со старшею линиею, Луи-

Филипп заколебался; он уже знал, что Карл X накануне 30 июля отрекся от престола и передал свои права маленькому своему внуку, герцогу Бордоскому (графу Шамбору), а его, Луи-Филиппа, назначает опекуном и тоже «главным наместником». Следовательно, Луи-Филиппу предстояло либо стать «главным наместником» по назначению Карла X и опекуном до совершеннолетия «законного» короля, либо сразу порвать с «легитимной» монархией и принять корону из рук победившей буржуазной революции, потому что «наместничество», принятое не от короля Карла, а от оппозиции, было прямым шагом к восшествию Луи-Филиппа на престол.

В нерешимости перед этим выбором Луи-Филипп заявил депутатам, что даст им ответ, лишь посоветовавшись с Талейраном. Он спешно отрядил к старому князю генерала Себастьяни, чтобы тот спросил у Талейрана: что ему, Луи-Филиппу, делать? Князь сейчас же ответил: «принять», т.е. принять престол из рук победившей революции, отвернуться навсегда от «принципа легитимизма», ловко пользуясь которым этот самый князь Талейран за шестнадцать лет до того посадил на престол ныне свергаемых опять при его же деятельном участии Бурбонов. Совет Талейрана закончил со всеми колебаниями: спустя девять дней, 9 августа 1830 г., Луи-Филипп Орлеанский был торжественно провозглашен королем.

В первые же дни нового царствования обнаружилось, что хотя только что победившая Июльская революция была окончательной и уже самой бесспорной победой буржуазии над аристократией, но есть на свете один аристократ, самый подлинный и чистокровный, без которого ни в каком случае торжествующая буржуазия не может обойтись: это все тот же князь Талейран-Перигор, больной семидесятишестилетний старик на костылях, которого газеты уже

неоднократно хоронили. И не только потому он вдруг снова оказался на первом плане, что с обычной своей дальновидностью успел вовремя, задолго до июля 1830 г., тесно сблизиться с будущими победителями, с Луи-Филиппом, Аделаидой, Тьером, но и потому, что работа его головы потребовалась и показалась незаменимой Луи-Филиппу, как она казалась необходимой и Учредительному собранию, и Директории, и Наполеону, и Бурбонам, и снова Наполеону (предложение императора в эпоху Ста дней), и снова Бурбонам — после Ста дней.

Положение Луи-Филиппа было на первых порах нелегким, в особенности же перед лицом иностранных держав. Ни для кого не было тайною, что могущественнейший жандарм Европы, русский царь Николай I, решительно стоит за интервенцию, прямо направленную к свержению «короля баррикад» Луи-Филиппа и восстановлению Бурбонов на престоле, откуда они только что были изгнаны. Известно было даже, что царь отправил в Берлин генерала Дибича, чтобы ускорить соглашение с Пруссией об общем вторжении во Францию. Некоторое время царь упорно носился с мыслью о «непризнании» Луи-Филиппа королем. При этих условиях Луи-Филиппу необычайно важно было заручиться дипломатической поддержкой Англии. После Июльской революции Франция оказывалась в опаснейшей для себя изоляции. Чтобы покончить с этой изоляцией, новый король и новое правительство обратились именно к Талейрану. С изумлением Европа прочла через месяц с небольшим после Июльской революции, что князь Талейран назначается французским послом в Лондон. При официальной встрече его фрегата загревели салюты дуврских береговых батарей, — и Талейран не может отказать себе в удовольствии припомнить именно по этому поводу, как он уезжал из Англии в 1794 г. — гонимым, нищим, преследу-

емым интригами французских роялистов, высылаемым из Англии по приказу полиции...

У нас есть прямые показания о том, какой существенной если не была, то казалась многим поддержка Талейрана для Луи-Филиппа в момент его воцарения. «Известие, что г. Талейран признал и даже содействовал установлению новой династии, имело немалое влияние на суждения при других дворах и, более точно можно сказать, что это заставило решиться на немедленное признание [новой династии]», — утверждает сэр Генри Литтон-Бульвер, известный писатель и политический деятель Англии, пользовавшийся доверием Пальмерстона и Эдуарда Грея¹. Так обстояло дело в Англии, когда туда пришла весть о провозглашении в Париже Луи-Филиппа королем.

Англия была одной из тех двух великих держав, где Луи-Филиппу важнее всего было незамедлительно получить признание. Другой из этих великих держав была Россия.

Как уже сказано, из Петербурга шли зловещие слухи. Правда, ни Фридрих-Вильгельм III в Берлине, ни Меттерних в Вене не откликнулись на приглашение царя выступить сообща против «ограбившего сироту» «короля баррикад», так именовали в петербургских салонах в 1830 г. (и позже) Луи-Филиппа, «узурпировавшего» престол у маленького внука Карла X, герцога Бордоского (графа Шамбора).

Но Николай был в сильнейшем раздражении и ничего не ответил Луи-Филиппу на его собственноручное письмо. Так шло дело до 6 сентября 1830 г., когда в газетах появился указ Луи-Филиппа о назначении князя Талейрана французским послом в Лондон. Вот какое прямое последствие это известие будто бы имело в Зимнем дворце, как о том уведомили 29 сентября 1830 г. французского министра иностранных дел графа Моле, причем корреспондент

(Монлозье) привел даже подлинные слова, будто бы произнесенные самим Николаем: «Так как г. Талейран присоединяется к новому французскому правительству, то непременно это правительство имеет шансы на длительное существование»².

Во всяком случае, самый факт, если не предпрешивший, то ускоривший перемену решения Николая под влиянием назначения Талейрана в Лондон, не подлежал сомнению для современников. Правда, этот факт мог повлиять на царя прежде всего потому, что означал и подтверждал окончательное признание нового короля британским правительством. Оба известия пришли в Петербург почти одновременно, и, конечно, решение британского правительства оказало на царя гораздо большее действие, чем назначение Талейрана.

Очень хорошо в своих шифрованных донесениях характеризует Талейрана в момент его назначения послом в Англию русский представитель в Париже Поццо ди Борго, один из умнейших и опытнейших дипломатов того времени.

Поццо ди Борго приписывает назначение Талейрана влиянию британского кабинета (герцога Веллингтона): «...Говорят, что король обратил взор на г. Талейрана не только затем, чтобы удовлетворить пожелание герцога, но также и затем, чтобы показать Англии и всему миру вообще, что такая личность, как та, о которой идет речь и которая всегда руководилась только своим интересом (*qui... n'a jamais été conduit que par son intérêt*), рассчитывает найти свою выгоду, основываясь на устойчивости [трона] нынешнего французского государя, принимая такую выдающуюся миссию и, следовательно, соединяя с ним [этим государем] свою судьбу». Поццо ди Борго не скрывает в этом доверительном письме истинных чувств, которые в нем

возбуждает личность Талейрана, снова выдвинутого историческими обстоятельствами на первый план: «Трудно воздержаться от чувства отвращения, думая о том, что человек в возрасте 77 лет, удрученный недугами, желает снова броситься (*se précipiter*) в деловую карьеру, после того как он за всю свою жизнь приобрел такую печальную известность...» В глазах Поццо ди Борго особенно отвратителен поступок Талейрана в том отношении, что он будет отныне служить «узурпатору» (Луи-Филиппу), когда только что пал «легитимный» монарх (Карл X), коему тот же Талейран служил в качестве великого камергера. И где он будет служить узурпатору? В Англии, где «несчастный монарх» (Карл X) ищет убежища в качестве изгнанника. Конечно, здесь Поццо ди Борго подлаживается под тон Николая, когда говорит об «узурпаторе» Луи-Филиппе и «несчастном легитимном» монархе Карле X. Но он имел основание прибавить в своем донесении также следующие строки: «Тут все возмущены этим цинизмом, и либеральные газеты больше, чем всякие другие, разъярены (*se sont dechaînés*) против такого скандального и такого в стольких отношениях неприличного выбора»³.

2

Талейран отправлялся в Лондон, сопровождаемый очень большими подозрениями также и со стороны более или менее либеральных и радикальных кругов, наперед убежденных, что он, с согласия короля Луи-Филиппа, будет делать в бельгийском вопросе все угодное англичанам. Но крайне любопытно даваемое нашим Архивом внешней политики свидетельство, что даже кабинет министров подозревал его — не только в том, что он будет угождать Анг-

лии в бельгийском вопросе, но и в том, что он, по указке Англии, готов даже и отказаться от имени Франции от завоевания Алжира.

Вот что мы читаем в другом зашифрованном донесении русского посла Поццо ди Борго в Петербург от 11/23 сентября 1830 г.: «Князь Талейран пожелал меня видеть. Я его застал озабоченным бельгийскими делами и решившимся отдать ее (Бельгию) в руки Англии с целью достижения более легкого соглашения». Талейран знал, чем можно прельстить представителя Николая I: «А в ожидании этого бельгийские и французские революционеры толкают [Бельгию] к отделению и, следовательно, к разрыву». Но ведь Поццо ди Борго говорил не с одним лишь Талейраном и знал всю подноготную масти того князя: «Г. Моле (министр иностранных дел Франции) доверил мне, что князь Талейран предложил ему оставить совершенно Алжир. Когда министр не согласился с этим планом, то князь обратился к королю, и, по-видимому, последний примкнул к проекту посла сделать приятное Англии. Г. Моле этому воспротивился и обещал Совету министров представить доклад об этом. Вероятно, Совет будет того же мнения, как министр, так как очевидно, что посол отправляется в Лондон, чтобы отдаться (*pour se livrer*) Англии». И, по мнению Моле, горячее англофильство Талейрана объясняется не только желанием укрепить Луи-Филиппа на его шатком престоле, обеспечив королю поддержку британского правительства, но еще кое-какими соображениями более «персонального» характера: «Г. Моле убежден в этом (в том, что Талейран «отдался» Англии), и он прибавил, что это тем более, что только это и приносит выгоду (*il n'ya que cela qui profite*). Таково мнение, которое он [Моле] имеет о своем представителе»⁴. Столь откровенно выразал-

ся французский министр о моральных качествах отъезжающего в Лондон французского чрезвычайного и полномочного посла.

Конечно, «другом Англии» Талейрана ни в коем случае назвать было нельзя, — мы это знаем. Нам документально известно также, что он очень опасался английского торгово-промышленного преобладания. Талейран считал «химерической и невыполнимой» мысль о всемирной монархии (*monarchie universelle*), но ему при этом казалось странным, что никто не страшится «еще гораздо более губительных последствий того положения, в котором находится всемирная торговля, в руках одной-единственной державы». Так он оценивал экономическое всемогущество, которое, в ущерб всему человечеству, договоры Венского конгресса обеспечили за Англией⁵.

Таково было его мнение. Но зачем же все это высказывать, когда гораздо уместнее помолчать и, напротив, убедить герцога Веллингтона, а затем сменивших его кабинет лорда Пальмерстона, Грея и Холлэнда и все британское правительство в непреодолимой и самой теплой своей симпатии к Англии?

Положение Талейрана в Лондоне в 1830 г. вскоре стало самым блестящим, какое только можно себе вообразить.

С одной стороны, консерваторы и все высшее общество видели в нем представителя самой подлинной (а в Англии эта «подлинность» крайне тогда и даже много позже ценилась) родовой аристократии; вместе с тем вспоминали, что никто больше, чем он, и красноречивее, чем он, не говорил на Венском конгрессе о легитимизме. Вспоминали также, что еще с 1792 г. он был сторонником дружбы с Англией. Что теперь он взялся за роль посла Луи-Филиппа, который «узурпировал» при помощи революции престол у той же «легитимной» династии Бурбонов, — это обстоятельство

ство Талейран крайне ловко повернул в свою пользу: уж если он, он сам, легитимист из легитимистов, — можно сказать, выдумавший этот самый легитимизм в 1814 г., — теперь от него отрекся и стал на сторону «короля баррикад», то, значит, были же крайне важные причины! Значит, не выдержало прямое и честное сердце правдивого князя Талейрана и вознегодовало по поводу клятвопреступного поведения Карла X, нарушившего конституцию, коей присягал! Особенно огорчало прямодушного, благородного князя это нарушение присяги королем Карлом. Что касается вигов, либералов, представителей английской либеральной буржуазии, которой суждено было спустя всего полтора года, в 1832 г., добиться «мирной революции», т.е. парламентской реформы, то эти люди с восторгом приветствовали Талейрана, официального посла этой самой, победившей уже во Франции, либеральной буржуазии и ее короля Луи-Филиппа. Толпы народа бежали по лондонским улицам за каретой Талейрана с криками «ура», едва лишь его замечали и узнавали.

С другой стороны, некогда (например, в 1814 г.) не любивший Талейрана герцог Веллингтон, глава консервативного кабинета, был очарован Талейраном, который умел, как никто, вкрадываться в душу тех людей, которые были ему необходимы. Веллингтон возмущался и не постигал, почему всегда — вот уже больше пятидесяти лет сряду — и главное, все люди без исключения так злобно клеветают на Талейрана, тогда как это честнейший и благороднейший человек? Талейран, правда, и не таких, как герцог Веллингтон, вводил в заблуждение, а Веллингтон и не таким, как Талейран, поддавался.

Но и вообще с Талейраном было бы трудно в тот момент справиться: великолепно оценив положение Англии, видя что рабочие демонстрации, статьи и речи либераль-

ной оппозиции, растерянность короля и правительства явно грозят Англии революционным взрывом и предвещают этот взрыв, старый князь сразу — там, где и когда было нужно и уместно, — принял личину истинного «посла от революции», даже стал охотно поминать свое поведение в Учредительном собрании в 1789—1791 гг., — словом, добился того, что лондонская рабочая масса при встречах во время частых тогда шествий и скоплений громовыми криками приветствовала трехцветный флажок на французской посольской карете и трехцветные кокарды на шляпах служащих посольства. Кричали: «Да здравствует французская революция!» А иногда прибавляли: «Да здравствует Талейран!» Все импонировало в Талейране, даже особенно то, что он долго был министром Наполеона и что тот очень ценил его таланты.

Талейран заметил, что вообще после Июльской революции очень усиливается так называемая «наполеоновская легенда» и в Европе, и во Франции, и сейчас же этим воспользовался. При столкновениях своих по службе он высокомерно ставил на вид министрам Луи-Филиппа, графу Моле и другим, что он так работал при императоре и что сам император его научил работать именно вот так и не иначе. В Лондоне дом французского посольства сделался местом самых пышных приемов в блестящих балов; никто из всего дипломатического корпуса не пользовался в тот момент такой силой и разнохарактерной, если можно так выразиться, и огромной популярностью в самых разнообразных слоях английского общества, как князь Талейран. Не только Николай, но и Англия увидела в назначении, а главное, в согласии Талейрана принять назначение — признак прочности нового французского престола.

В течение нескольких месяцев Талейрану удалось установить тесный контакт между Францией и Англией, да

и вообще фактически заправлял французской внешней политикой он, а не парижские министры, которых он не всегда удостаивал даже деловой переписки, а, к величайшему их раздражению, сносился прямо с королем Луи-Филиппом или сестрой короля Аделаидой. Министры жаловались королю, но тот настолько нуждался в своем лондонском после, что все жалобы ни к чему не приводили. Граф Моле, министр иностранных дел, собирался даже уйти из-за этого в отставку.

Главное (и очень трудное), что сделал Талейран во время своего пребывания на посту посла Луи-Филиппа в Лондоне, было участие в образовании Бельгийского королевства. Бельгийская революция, вспыхнувшая сейчас же вслед за Июльской и приведшая к фактическому отпадению Бельгии от Голландии, являлась причиной жестокого беспокойства для Франции. В самой Франции боролись два течения: одни желали присоединения Бельгии к Франции, другие — установления новой, самостоятельной державы — Бельгийского королевства. Польское восстание, вспыхнувшее в ноябре 1830 г., надолго лишило Николая свободы рук в бельгийском вопросе, и Талейран очень искусно этим воспользовался.

Присоединение Бельгии к Франции он отверг, правда, после некоторых колебаний (о которых он в мемуарах своих умалчивает). Он знал, что Англия непременно воспротивится такому решению вопроса. Он выдвинул и стал отстаивать образование самостоятельного Бельгийского государства. Это ему и удалось после долгих и трудных усилий на Лондонской конференции европейских держав, созванной по его настоянию.

Остановимся и повнимательнее ознакомимся с «бельгийским вопросом» и ролью Талейрана в нем.

Нужно сказать, что ненависть к Талейрану, несколько приутихшая в либеральных и даже радикальных кругах пос-

ле Венского конгресса, когда старый дипломат вернулся в ореоле «спасителя Франции от раздела», вспыхнула с новой силой в 1830—1833 гг. Причиной было именно поведение князя на конференции держав, собравшейся в Лондоне для урегулирования «бельгийского вопроса» и заседавшей в 1830—1832 гг. Как известно, в Бельгии, насильственно, без учета желаний населения присоединенной в 1815 г. на Венском конгрессе к Нидерландскому королевству, вспыхнула в 1830 г. революция, тотчас же после Июльской революции в Париже. Бельгия объявила себя независимой и отложила от Голландии, хотя в самой стране наметились два течения: одно — в сторону провозглашения полной независимости и другое — в пользу присоединения к Франции. Первое течение было сильнее второго, да к тому же и все остальные великие державы во главе с Англией и Россией решительно не желали усиливать Францию присоединением богатой промышленной страны. Пруссия и Австрия шли в этом вопросе за Англией и Россией. Традиционная английская политика ни в каком случае не желала примириться с тем, чтобы Бельгия попала в руки Франции и чтобы в руках ее снова, как при Наполеоне, оказался Антверпен, этот «пистолет, направленный в английскую грудь», как называл его Наполеон. Николай I. долго не желавший вообще мириться с успехом бельгийской революции, и подавно не хотел и слышать о том, чтобы «король баррикад», воспринявший корону из рук революции, ненавистный русскому самодержцу Луи-Филипп, получил такое значительное приращение своего политического могущества.

Одним словом, как только открылась Лондонская конференция, князь Талейран сразу же увидел, что о присоединении Бельгии к Франции речи быть не может. А так как он никогда не брался за ведение наперед проигранных

процессов, то соответственным путем расположил свои дипломатические батареи. Между тем в Париже боевые революционные элементы, еще овеянные пороховым дымом июльских битв, республиканцы, жаловавшиеся на то, что крупная буржуазия «украла у народа его победу», бонапартисты, возмущавшиеся национальным унижением Франции и говорившие о реванше, — все они, больше всего мечтавшие о присоединении Бельгии, — зорко следили за ходом лондонских совещаний и со все растущим раздражением следили за не очень понятными шахматными ходами и без того подозрительного им и с давних пор презираемого ими Талейрана. А поведение Талейрана начинало удивлять уже не только республиканцев. Конечно, король голландский Вильгельм должен бы в конце концов примириться с потерей Бельгии. Но зато как щедр стал по отношению к нему Талейран, когда речь пошла об определении точных границ Бельгии от Голландии! Какой приятной для Англии, для Николая I, для Австрии, Пруссии неожиданностью оказалась готовность французского представителя идти на широкие земельные уступки в пользу Голландии за счет Бельгии! А ведь французский представитель должен был явиться единственным «защитником» бельгийских интересов на Лондонской конференции. Да и, кроме того, конференция непомерно затягивалась, что также по разным причинам было выгодно голландскому королю и невыгодно освободившейся от него Бельгии. Республиканцы и вся левая пресса в Париже яростно нападали на Талейрана за его уступчивость в пользу Голландии, за его полное равнодушие к интересам Бельгии. Молодая бельгийская королева Луиза, жена только что избранного в бельгийские короли Леопольда I, дочь Луи-Филиппа, прямо обвиняла Талейрана в том, что он получил взятку от голландского короля.

Королева Луиза строила лишь то, что в науке называется «рабочей гипотезой». Но ровно через сто лет, в 1934 г., эта гипотеза превратилась в математически точное доказательство, и тайна загадочных зигзагов и таинственных уступок Талейрана на Лондонской конференции была исчерпывающе полно разъяснена. Брюссельский профессор Мишель Юисман (Huisman) опубликовал, на основании точных архивных данных, следующее. Голландское правительство через своего представителя на Лондонской конференции, Фалька, вошло в секретный сговор с маститым князем: за разграничение в пользу Голландии Талейран получает от голландского короля 20 тысяч фунтов стерлингов, из коих 15 тысяч немедленно, а 5 тысяч позже. Затем, если князь будет столь же широко снисходителен и внимателен к интересам Голландии также и при разграничении денежных долговых обязательств между обеими странами, т.е. если он согласится взвалить побольше на плечи Бельгии и поменьше на плечи Голландии, то за это в будущем получит еще и другие 15 тысяч фунтов стерлингов⁶. Получил ли он эти вторые 15 тысяч фунтов фактически, и если получил, то целиком или только частью, — из разоблачений, появившихся в 1934 г., неясно, во всяком случае, Голландии роптать и тут не пришлось. Окончательный договор с Бельгией был подписан 14 октября 1832 г.

Этими проделками Талейрана, конечно, отчасти и объясняется то, что на конференции он сегодня брал назад свои слова, сказанные вчера, а на послезавтра можно было ожидать, что он изменит формулировку, данную им же сегодня.

Теперь нам, знающим с 1934 г. документально, как бойко и продуктивно торговал Талейран в Лондоне в 1832 г. вверенными ему интересами Бельгии и Франции, курьезно читать в отрывке из не изданных полностью до сих пор

мемуаров Шарля Ремюза, посетившего Талейрана как раз в это самое время в 1832 г. в Лондоне: «Талейран дорожил своей репутацией и даже думал об истории. У него было мужество, была смелость, был патриотизм. Как жаль, что все это портилось и время от времени уничтожалось привычками лени и тайными коррупциями!»⁷. Французское слово «les cogrptions» выражает на русском языке несколько оттенков понятий, и его не всегда подходит переводить лишь слишком конкретным русским словом: подкуп, подкупность; может быть, уместнее был бы здесь перевод понятием: порча, порок, порочность, развращенность, растление. Во всяком случае, если бы Шарль Ремюза, очень неглупый политический деятель, впоследствии министр Луи-Филиппа, знал, какие именно «тайные коррупции» действуют на величавого хозяина французского посольства в Лондоне и в этот самый момент, — он, вероятно, поминал бы о них не в прошлом, а в настоящем времени, и не так восхищался бы «патриотизмом» «дорожащего своей репутацией» и «думающего об истории» князя Талейрана. Начинать «дорожить репутацией» восьмидесятилетнему дипломату было поздно, а вот английскими фунтами он в самом деле искренне дорожил всегда, и особенно эта привязанность усилилась в нем именно в 1832 г., когда их курс на фондовой бирже стоял высоко, и двадцать тысяч фунтов были равны в тот момент более чем полумиллиону франков золотом. «Думал ли» он об «истории»? Это Шарль Ремюза взвел на покойника совершенную напраслину. Князю Талейрану случалось, как мы видели, воровать исторические документы и очень выгодно их сбывать тайком иностранным покупателям вроде Меттерниха. Случалось и так, что он крал и истреблял документы, если они могли повредить ему немедленно, непосредственно: именно таким образом он истребил, например, документы об аресте

и казни герцога Энгиенского. Но нет ни малейших указаний, чтобы он интересовался тем, что о нем расскажут архивные документы «истории» лет через сто или триста.

Таковы были эти «интимные детали» поведения Талейрана в «бельгийском вопросе».

Это совсем новое документальное открытие может несколько удивить даже тех, кого, казалось бы, уже ничто не в состоянии удивить в князе Талейране. Миллионер, чрезвычайный и полномочный представитель Франции, старик на краю могилы, продолжал брать и брать совсем ему уже ненужные взятки, — очевидно, просто по привычке, как другие до старости отдаются любимому спорту, — как Гладстон, например, до восьмидесяти лет колот дрова или как Кант до глубокой старости в любую погоду совершал свою ежедневную прогулку.

3

Даже и не зная всех этих деталей поведения Талейрана в Лондоне, на него жестоко нападали французские патриоты (а таковыми в особенности были тогда республиканцы) за то, что он не желает присоединять Бельгию к Франции, тогда как сами бельгийцы будто бы этого хотят. «Воплощенная ложь, живое клятвопреступление, нераскаянный Иуда, он продал всех — бога, республику, императора, королей» — так писали о нем в стихах и в прозе французские оппозиционные органы в 1831—1832 гг., когда проходило бельгийское дело. Печатались и распространялись в Париже бесчисленные карикатуры на него (в эти же годы и тоже по поводу Бельгии), под его изображениями помещались такие «объявления»: Талейран, по прозвищу Подсолнечник (всегда поворачивается к солнцу), фабрикует

намордники, цепи и цензуры, составляет остроты, эпиграммы, программы и эпитафии, продает и покупает короны как новые, так и по случаю, делает конституции, хартии, реставрации, имеет на складе кокарды, знамена и ленты всех цветов. Согласен также на выезд за границу».

Талейран окончательно укрепился на том, что лишь в союзе с Англией можно разрешить бельгийский вопрос так, чтобы Бельгия была освобождена от Голландии, а союз с Англией в этом деле возможен лишь при условии, чтобы Франция не покушалась на самостоятельность бельгийцев. Одного Талейран ни за что не хотел допускать — это возвращения Бельгии под голландское владычество. Наконец ему удалось, несмотря на упорное сопротивление России, Австрии и Пруссии, достигнуть признания самостоятельности Бельгии. И сейчас же он потребовал от нового бельгийского правительства уничтожения всех крепостей, построенных на французской границе голландским правительством после Венского конгресса, для чего великие державы дали Голландии в свое время на нужные расходы сорок пять миллионов франков. Эта цепь крепостей должна была служить обеспечением от Франции. Теперь, по требованию Талейрана, бельгийское правительство срыло укрепления.

Этот блистательный успех талейрановской дипломатии настолько возвысил его в глазах Луи-Филиппа, что шла речь о назначении его первым министром (после смерти Казимира Перье в мае 1832 г.), но старый князь решил, что в Лондоне ему будет спокойнее. В 1832 г. ему пришлось провести новое дело: тайно (хотя эта тайна была весьма прозрачна) подстрекаемый Николаем I, голландский король решил силою сопротивляться постановлению держав и не уступать Антверпен, еще бывший в его власти. Тогда Талейран вошел в особое соглашение с Пальмерстоном, и

французская армия, войдя в Бельгию, осадила Антверпен с суши, а английский флот блокировал его с моря. Конечно, Антверпен очень скоро сдался. Франция и Англия этим дали пощечину всему тому, что еще оставалось от Священного союза; три абсолютные монархии, несмотря на все угрозы свои, не решились двинуть ни одного полка на помощь голландскому королю. Но еще до сдачи Антверпена бельгийское дело было покончено. 15 ноября 1831 г. представители великих держав подписали в Лондоне соглашение о признании самостоятельного королевства Бельгии, 23 января 1832 г. новый бельгийский король Леопольд подписал обязательство скрыть все крепости на французской границе, а 5 мая 1832 г. гора свалилась с плеч Луи-Филиппа и Талейрана: сам грозный северный повелитель, жандарм Европы, Николай I ратифицировал «договор 15 ноября 1831 г.» и этим санкционировал результат ненавистной ему бельгийской революции.

Однако еще до того, как окончательно и формально завершилось бельгийское дело, произошла не весьма благоприятная для видов Талейрана смена английского кабинета: ушли консерваторы, ушел Веллингтон, которого называли единственным человеком на земном шаре, верящим в благородство князя Талейрана, и пришли к власти виги, либералы, возглавляемые формально лордом Греем, а фактически лордом Пальмерстоном, статс-секретарем министерства иностранных дел. А Пальмерстон уж зато ни в малейшей степени в данном случае не расходился в мнениях с «земным шаром»: Талейрана он считал способным абсолютно на все.

И некоторые непосредственные наблюдения Пальмерстона при начавшихся по обязанностям службы частых личных его свиданиях с французским послом отнюдь не способствовали повышению его уважения к Талейрану.

Вот, например, одна из деталей, о которой со злорадством впоследствии вспоминал Пальмерстон.

Следует сказать, что, как в течение всего своего существования, начиная с молодых лет, восьмидесятилетний князь Талейран и в Лондоне, зарабатывая по мере сил на секретных обильных приношениях со стороны нуждавшихся в его дипломатических услугах «доброхотных дателей» (как назывались у нас в старину такие лица), в то же время ничуть не забывал и о другом, не менее серьезном источнике возможного дохода: о биржевой игре, которую он всегда ревностно культивировал через подставных лиц. Специально имея в виду участие в биржевых махинациях, он с обычной предусмотрительностью взял с собой, отъезжая в 1830 г. в Лондон, давно уже помогавшего ему по части разных сомнительных дел некоего Монрона. Напомним читателю, что еще в апреле 1815 г. в одном донесении русского посла Поццо ди Борго графу Нессельроде говорится об этом Монроне, клеврете Талейрана, как о человеке позорной репутации. Вот какова была функция этого Монрона в Лондоне, со слов лорда Пальмерстона, переданных в свое время Сент-Бёву, когда французский писатель собирал материалы для своих газетных статей о Талейране: «Лорд Пальмерстон говорил, что когда Талейран приезжал, чтобы повидаться с ним по делам, то почти всегда он имел в своей карете Монрона, чтобы передавать ему быстро полезные указания для игры и ажиотажа (*afin de lui expédier vite ses indications pour jouer et agioter*)»⁸. Дело, таким образом, было организовано на самых рациональных началах: разговаривая с главой британской дипломатии и фактически первым человеком британского правительства, Талейран каждые пять минут мог узнавать ближайшие решения, учитывать предстоящие события, которые только на другой день или, во всяком случае, лишь через несколько ча-

сов могли стать известными на бирже. Монрон получал украдкой соответственные биржевые ордера от Талейрана, мчался на биржу, выполнял ордера, возвращался мигом обратно и был в полной готовности, чтобы вторично в той же карете слетать на биржу, в случае, если за время его отсутствия Талейрану удавалось в дальнейшем разговоре выудить от Пальмерстона еще какие-нибудь полезные и никому пока не ведомые новости. Конечно, наблюдательному англичанину, в конце концов, стали вполне ясны все эти странные манипуляции его маститого визитера, которому не сиделось на месте, и загадочные быстрые передвижения шнырявшего взад и вперед в княжеской карете Монрона. Это так поразило Пальмерстона, хотя он, кажется, ничему никогда не удивлялся, что заинтересованный милорд запомнил эти проделки полномочного и чрезвычайного французского посла на всю жизнь. Но там, где дело шло о зароботке, величавому князю Беневентскому всегда было абсолютно все равно, что о нем могут подумать. То ли он еще на своем веку проделывал...

Конечно, личные суждения Пальмерстона о моральных свойствах князя Талейрана не могли играть особой роли в вопросе о сближении Англии с Францией. Но все-таки глубочайшее недоверие к французскому послу, испытываемое Пальмерстоном, оказывало тормозящее влияние. «Мы с лордом Пальмерстоном уже не ладим, мы с лордом Пальмерстоном не нравимся друг другу», — писал в 1834 г. Талейран из Лондона сестре короля Луи-Филиппа Аделаиде, с которой он был в постоянной деловой и дружеской переписке.

Дарья Христофоровна Ливен, жена русского посла в Лондоне, писала своему брату, А.Х. Бенкендорфу, что «вражда Пальмерстона парализует совершенно Талейрана». Но от нее, умной и очень осведомленной интриган-

ки, не укрылось, что в недрах английского кабинета Талейрану удалось запасться несколькими очень важными друзьями: «Лорд Грей обожает его, лорд Пальмерстон ненавидит его, лорд Холлэнд передает ему все секреты правительства». И хотя Пальмерстон своей враждой и «парализовал» французского посла, — но, видно, этот «паралич» все же был, так сказать, частичным, а не полным. Все-таки тому же Пальмерстону было ясно, что некоторое сближение с Францией диктуется натянутыми отношениями Англии с Николаем I, вызванными обострением восточного вопроса. И поэтому пришлось ему подписать вместе с князем Талейраном нужное и Англии и Франции соглашение, направленное к ограждению испанского и португальского правительств от угроз претендентов. А Талейран упорно настаивал давно уже перед королем Луи-Филиппом и всеми министрами, менявшимися за время его лондонского посольства, что спасение Франции и особенно династии Луи-Филиппа — именно в теснейшем союзе с Англией, и очень был доволен, когда ему удалось (22 апреля 1834 г.) подписать конвенцию с Англией, Испанией и Португалией по ряду крайне важных вопросов, касающихся Пиренейского полуострова. Дипломаты даже враждебных держав изумлялись энергии и дарованиям восьмидесятилетнего хилого старика. Та же Дарья Христофоровна Ливен, бывшая значительно умнее своего супруга и получившая поручение лично систематически доводить до сведения Николая обо всем, что творится в Лондоне, через своего брата, генерала Бенкендорфа, шефа жандармов, писала о князе Талейране по поводу его блистательных дипломатических достижений в это время: «Вы не поверите, сколько добрых и здравых доктрин у этого последователя всех форм правления, у этого олицетворения всех пороков. Это любопытное создание;

многому можно научиться у его опытности, многое получить от его ума, в восемьдесят лет этот ум совсем свеж... Но это — большой мошенник, — *c'est un grand coquin*, — настаивает княгиня Ливен. Она пустила крылатое слово о том, что герцогу Веллингтону не удаются «портреты»: князя Полиньяка он считает умным человеком, а князя Талейрана — порядочным.

4

Старик слабел физически. В конце ноября 1834 г. он упросил Луи-Филиппа дать ему отставку. Князь Талейран, по его собственному выражению, за время пребывания на посту посла в Лондоне успел «дать Июльской революции право гражданства в Европе», укрепил престол Луи-Филиппа, содействовал созданию самостоятельного Бельгийского королевства. В семьдесят шесть лет он начал этот последний перегон своего долгого и замечательного пути и в восемьдесят лет окончил его.

Он удалился в свой великолепный замок Валансэ, превосходивший размерами и неслыханной роскошью дворцы многих монархов в Европе, и здесь, спокойно, без излишнего любопытства и бесполезных волнений, как и все, что он делал в жизни, он стал ждать прихода той непреодолимой силы, для борьбы против которой даже и его хитрости было недостаточно (по злорадному предвкушению одного из враждебных ему публицистов). «Я ни счастлив, ни несчастлив... — писал он в эти последние годы своей жизни. — Я понемногу слабею и... хорошо знаю, как все это должно кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других еще глупостей. Не время ли кон-

чить?» Жена его умерла. У него постоянно жила его племянница, герцогиня Дино, интимный и самый близкий для него человек. Детей «законных» за ним не числилось. Сын его от госпожи Делакура, знаменитый уже с двадцатых годов гениальный французский художник Эжен Делакура, мало общался с отцом и скрывал свое родство.

Но Талейран и сам искал в эти последние свои годы полного уединения и покоя. Его коростылюбие уже было удовлетворено, честолюбие его не мучило. После окончательного ухода от дел он прекратил даже игру на бирже. В газетах, журналах, отдельных памфлетах, иллюстрациях постоянно поминалось его имя, оценивалась по-разному его долгая деятельность, отдельные фазисы этого изумительного существования. Но князь не читал большинства из этих бесчисленных статей, — а когда и читал, никогда на них не возражал и вообще никак не реагировал.

Обошел он молчанием и ту знаменитую характеристику свою, которую прочел во второй октябрьской книжке «*Revue des deux mondes*» за 1834 г.: эта статья принадлежала перу уже входившей тогда в славу Жорж Санд и носила заглавие «Князь». Фамилия не была названа, но изложение было более чем прозрачным. Курьезно, что самая статья была вызвана посещением замка Валансэ, куда Жорж Санд и Альфред де Мюссе явились для осмотра его достопримечательностей (Талейран разрешил путешественникам осматривать его прославленные по всему свету роскошные палаты, хоть и не допускал никого в свои жилые комнаты). На Жорж Санд пахнуло в этих великолепных залах князя Талейрана такими трагическими воспоминаниями, что она не воздержалась от самой резкой филиппики: «Никогда это сердце не испытывало жара благородного деяния, никогда честная мысль не проходила чрез эту неутомимую голову; этот человек — исключение в природе, он — такая редкостная чудовищность, что род

цузская пресса была сколько-нибудь свободна. И почти всегда наблюдалась раздвоенность в настроении пишущих: полнейшее, безусловное, безоговорочное презрение к характеру, к полной бессовестности, — и столь же безусловное, хотя и не у всех, преклонение перед умственными средствами, перед хитростью, ловкостью, пронырливостью, проявленными им на дипломатическом поприще. Талейран по-прежнему очень «философски» относился ко всему, что писалось о нем, и даже эта портретная живопись Жорж Санд совсем ненадолго и очень незначительно его огорчала.

Следует заметить, что современники, уже весьма много зная о денежных похождениях и приключениях князя Талейрана, все же понятия не имели о всем том, что очень нескоро после его смерти, очень постепенно, урывками начала узнавать о нем история. Возьмем хотя бы того же знаменитого Стендаля, участника наполеоновских войн, мыслителя, скептического наблюдателя, тонкого аналитика. Он находился в Марселе, когда до него дошел номер газеты «*Journal des Débats*» от 21 мая 1838 г., откуда он узнал о смерти князя Талейрана. Он тотчас же садится писать и оставляет в своих черновых заметках маленькую статью о Талейране (так и оставшуюся не напечатанной до 1926 г., когда она впервые увидела свет). На этой черновой рукописи сверху находятся характерные слова, показывающие, что Стендаля раздражала высокопарная хвалебная ложь о Талейране, которую он нашел в некрологе газеты: «В раздражении¹⁰ от громких фраз «*Débats*». А в конце на полях статьи еще более ясная помета: «Вследствие негодования против громких фраз». Казалось бы, от написанной в таком настроении статьи Стендаля мы были бы вправе ждать беспристрастной, неумолимо справедливой оценки очень многого в деятельности знаменитого дипломата. Но

ничего подобного мы там не находим: «Г-н де Талейран был человеком бесконечно умным и всегда нуждавшимся в деньгах. В этом отношении он был истинным вельможей (*un vrai grand seigneur*). У него не было никакого порядка в его делах, никакой осторожности. Очень тонкий человек, без иллюзий и без всяких страстей, кроме страстного желания содержать дом на большую ногу и жить, как приличествует человеку высокого происхождения...» Так начинается эта совсем коротенькая характеристика. И дальше идут довольно поверхностные, не похожие на Стендаля, замечания, сравнения, легонькие анекдоты о том, как князя причесывали куаферы, совершенно неверное указание — будто Талейран «заставил» «испугавшихся» монархов в Вене идти против вернувшегося с о. Эльбы Наполеона и т.д., и затем еще анекдоты, как князь бывал мил с подчиненными, с прислугой, — и больше ничего. И заметим, что и этих незначущих строк, которые Стендаль подписал — «бывший офицер», он все-таки не решился даже анонимно напечатать. Так и бросил эту статью в хлам черновых бумаг. Совершенно ясно, что не в таком добродушном тоне писал бы Стендаль о Талейране, если бы знал все то, что узнало далекое потомство. Курьезно, что единственный пример недобросовестности Талейрана, который приводит тут Стендаль (о контрибуции с Испанией), как раз случайно оказывается не доказанным фактически. Впрочем, Стендаль тут ограничивается лишь намеком. Но он правильно указывает в своей статье на развращающее влияние, которое косвенно оказал Талейран на общество: «Дурной в моральном отношении стороной этой долгой жизни Скапена является то, что теперь, как только служащий человек крадет сто луидоров, то, вместо того чтобы думать о перспективе попасть на галеры, он говорит: “Что же, я подражаю г. де Талейрану”». Скапен, с которым Стендаль

отождествляет Талейрана, — герой мольеровской комедии, который много и ловко плутовал, но которому все же и не снилось делать то, что сверх того проделывал князь Беневентский. Масштабы совсем были не те, психология не та, и арена всемирной истории — не скапеновское поприще забавного плутовства. Иметь также и черты Скапена вовсе не значит быть только Скапеном.

Жорж Санд судила Талейрана исключительно с моральной точки зрения. Почти одновременно с ней высказался о Талейране молодой блестящий публицист германской радикальной буржуазии Людвиг Бёрне, который отрицает даже самую разумность чисто моралистического подхода в данном случае. Он оценивает лишь объективные результаты деятельности знаменитого дипломата, — и оценивает их высоко. Читатель найдет это по-своему замечательное место в тридцать седьмом письме Бёрне из Парижа, от 24 февраля 1831 г.¹¹.

«...Наконец Талейран. Я никогда его не видел даже на портрете. Бронзовое лицо, мраморная доска, на которой железными буквами написана необходимость. Я никогда не мог понять, почему люди всех времен так не понимали этого человека! Что они порицали его, это хорошо, но слабо; добродетельно, но неразумно; эти порицания делают честь человечеству, но не людям. Талейрана упрекали за то, что он последовательно предавал все партии, все правительства. Это правда: он от Людовика XVI перешел к республике, от нее — к Директории, от последней — к Консульству, от Консульства — к Наполеону, от него — к Бурбонам, от них — к Орлеанам, и, может быть, до своей смерти от Луи-Филиппа снова перейдет к республике. Но он вовсе не предавал их всех: он только покидал их, когда они умирали. Он сидел у одра болезни каждого времени, каждого правительства, всегда шупал их пульс и прежде всех

замечал, когда их сердце прекращало свое биение. Тогда он спешил от покойника к наследнику, другие же продолжали еще короткое время служить трупу. Разве это измена? Потому ли Талейран хуже других, что он умнее, тверже и подчиняется неизбежному? Верность других длилась не больше, только заблуждение их было продолжительнее. К голосу Талейрана я всегда прислушивался, как к решению судьбы. Мне еще помнится, как я испугался, когда, после возвращения Наполеона с Эльбы, Талейран остался верен Людовику XVIII. Это предвещало мне гибель Наполеона. Я обрадовался, когда он объявил себя сторонником Орлеанских: из этого я заключил, что Бурбонам конец. Мне хотелось, чтобы этот человек жил у меня в комнате: я бы представил его, как барометр, к стене и, не читая газет, не отворяя окна, каждый день знал бы, какова погода на свете».

Для буржуазного публициста того времени повсеместная и полная победа буржуазии — в одних странах раньше, в других позднее — именно и была неизбежным роком, благим велением исторических судеб, которое с самого начала своей деятельности правильно угадал Талейран.

Для Стендаля Талейран всегда был синонимом низкого человека и предателя. «Парижская публика (говорит один из его героев), когда слышит о какой-либо низости или выгодной измене, восклицает: браво, вот хорошая штука в духе Талейрана. И публика восхищается»¹².

Но у Стендаля, как и у многих, писавших о Талейране в те времена, борется признание большой одаренности этого человека с полнейшим презрением к его «морали». И неизвестно, какой эпитет замечательный писатель чаще применяет к Талейрану: «гений» (*un génie*, *un vaste génie*) или «мошенник» (*le coquin*). «Не могу я жить с людьми, неспособными к утонченным мыслям, как бы они ни были добродетельны. Я сто раз предпочел

бы изящные нравы испорченного двора. Вашингтон мне бы наскучил смертельно, и я бы лучше хотел очутиться в одном салоне с г. Талейраном», — восклицает один из героев Стендаля¹³.

В Талейране Стендаль усматривает своего рода политического «философа», который откровенно служит только тем, кто ему платит и устраивает его благополучие. А о народном благе говорят при этом «только глупцы или лицемеры». Нельзя служить, одновременно думая о благе правящих и управляемых, «вообразать, что интересы пастуха и интересы баранов совпадают». Талейран этого никогда и не думал: «Данный человек мне платит и устраивает мое счастье. Я буду ему помогать, а на остальное не обращаю внимания (*et je me fiche du reste*), каждый для себя. Я доволен... Таково рассуждение Талейрана и многих умных людей», — утверждает Стендаль¹⁴. Во всяком случае, эта психологическая догадка удовлетворительно объясняет ему все поведение Талейрана.

Откровенен (и грустен) Талейран, доживая век, бывал только с самим собой, в те редкие моменты, когда ночная тоска заставляла его братья за карандаш.

«Вот и протекли восемьдесят три года... Сколько забот. Сколько волнений. Сколько зложелательности я внушил. И все это без иных результатов, как большая физическая и моральная усталость и глубокий упадок духа перед грядущим, и отвращение к прошлому». Так, лежа на одре долгой болезни, писал только для одного себя в конце жизни Талейран. Приведа эти думы, случайно ставшие впоследствии достоянием гласности, всегда отрицательно относившийся к князю Луи-Блан пишет: «Оставаясь наедине с самим собой в ночной тишине, Талейран с высоты своей притворной гордости низвергался в невыразимое уныние, и при свете лампы, которая освещала его одинокое бдение, ему слу-

чалось писать строки, в которых сказывалось и множество мыслей и падение душевных сил¹⁵.

«Притворная гордость»: эти слова объясняются убеждением Луи Блана, что Талейран, презирая людей вообще, презирал в душе и всю жизнь и самого себя, и что его всегдашняя холодность, надменная, пренебрежительная насмешливая мина была маской, прикрывавшей безотрадное чувство, изредка, к концу, им овладевавшее.

5

Смерти Талейрана уже с первых месяцев 1838 г. ждали со дня на день. Газеты писали о быстром ухудшении, о грозно прогрессирующем упадке его сил. И вдруг — в Париже разнеслась удивительная новость.

На 3 марта 1838 г. в Академии моральных и политических наук было назначено чествование памяти академика графа Рейнара, довольно бесцветного французского дипломата, некогда управлявшего очень недолго министерством иностранных дел, бывшего талейрановского подчиненного. Совершенно неожиданно старый князь давно и опасно больной, заявил, что он желает произнести поминальную речь в Академии, где он состоял с 1797 г., но уже очень давно перестал бывать.

Он задумал воспользоваться случаем, чтобы всенародно заявить свое мнение о дипломатах. Никогда решительно он об этом не говорил. Это сенсационное выступление Талейрана в Академии было определенной попыткой доказать или хоть прозрачно намекнуть, что именно он сам и является образчиком всех добродетелей, носителем которых должен быть министр иностранных дел. Присутствовавшие навсегда запомнили это 3 марта 1838 г.

Талейран обратился одновременно и к современникам и к грядущему потомству. Судя по одушевлению и жару этого выступления, редко когда ему так сильно хотелось, чтобы его лукавые уста обрели дар внушать доверие.

Эффект выступления был полный и своеобразный. Очень уж большое впечатление произвела сама личность оратора, который много лет не выступал нигде публично. На него глядели с жадностью, слушали, затаив дыхание, этот тембр старческого голоса, и он волновал, независимо от прямого смысла произнесенных слов. Слишком много страниц истории навсегда связалось с этим мертвенно-бледным, уходящим в могилу, иссохшим стариком. Видения старорежимного Версаля, тени Людовика XVI и Марии Антуанетты, образы Мирабо, революционеров, Дантона, участников феерии императорской коронации, герцога Энгиенского, Наполеона, испанских пленных принцев, Александра I, Карла X, Людовика XVIII — все эти образы, которые преследовали и пугали воображение Жорж Санд, когда она осматривала замок князя в Валансэ, все эти укоризненные, трагические, саркастические, гневные, уличающие, проклинающие призраки как бы оживали и толпились неотступно вокруг оратора и не хотели отходить от воображения собравшихся.

И только потом уже писавшие об этом дне очевидцы признали, что именно все воспоминания, все эти исторические тени, вызванные в их сознании и чувстве присутствием Талейрана, опровергали и отрицали все то, что оратор своей речью хотел внушить о себе самом своим загнипнотизированным слушателям.

Больной восьмидесятичетырехлетний старик уже двигаться самостоятельно не мог, и его почти на руках внесли в залу и проводили под руки на трибуну. Академики и пе-

реполнившая залу публика при его появлении встала и стоя приветствовала рукоплесканиями этого иссохшего полу-мертвеца, которому оставалось прожить на свете еще только два с половиной месяца. Он начал говорить и говорил долго, и речь его имела громадный успех как среди слушателей, так затем и в значительной части прессы. О чем же он говорил, чему поучал?

Он назидательно указывал, какими свойствами должен обладать идеальный дипломат, совершенный и безукоризненный министр иностранных дел. Любовь к родине, постоянное чувство патриотического долга. Никогда добросовестный министр иностранных дел не должен забывать о своих возвышенных государственных функциях, о святости и ответственности своего призвания... Одним словом, отечество должно себя чувствовать за своим верным министром иностранных дел как за каменной стеной, если тот, кто носит это высокое звание, в самом деле достоин его, если он самозабвенно внемлет велениям своей патриотической совести!

Так вещал тоном мудрого старца, убеленного сединами учителя жизни, его высочество светлейший князь Беневентский, урожденный князь Талейран-Перигор, о котором все без исключения его слушатели (как и вся Франция, как и вся Европа, как и весь остальной мир) знали, что он предал сначала Людовика XVI, потом республику, потом Наполеона, которому так горячо целовал руки за пожалование ему владетельного княжества Беневентского и титула высочества и светлейшего князя; потом предал вторично Бурбонов. Правда, в то время многие не были еще осведомлены, что случалось князю также несколько лет подряд состоять на тайной службе у Александра I и поторговывать после Эрфурта французскими государственными секретами за приличное поштучное вознаграждение;

случалось ему извещать и Меттерниха о передвижениях французских войск во время войны Наполеона с Австрией в 1809 г.; случалось выкрадывать из государственных архивов документы объемистыми пачками и продавать их по сходной цене тому же Меттерниху. Не знали также, хотя кое-кто смутно уже тогда догадывался, что совсем недавно, всего за три года с небольшим до этой прочувствованной патриотической речи в Академии об истинно честных и благородных дипломатах, маститый академик продал в Лондоне голландскому королю кое-какие вверенные его защите интересы Франции и Бельгии за пятнадцать тысяч фунтов стерлингов звонкой монетой и еще, по-видимому, намекал при этом, что хорошо бы удвоить эту сумму. Но зато уж похождения князя в области внутренней политики были всем известны и всем понятны. Чем же объяснить овации, триумф академической речи, ореол успеха, окруживший после этой лебединой песни сходящего в гроб старика, который поднялся с одра болезни, чтобы дерзко заявить, что он вправе безбоязненно смотреть в глаза новым поколениям? Почему и его слушатели и ближайшее потомство постарались забыть всю глубочайшую аморальность этого человека, существование которого, если рассматривать его с точки зрения нравственности, было сплошным и циничнейшим издевательством над самыми скромными, самыми нетребовательными правилами чести и примитивной порядочности, даже простой моральной чистоплотности?

На этот вопрос ответ нами уже дан. Поколения буржуазии, при которых протекали последние десятилетия жизни и деятельности Талейрана, помнили и хотели помнить лишь следующую полубыль-полулегенду: в 1814—1815 гг., сначала заключая Парижский мир 30 мая 1814 г., потом успешно добившись полного его подтверждения на Вен-

ском конгрессе в осень и зиму 1814—1815 гг., Талейран отстаивал границы Франции от феодально-абсолютистской Пруссии, от клерикально-монархической Австрии; спас часть французских колоний от английских хищников; Талейран хотел затем заставить Бурбонов примириться с наступавшим царством буржуазии, но тщетно, — его мудрые советы не были услышаны, и Бурбоны, связав себя с клерикально-феодальной реакцией, окончательно погибли; тогда тот же Талейран, как он сам о себе поспешил выразиться после своего лондонского посольства 1830—1834 гг., «дал Июльской революции право гражданства в Европе» и, отстаивая Бельгию от дипломатического натиска абсолютистских держав, снова и тут оказал услугу делу освобождения и политической консолидации буржуазии во Франции и в Бельгии, а тем самым и в Европе. А потому, заявляли люди вроде Бёрне, какие бы за ним ни числились грехи, — в конце своей жизни он сыграл прогрессивную историческую роль... «Я служил Франции при всех режимах», — повторялось словечко самого старого лукавца.

Такова была эта полубыль-полулегенда, эта крайне «стилизованная» в пользу Талейрана буржуазными либералами история его жизни и деятельности. Преувеличивалась безмерно личная роль Талейрана в 1814—1815 гг. в Париже и Вене в деле спасения целостности французской территории, причем почти вовсе игнорировалось решающее влияние России, в прямых интересах которой было предохранить Францию от расчленения; а об этом расчленении мечтали многие победители, в особенности в Пруссии, где долго не могли утешиться, когда им отказали в отдаче Эльзаса и Лотарингии. Одного дипломатического «искусства» Талейрана, конечно, не хватило бы, чтобы спасти Францию от хищных клыков Блюхера и ему подобных ни в 1814-м, ни в 1815 г. Что касается роли Талейрана, как

поборника буржуазии и борца против дворянской реакции при Реставрации, то здесь тоже читатель припомнит приведенные нами документы 1814—1817 гг., показывающие, что в данном случае «быль» была приукрашена легендой и о «зигзагах» Талейрана в сторону реакции умалчивалось. Наконец, хотя бесспорно деятельность Талейрана в Лондоне способствовала политической консолидации Июльской буржуазной монархии и укреплению тогдашних крайне шатких позиций Франции в международных отношениях, в особенности именно вначале, в 1830 г., но и тут нужно много отнести к внутреннему положению Англии, к яркой классовой борьбе перед избирательной реформой 1832 г., когда сначала консерваторы были парализованы и лишены возможности более активной внешней политики; многое объясняется (именно в бельгийском деле, в 1831—1832 гг.) и тем, что у Николая I заняты были руки Польшей. Все подобные безмерные преувеличения личной исторической роли Талейрана как одного из «богов», «делающих» всемирную историю, и вызвали упомянутое нами во введении справедливое отрицательное высказывание Энгельса о роли Талейрана, Меттерниха и Луи-Филиппа.

Такие преувеличения и прежде, когда их высказывали «немецкие бюргеры», которые этим раздражали Маркса и Энгельса, и впоследствии, когда их стали повторять и французские, и английские «бюргеры», и многие и многие историки, проистекали из неумения или нежелания сколько-нибудь серьезно учесть решающее значение всего комплекса социально-экономической и политической обстановки во Франции и Европе, среди которой Талейрану пришлось жить и действовать.

Но этому человеку, которому всегда так везло при жизни, повезло и после смерти. Победившая буржуазия решила признать его одним из крупных соратников, ко-

торый очень способствовал ее конечному торжеству, одним из деятелей «героического» периода этой борьбы. И уж тогда забыты и прощены были все многочисленные личные прегрешения Талейрана, из которых каждого было бы достаточно, чтобы опозорить и лишить доброго имени любого политического деятеля. Еще в последние годы жизни Талейрана сурово-нравственный, безукоризненный Ройе-Коллар стал дружить с ним, тот самый Ройе-Коллар, которого называли совестью либеральной партии, светочем и непреклонным блюстителем общественной морали. А с другой стороны, модный культ героев, подоспевший и быстро распространившийся в историографии под влиянием знаменитой книги Карлейля «Герои и героическое в истории»¹⁶, вышедшей очень скоро после смерти Талейрана, поощрял и тогдашних, и позднейших биографов Талейрана видеть в нем именно «делателя» и «бога» истории, «спасителя» новой, послереволюционной буржуазной Франции от феодально-абсолютистской реакции, готовой пожрать без остатка все приобретения Великой буржуазной революции. Это возвеличение продолжалось и тогда, когда о нашедшей книге Карлейля забыли и думать. Талейрана не только стали считать олицетворением буржуазной Франции, борющейся против феодализма, и в этом смысле сопоставлять с Наполеоном (не более и не менее!), но все эти курьезные увлечения, как уже сказано, не вполне ликвидированы в буржуазной исторической литературе о Талейране до сих пор: например, книга Гульельмо Ферреро выпущена в 1940 г., а кажется, будто написана она в разгар увлечения «культом героев»¹⁷.

Такова была посмертная талейрановская легенда. И начала твориться эта легенда еще за два с половиной месяца до смерти старого князя, когда он произнес свою послед-

нюю речь в Академии и достиг такого апофеоза и в Академии, и в прессе, и во Франции, и за границей. Эта речь в его устах была, в сущности, сплошным дерзновенным вызовом, сознательным забвением, игнорированием той правды, которую он сам за собой знал. И его слушатели, проводившие оратора бурными овациями, и очень многие писавшие о нем впоследствии, тоже как бы условились предать забвению или прощению эту страшную правду его жизни.

Его полная уверенность в себе, его способность с безмятежным челом и высоко поднятой головой шествовать по жизненному пути, милостиво, как нечто само собой разумеющееся, собирая дань почтения, сбивала с толку, приводила в недоумение далеко не одних только его слушателей в Академии моральных и политических наук в день 3 марта 1838 г.

Люди, не любившие и не уважавшие Талейрана, вроде, например, Герцена, терялись и недоумевали иной раз перед этим абсолютным аморализмом Талейрана, соединенным с совершеннейшим всегдашним спокойствием духа и сознанием какой-то своей мнимой «правоты». Им иногда даже казалось, что Талейран чувствует себя не действующим лицом, каким он был, но чем-то вроде зрителя, созерцателя, наблюдателя, чуждого суеде мирской мыслителя. «Откуда взять увлеченному в омут событий, в самом круговороте их, ровное и мудрое беспристрастие зрителя, не будет ли это ниже или выше достоинства человеческого, не надобно ли для этого сделаться Талейраном или Гете?» — вопрошал Герцен¹⁸. И он как-то не решался, говоря о политической «беспартийности» Талейрана, провести знак равенства между Талейраном и Фуше и признать, что они были совсем одинаково эгои-

стичны («ячны»): «Есть другого рода люди, которые потому не принадлежат к партии, что или это несерьезно, что они ниже всеобщих интересов, например, Талейран, или гнусно ячны и подчиняют подлому расчету интересы общие, — например, Фуше»¹⁹. К сожалению, в этом своем раннем, интимном, исключительно для себя писанном дневнике, где он часто не доканчивает своей мысли, Герцен не поясняет точнее и вразумительнее — в чем именно он усматривает некую разницу между «моралью» Талейрана и «моралью» Фуше.

Стоящий на противоположном от Герцена политическом полюсе легитимист Витроль, так много работавший в 1814 г. под эгидой и по указке Талейрана по делу о призвании Бурбонов на престол, высказывается более категорично. Его монархическое благоговение к коронованным лицам возмущено тем, что Талейран, «этот старец, над челом которого отяготело столько позора, прогуливался по улицам Лондона в сопровождении короля Великобритании», принимавшего его как гостя своей страны; и что французский король «счел себя обязанным присутствовать при пышной кончине (la mort fastueuse) этого великого комедианта!» И Витроль, узколобый, фанатически ограниченный, но лично честный, восклицает: «Никогда еще общественная нравственность не была смущена подобным примером, зрелищем такой развращенности и стольких пороков, увенчанных постоянным успехом и видимой славой! Вот в чем его гений, и в этом отношении никого нельзя с ним сравнить»²⁰.

Оценку себе пытался давать Талейран иной раз не только на публичных заседаниях Академии... «Знаете ли вы, дорогой мой, — сказал он (незадолго до смерти) Гьеру, — что я всегда был человеком, наиболее в мораль-

ном отношении дискредитированным, какой только существовал в Европе за последние сорок лет, и что, однако, я всегда был либо всемогущим у власти, либо накануне возвращения к власти?»

В своем предсмертном политическом завещании он прибавлял: «Я ничуть не упрекаю себя в том, что служил всем режимам, от Директории до времени, когда я пишу, потому что я остановился на идее служить Франции, как Франции, в каком бы положении она ни была». Конечно, его противники и позднейшие критики заявляли, что подобными фразами нельзя было бы успокоить совесть, если бы она у Талейрана была в самом деле в наличии.

Но слова, сказанные Тьеру, несомненно, выражали искренне философию князя Талейрана. И он, с самого начала своей карьеры поставивший ставку на буржуазию и против того класса, к которому по рождению, по воспитанию, по вкусам, по связям, по манерам сам принадлежал, всегда выигрывал, потому что в этот исторический период буржуазия всегда побеждала, и ничто не могло противиться, — и всегда он был нужен, потому что и у буржуазии не было в распоряжении много таких голов, как сидевшая на плечах князя Талейрана. А что его при этом будут ругать — это он знал наперед, и знал, что сколько бы ни ругали, а без него не обойдутся. Знал (и предсказал) политическое могущество Тьера, в те времена молодого либерального министра, но уже имевшего на своем политическом счету при всем своем либерализме зверское усмирение восстания республиканцев в 1834 г. Талейран знал, что буржуазия еще очень долго будет прочно «сидеть в седле», в том седле, в котором он сам ей помогал усаживаться, и еще очень долго будет в состоянии роскошно награждать своих слуг. А Тьер уже

резней на улице Транснонэн во время усмирения восстания в 1834 г. явно обещал в будущем, в случае надобности, превратить весь Париж как бы в одну сплошную улицу Транснонэн (что в самом деле и исполнил при варварском подавлении Коммуны в мае 1871 г.). Следовательно, Тьеру могло предстоять блестящее будущее, не хуже талейрановского прошлого: хозяином и для престарелого знатнейшего аристократа и для молодого выходца из мелкой марсельской буржуазии являлся один и тот же общественный класс. Талейран служил этому буржуазному классу в его борьбе против дворянства. Тьер служил этому же классу в его борьбе против пролетариата. И Талейран, преуспевший карьерист, приветствовал в лице Тьера карьериста, которому суждено преуспеть, потому что Тьер тоже поставил жизненную свою ставку «удачно», на «хорошую лошадь».

Но если говорить о сравнении этих двух так несхожих во многом людей, то нужно признать, что для Тьера дело буржуазии было делом не только карьеры, но и делом кровным; классовое чувство было сильнее в нем, потому что он был сам буржуа с ног до головы. А Талейран только, так сказать, со стороны нанялся к буржуазии, был как бы кондотьером, отдавшим за плату свои силы тому классу, который, по его предвидению, должен был скорее победить и щедрее заплатить; сам же он с ног до головы, по привычкам, вкусам, мироощущению, оставался всегда, до могилы, старорежимным вельможей, и как в шекспировском короле Лире «каждый вершок был король», так и в князе Талейране каждый вершок был аристократ.

Для Тьера, как и для Лаффита, как и для Гизо, и для Казимира Перье, и для всего их поколения, буржуазия была венцом мироздания и цветом человечества, а бур-

жуазная Июльская революция была окончательной и восхитительной, идеальной развязкой, завершающей точкой, которую всеблагое провидение поставило в книге судеб. Для Талейрана же буржуазия была только тем классом, для которого как раз в тот момент, когда вот он, Талейран, живет и действует, условия оказались очень благоприятны, почему и следует именно работать и идти с этим классом, а не против него. А революция 1830 г., с точки зрения политической философии старого дипломата, была лишь одним из эпизодов французской истории, за которым в свое время последуют другие эпизоды, очень может быть, совсем противоположного характера по своим результатам. Но об этих далеких будущих событиях Талейран не любил рассуждать. Да он и не забывал, что ему перевалило за восемьдесят и что уже во всяком случае для него-то лично Июльская революция, конечно, будет последней, которую ему суждено было увидеть.

Весной 1838 г. после заседания в Академии болезненное состояние 84-летнего старика резко ухудшилось. Перед самой смертью, по настоянию своей племянницы, герцогини Дино, он примирился с католической церковью и получил от самого папы римского «отпущение грехов», чем в глазах верующих должен был спасти свою многогрешную душу от совсем уже готовых ухватить ее когтей дьявола. «Князь Талейран всю свою жизнь обманывал бога, а пред самой смертью вдруг очень ловко обманул сатану» — таково было чье-то широко распространившееся в те дни суждение об этом неожиданном, курьезном «примирении» абсолютно ни во что не веровавшего старого вольтерьянца и насмешливого циника, — отлученного некогда от церкви бывшего епископа Отенского, — с римским папой и с католической религией.

17 мая 1838 г. король Луи-Филипп со своей сестрой, принцессой Аделаидой, прибыл проститься с умирающим, который поражал всех совершеннейшим своим спокойствием и успел даже отпустить Луи-Филиппу коснеющим языком какой-то изящный царедворческий комплимент.

Спустя несколько часов после королевского визита князь Талейран скончался.

КОММЕНТАРИИ

ТАЛЕЙРАН ПРИ «СТАРОМ ПОРЯДКЕ» И РЕВОЛЮЦИИ

Глава II

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, Госполитиздат, 1955, стр. 471.

² А.И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, т. 2, М., 1954, стр. 287.

³ Там же, стр. 295.

⁴ Например, Кавура, в главе «Былого и дум», озаглавленной «Горные вершины», Герцен иронически называет «маленьким Талейраном».

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 11, стр. 187.

⁶ Sainte-Beuve. Monsieur de Talleyrand. Paris, 1880, стр. 141. Эти статьи Сент-Бёва появились впервые в газете «Le Temps» в начале 1869 г.

⁷ «Chaque juor diminue la sympathie pour Louis XVI dont M. Talleyrand a dit qu'il montra le courage d'une femme en couches». Stendhal. Courrier anglais, t. III, Paris, 1935, p. 76 (Paris, le 20 mai 1826).

⁸ Талейран — княгине Ламбеск, 9 октября 1789 г. G. Lacour-Gayet. Talleyrand (1754—1838), t. IV, Mélanges, Paris, 1934, p. 26—28. Далее — «Mélanges».

⁹ Bernard de Lacombe. Talleyrand, évêque d'Autun. D'après des documents inédits, Paris, 1903, p. 197 et 229.

¹⁰ О.А. Старосельская-Никитина. Очерки по истории науки и техники периода французской буржуазной революции 1789—1794, М., 1946, стр. 143.

¹¹ «Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles», t. III, Paris, 1884, p. 451 (Notes).

¹² «Talleyrand in America as a financial promoter. 1794—1796. Unpublished letters and memoirs. In three volumes». Volume II. Translated and edited by Hans Huth and Wilm Pugh. Washington, 1942. У нас в руках был лишь один (второй) том этого трехтомного издания, но он начинается с момента прибытия Талейрана в Америку, а последние документы помечены уже началом 1796 г., так что неясно, каково содержание первого и третьего томов. Французский подлинник не издан до сих пор. Сборник — сплошь на английском языке.

¹³ Там же, стр. 126.

¹⁴ Anna Bowman Dodd. Talleyrand. The training of a statesman. 1754—1838. New York, 1927, p. 312—315.

¹⁵ Stendhal. Lucien Leuwen, t. I, Paris, 1929, p. 61. «Vous n'avez pas la peau assez dure pour ne pas sentir le mépris public. Mais on s'y accoutume, on n'a qu'à mettre sa vanité ailleurs. Voyez M. de N. («modèle: prince de Talleyrand»). On peut même observer à l'égard de cet homme célèbre que quand le mépris est devenu lieu commun il n'y a plus que les sots qui l'expriment».

¹⁶ «Mélanges», p. 215.

¹⁷ Американцы назвали иронически этих *не названных* Талейраном «обманщиков»: «икс, игрек и зет». Так и обозначается в американской историографии весь этот инцидент: «X.Y.Z.».

¹⁸ Талейран — Оливу, 10 мая 1797 г., «Mélanges» p. 51—52.

¹⁹ C.L. Lokke. Pourquoi Talleyrand ne fut pas envoyé à Constantinople. «Annales historiques de la révolution française», tome dixième, 1933, p. 153—159.

Глава III

¹ Архив внешней политики. Канцелярия Мин. ин. дел, № 3712 папка: France, Ministère. Talleyrand. № 1. 1801, f. 2. Réçu le 14 mars 1801. «...Je dois vous exprimer la satisfaction, que j'éprouve de voir arriver le moment, où par les discussions franches et approfondies sur tous les objets d'intérêt commun, il sera possible de consolider la paix du continent et de préparer l'affranchissement des mers. (Paris, le 12 ventôse de l'an 9 de la République. A Son Excellence M. le comte de Rostopchin, ministre d'Etat et des affaires étrangères)».

² Архив внешней политики. Папка: France. Ministère. Talleyrand. 1802. Projet d'une lettre au ministre Talleyrand. № 3. Le 4 juillet 1802. Подписано: P-се Alex. Kourakine: «...je partage vivement la satisfaction que vous me témoignez de l'heureux résultat de votre travail avec le C. de Morkoff sur les indemnités germaniques, mais j'éprouve une plus particulière encore de pouvoir vous annoncer que l'Empereur n'a fait aucune difficulté d'y donner son approbation».

Там же: «...ses instructions (даваемые командируемому в Регенсбург Бюлеру) sont de se concerter pour tout ce qui peut avoir rapport aux indemnités avec le ministre de la République et de faire des démarches communes... pour obtenir l'effet de l'intervention de deux gouvernements et la consolidation des arrangements proposés. M. de Morkoff est chargé de faire connaître au Premier Consul ce que l'Empereur désire encore en faveur du duc de Meclenbourg-Schwerin et du prince-évêque de Lubec... Il me reste à désirer, citoyen Ministre, que le succès reponde à notre commune attente et on doit l'espérer et d'impartialité du poids attaché à une aussi puissante méditation».

³ Paris, le 30 vendémiaire an XI (22 octobre 1802). «Mélanges», p.66.

⁴ «Mélanges», p. 70—72.

⁵ Saint-Beuve. Monsieur de Talleyrand, p. 85. (Это перепечатка статей 1869 г. с добавлениями).

⁶ Stendhal. Courrier anglais, t. III, p. 65: «M. de Talleyrand vous à habitués à mépriser les petites actions basses quand elles ne sont point absolument utiles».

⁷ Stendhal. Napoléon, f. I. Vie de Napoléon, Paris, 1929, p. 92.

⁸ Там же, стр. 95.

⁹ Там же, стр. 98.

¹⁰ Талейран — Виалю (посланнику в Швейцарии). «Mélanges», p. 81.

¹¹ Кн. П.А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VIII. («Старая записная книжка»), СПб., 1883, стр. 349. Вяземский был очень осведомлен обо всех парижских делах и отношениях времен Империи и Реставрации через близкого своего друга Александра Михайловича Тургенева, знавшего Париж, как Москву или Петербург (если не больше).

¹² Stendhal. Napoléon, t. I. Vie de Napoléon, p. 123—124.

¹³ Le comte Charles de Nesselrode à son père, la Haye, le 13 Janvier 1805. «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode. 1760—1850. Extraits de ses archives...», t. III, Paris, 1905, p. 12.

¹⁴ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, p. 139. Le comte Charles de Nesselrode à son père, la Haye, le 25 avril 1806.

¹⁵ «Mémoires, documents et écrits divers... de Metternich...», t. II, Paris, 1880, p. 235—236. Metternich à Stadion. Paris, le 24 septembre 1808.

¹⁶ «Mémoires, documents et écrits divers... de Metternich...», t. II, p. 261—262. Metternich à Stadion, № 130.

¹⁷ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, p. 225.

¹⁸ Этот ценнейший документ (донесение Меттерниха австрийскому министру Стадиону) найден и впервые напечатан Emile Dard в журнале «Revue de deux Mondes» (1 mars 1934) и

перепечатан Лакуром-Гайе в изданном им томе «Mélanges», p. 99—100, а также в книге Dard «Napoléon et Talleyrand», P. 1935.

¹⁹ См. статью «La vengeance de Talleyrand» в «Revue des deux Mondes», т. XX, 1934, стр. 219. Эта статья с некоторыми редакционными изменениями перепечатана впоследствии автором в его «Napoleon et Talleyrand», и в немецком издании 1940 г. («Napoléon und Talleyrand»).

²⁰ Архив внешней политики. France. Ministère. Réception. Talleyrand à S.M. l'Empereur, 1809, № 1. Собственноручное письмо Талейрана, le 10 février 1809. «Sire, toutes les lettres de votre Majesté Impériale ajoutent à ma reconnaissance, à mon attachement, à mon respect pour Elle. Je sens profondément les bontés qu'Elle accorde à mon neveu et à moi: je la supplie de me les continuer. Sire, j'admire votre noble et sage persévérance dans le projet de correspondance que Vous avez conçu. Je propose à Mr. Speranski — M. Dupont qui par la variété des parties de l'administration dans lesquelles il a été employé me paraît l'homme le plus capable de suivre habilement la partie de la correspondance dont il me parle. C'est un homme de bien fort instruit et susceptible d'un grand attachement... Mr. Speranski, si ce choix lui paraît convenable, aura la bonté d'écrire directement à M. Dupont pour lui faire connaître les intentions de Votre Majesté et le mettre à portée de les remplir. Sire, je ne puis mettre aux pieds de Votre Majesté, Impériale rien qui soit au-dessus de mon respect et de mon dévouement».

²¹ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, Paris, 24 mars — 7 avril 1810; Paris, 26 mars — 7 avril 1810, p. 236—237.

²² «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, Paris, 27 mai — 8 juin 1810, p. 262—263.

²³ Архив внешней политики Мин. ин. дел, № 3443, письмо № 3, 9 мая 1809. Подписано: Prince de Bénévent.

²⁴ Архив внешней политики. Мин. ин. дел № 3743, письмо № 4. Подписано: P-ce de Bénévent. Paris, 23 octobre 1809. «Vous faites aussi une petite caresse aux anglais; elle montre que votre fidélité

au système (sic) continental n'exclut pas une sorte de bienveillance conciliatrice: par là vous entrouvrez chez les autres puissances une route à des idées plus libérales et vous indiquez que votre cabinet verrait avec plaisir qu'on y revint».

²⁵ Там же, вторая страница письма.

²⁶ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, Paris, 13/25 juin 1810, p. 270—271.

²⁷ Там же, t. III, Paris, 14/26 juin 1810, p. 282—283.

²⁸ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, Paris, 6/18 juin 1810, p. 268—269.

²⁹ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, p. 304—305.

³⁰ Там же, t. III, p. 307 и др.

³¹ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, p. 313.

³² Там же, t. III, Paris, 2/14 Janvier 1811, p. 316.

³³ Там же, t. III, Fontainebleau, 23 octobre —4 novembre 1810, p. 298.

³⁴ Там же, t. III, Paris, 4/16 février, 1811, p. 318—319.

³⁵ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode», t. III, Paris, 19/31 mars 1811, p. 338.

³⁶ Там же, t. III, Paris, 9/21 avril 1811, p. 341—342.

³⁷ Там же, t. III, Paris, 5/17 juin 1811, p. 362.

³⁸ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9046. Le prince Kourakine à S. E. M. le comte de Romanzoff (sic). Paris, 12/24 mars 1812.

³⁹ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 2433. Le prince Alexandre Kourakine à S. E. M. le comte Romanzoff, Paris. Le 23 mars (4 avril) 1812.

⁴⁰ Архив внешней политики. Мин. ин. дел. № 9049. Шифрованное донесение Куракина графу Салтыкову. Pavillon Coislin. Coteau de Bellevue. № донесения 318. Le 7 juin 1812. Получено 30 июня.

⁴¹ «Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence...», t. II, Paris, 1933. p. 221.

⁴² Там же, t. II, p. 257.

⁴³ «Mémoires du général de Coulaincourt, duc de Vicence...», t. II, p. 251.

⁴⁴ Там же, t. II, p. 253.

⁴⁵ Там же, t. II, p. 274.

⁴⁶ Там же, t. II, p. 332.

⁴⁷ Этот отрывок из неизданных мемуаров Шарля Ремюза впервые напечатан Лакур-Гайе в 1934 г. в сборнике документов «Mélanges», p. 113—114.

Глава IV

¹ По другим показаниям, в действительности сенаторов явилось не 74, а 63.

² «Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles». t. I, Paris, 1884, p. 119.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. I, стр. 531.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, ч. 2, стр. 589.

⁵ «Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence». t III, p. 85—86.

⁶ А.И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией Н.К. Лемке, т. XV, стр. 674.

⁷ Stendhal. Napoléon. La Vie de Napoléon, Paris, 1929, p. 277—278. Это первый том Стендаля под общим названием «Napoléon». Второй том под тем же общим названием имеет другой подзаголовок: «Mémoires sur Napoléon», его я цитирую в другом месте. Это лучшее, единственно полное научное издание этих обоих томов Стендаля, вышедшее под редакцией Louis Royer. Оба тома составляют часть Полного собрания сочинений Стендаля в издании Arbetet et Champion (Paris, 1929).

⁸ Stendhal. *Le Rouge et le Noir*, t. II, p. 54—55. «M. Desconoulis aura un nom dans l'histoire... il a fait la Restauration avec l'abbé de Pradt et M. de Talleyrand et Pozzo di Borgo» (Paris, 1932).

⁹ Stendhal. *Correspondance*, t. IV, Paris, 1934, p. 282 (A sa sœur Pauline, le 15 avril 1814, № 3).

¹⁰ Текст этого официального документа см. Stendhal. *Correspondance*, t. IV, p. 281, № 571-C. *Adhésion aux actes du Sénat*. Paris, le 7 avril 1814. Подписано: De Beyle.

¹¹ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, канцелярия. № 1633. *Campagnes de France. Séjour de Paris. Le Prince de Bénévent. Réception*. 1814, № 500. Подписано: Le P-ce de Bénévent, Paris, le 14 mai 1814.

¹² Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 1634, канцелярия, 1814, № 505. *Au prince de Bénévent*, Paris, le 8/20 mai 1814.

¹³ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9052, Paris, *Réception. Le général Pozzo di Borgo*, 1814. Поццо ди Борго — Александру I, Paris, le 25 juin 1814; Поццо ди Борго — Нессельроде, le 18/30 avril 1814 и другие в той же папке № 9052.

¹⁴ Ch. Dupuis. *Le ministère de Talleyrand en 1814*, t. II, Paris, 1920, p. 2.

¹⁵ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9052, 1814. Pozzo di Borgo — Nesselrode (№ 34 — красными чернилами, № 31 — черными чернилами). Paris, le 29 juin (10 juillet) 1814.

¹⁶ Ch. Dupuis. *Le ministère de Talleyrand en 1814*, t. II, p. 98—99.

¹⁷ «*Mémoires du général Caulaincourt, duc de Vicence*», t. III, p. 246.

¹⁸ Прелиминарное соглашение состоялось еще 23 апреля.

¹⁹ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, канцелярия, № 1633. *Campagnes de France: Séjour de Paris. Le Prince de Bénévent. Réception*. 1814. Пометки на самом письме: СПб. Главный архив Мин. ин. дел и цифра красными чернилами: № 503. Дата в конце рукой Талейрана (как и все письмо): 13 juin 1814. Подписано: *Veillez agréer, Sire, avec Votre bonté accoutumée l'hommage*

du profond respect, avec lequel je suis, Sire, de Votre Majesté le plus humble et très obéissant serviteur le Prince de Bénévent. — Это письмо приводит и Талейран в своих мемуарах, и Шильдер в III томе своего труда об Александре I. Я пользовался подлинным текстом, от начала до конца, написанным, подписанным и датированным рукой Талейрана.

²⁰ Почти теми же словами Талейран отозвался на нелепый отказ Людовика XVIII принять в апреле 1814 г. герцога де Лянкура только потому, что герцог участвовал в знаменитом заседании Учредительного собрания в ночь на 4 августа 1789 г., когда было решено отменить сеньориальные права. Вот в какой редакции мысль Талейрана дошла до Литтона-Бульвера: «The King, you say, will look back on the past, but Nature had placed the eyes of man in the front of their heads, in order that they may look forward». (Sir Henry Lytton-Bulwer, *Historical characters: Talleyrand. Cobbett, Mackintosh, Conning*, vol. 1, Lpz., Tauchnitz, 1868, p. 230. *Talleyrand, the politic man*).

²¹ «Sire, je conviens que Vous avez vu à Paris beaucoup de mécontents; mais en écartant encore la promptitude de la dernière révolution, et la surprise de tant de passions, toutes agitées en même temps qu'est-ce que Paris après tout? Rien qu'une ville d'appointement. La cassation seule des appointements a averti les parisiens du despotisme de Bonaparte. Si l'on avait continué de payer les gens en place, c'est en vain que les provinces auraient gémi de la tyrannie. Les provinces, voilà la vraie France, c'est la qu'on bénit réellement la maison de Bourbon et que l'on proclame votre heureuse victoire».

²² «Mais, Sire, que votre âme généreuse sache avoir un peu de patience! Vrai bon français que je suis, permettez moi de vous demander en vieux langage français de nous laisser reprendre *l'ancienne accoutumance* (подчеркнуто Талейраном. — *E.T.*) de l'amour de nos rois: ce n'est pas à vous à refuser de comprendre l'influence de ce sentiment sur une grande nation».

²³ Там же: «D'ailleurs les principes libéraux marchent avec l'esprit du siècle, il faut qu'on y arrive et si Votre Majesté veut se fier à ma parole, je Lui promets que nous aurons de la monarchie liée à la liberté, qu'Elle verra les hommes de mérite, accueillis et placés en France. Et je garantis à Votre gloire la bonheur de notre pays».

²⁴ Ch. Dupuis. Le ministère de Talleyrand en 1814. t. II, p. 170.

²⁵ Там же, стр. 172.

²⁶ Бомбелль — Меттерниху. Paris, le 15 septembre 1814; Ch. Dupuis. Le ministère de Talleyrand en 1814, t. II, p. 202.

Глава V

¹ Bellio au prince de Valachie (intercepta). Vienne, le 3 octobre 1814. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, Paris, 1917, p. 218, № 269. Под этим названием изданы в двух больших томах донесения тайных австрийских агентов, которым Меттерних поручил секретное наблюдение над съехавшимися в Вену дипломатами.

² Hager à l'Empereur. Vienne, le 13 octobre 1814. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 271, № 344.

³ Rapport à Hager. Vienne, le 13 octobre 1814. Там же, t. I, p. 279, № 355. В 1917 г., накануне разгрома Габсбургской империи, французам удалось добраться до секретных донесений австрийской тайной полиции, изо дня в день следившей за государями и дипломатами в течение всего времени Венского конгресса. Эти интересные документы издал Н. Weill в двух больших томах в Париже в 1917 г. под названием «Les dessous du Congrès de Vienne».

⁴ Schmidt à Hager, Vienne, le 17 octobre 1814. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 326, № 439.

⁵ Перехваченное письмо (intercepta) к герцогине Цвейбрюкенской. Там же, t. I, p. 300, № 390, Vienne le 15 octobre 1814.

⁶ Там же, т. I, с. 304, № 397.

⁷ Nota à Hager. Vienne, 30 septembre 1814. Там же, т. I, p. 182, № 221. Они пишут не note, а по-латыни: nota.

⁸ Rapport à Hager. Vienne, le 1 octobre 1814. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 184, № 224.

⁹ Rapport à Hager. Vienne, le 10 octobre 1814. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 200, № 329.

¹⁰ Nota à Hager. Vienne, le 11 octobre 1814. Там же, т. I, p. 267, № 347.

¹¹ Hager. Vienne, le 7 octobre 1814. Эти донесения не имеют особых названий, а возглавляются фамилией начальника группы агентов, в данном случае фамилией Hager. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 241, № 304.

¹² Nota à Hager. Vienne, de 7 octobre 1814. Там же, т. I, p. 240, № 302.

¹³ Слова Талейрана принцу Антону Саксонскому. Nota à Hager. Vienne, le 6 octobre 1814. Там же, т. I, p. 235, № 294.

¹⁴ Slendhal. Courrier anglais, p. 19—20. «M. le prince de Talleyrand, l'homme de France qui a l'esprit le plus vif et les passions les plus viles... C'est M. de Talleyrand qui inventa cette excellente mystification».

¹⁵ Rapport à Hager. Vienne, le 9 octobre 1814. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 258, № 325.

¹⁶ Hager. Vienne, le 14 novembre 1814. Там же, т. I, p. 525, № 767.

¹⁷ Hager. Vienne, le 13 novembre 1814. Там же, т. I, p. 522, № 762.

¹⁸ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9055. Бутягин — графу Нессельроде. Paris, le 7/19 octobre 1814, № 107.

¹⁹ Correspondance inédite du prince de Talleyrand et de roi Louis. XVIII pendant le Congrès de Vienne... (éd. M.G. Pallain); Paris, 1881, p. 76—78, № 8.

²⁰ Hager. Vienne, le 26 novembre 1814, № 925. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 212, № 925.

²¹ Ch. Dupuis. Le ministère de Talleyrand en 1814, t. II, p. 204.

²² Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII. Vienne, le 25 novembre 1814. № XXII, p. 148—149.

²³ Самое полное и научное издание документов Венского конгресса вообще, а бумаг за ноябрь и декабрь 1814 г. в частности, см. в четырехтомном редактированном Angeberg'ом издании документов «Le Congrès de Vienne et les traités de 1815. Précède et suivi des actes diplomatiques qui s'y rattachent. Avec une introduction historique. Par... Capéfigue». Интересующие нас тут недели, предшествующие заключению секретного трактата 3 января 1815 г., см. во втором томе. Paris, 1864.

²⁴ Correspondance inédite etc., Vienne, le 4 janvier 1815, p 209, № 36.

²⁵ «Traité secret d'alliance défensive, conclu à Vienne entre Autriche, la Grande Bretagne et la France contre la Russie et la Prusse, le 3 Janvier 1815».

Полный его текст занимает три страницы (589—591) во II томе четырехтомного собрания документов издания д'Ангеберга «Le Congrès de Vienne et les traités de 1815», Paris, 1864.

²⁶ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9055. Бутягин — графу Нессельроде (письмо № 110), Paris, le 14/26 octobre 1814.

²⁷ Le Tour du Pin au marquis de Bonnay, Vienne, le 8 décembre 1814. «Les dessous du Congrès de Vienne», t. I, p. 657, № 1010. Письмо, перехваченное австрийскими агентами.

²⁸ Cinquième protocole de la séance du 8 février 1815, des plénipotentiaires de cinq puissances. Annexe. «Le Congrès de Vienne et les traités de 1815», t. II, p. 707—708. Заявление Гарденберга.

²⁹ Honore de Balzac. Le père Goriot. Paris, Ed Bibliothèque. Larousse, p. 98.

³⁰ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 8304. Naples. Réception. Le Comte Mocenigo. 1815. Шифр, перевод на франц. язык под шифром. Naples, le 27 juillet (8 août) 1815. Мочениго — графу Нессельроде, № 119.

³¹ Там же, шифр № 122. Naples le 31 août (12 septembre), 1815. Мочениго — графу Нессельроде.

Неверная цифра, которую дают Баррас и Шатобриан (в своих мемуарах) — 3 700 000 франков, была принята на веру Лакур-Гайе (Talleyrand, t. III, p. 439), не говоря уже о других биографах. Русский шифрованный документ никому из них не был известен. В этой документации важна, конечно, не цифра, но точное констатирование факта продолжавшейся все же зависимости неаполитанских Бурбонов от Франции уже после Венского конгресса, несмотря на усилия Меттерниха в пользу ориентации австрийской.

³² «Mélanges», p. 140.

³³ «Mélanges», p. 160.

³⁴ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 11812. C. de V France. Réception, 1815, № 113. Prince Talleyrand à M. le comte de Nesselrode, Vienne, le 13 mars 1815.

³⁵ Там же, № 114. Prince de Talleyrand à M. le comte de Nesselrode, Vienne, le 21 mars 1815.

³⁶ «Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence», t. I, p. 191.

³⁷ «Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence», t. I, p. 192.

³⁸ Архив внешней политики, № 1752. Bruxelles, le 5/17 avril, 1816 (№ донесения 331). Поццо ди Борго — графу Нессельроде.

³⁹ Stendhal. Courrier anglais, t. III, p. 102.

⁴⁰ Архив внешней политики. Vienne — Congrès — Ministère 1815, № 11781—11786. Нессельроде — Александру. Vienne, le 16 mai 1815 (95—96).

Глава VI

¹ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9052, 1814. Pozzo di Borgo à Nesselrode, Paris, le 14/26 septembre 1814. «...Votre Excellence est déjà informée de la différence qui existe dans les éléments de sa composition. Le Prince de Talleyrand

cherche constamment à s'attacher avec deux extrêmes sans se compromettre avec personne, sa paresse et sa réserve lui permettent toujours de parler des choses, lorsqu'elles sont faites et d'en parler dans le sens qui devient le dominant soit à la cour, soit dans le public sans avoir égard au mérite réel de l'affaire».

² Архив внешней политики, № 1752, № донесения 338. Gand, le 21 avril — 3 mai 1815. Поццо ди Борго — графу Нессельроде.

³ Архив внешней политики, № 1752. Bruxelles, le 10/22 juin 1815 (донесение № 371). Поццо ди Борго — графу Нессельроде.

⁴ «Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration par le général comte de Rochecouart», Paris, 1898, p. 395—396.

⁵ «Où veux-tu, que je me retiré, traître?» — «Où tu voudras, imbécile!»

Это передал лично сам Фуше графу Рошешуару. «Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration», стр. 406.

⁶ G.H. Pertz. Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein. B. IV, Berlin, 1851, S. 549.

⁷ G.H. Pertz. Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein. B. IV, S. 563—564.

⁸ Там же. Т. IV, стр. 551.

⁹ Sir Henry Lytton-Bulwer, Historical characters, v. I, p. 277 (Talleyrand, the politic man).

¹⁰ «Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration», p. 411.

Глава VII

¹ «Mélanges» p. 161.

² Архив внешней политики. Мин. ин. дел. № 9062. Поццо ди Борго — графу Нессельроде, № 79. Paris, le 25 janvier (6 février) 1816.

³ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9063. Письмо № 203 (красн. чернилами 145). Поццо ди Борго — графу Нессельроде, Paris, le 23 juin (5 juillet) 1816.

⁴ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9067. Канцелярия. Донесение № 364. Поццо ди Борго — графу Нессельроде, Paris, le 2/14 février 1817.

⁵ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9067. Annexe au № 526 des dépêches du général Pozzo (sic!) en date du 21 septembre — 3 octobre. Réponses aux questions adressées au général Pozzo di Borgo par M. le comte de Capodistrias, de Franzesbrun en date du 28 août — 9 septembre 1817. Paris, le 21 septembre — 3 octobre 1817.

⁶ Архив внешней политики Мин. ин. дел, № 9067. Письмо № 365, le 2/14 février 1817.

⁷ Там же. Поццо ди Борго — графу Нессельроде. Paris, le 14/26 février 1817.

⁸ Архив внешней политики. Мин. ин. дел, № 9067, донесение № 415. Поццо ди Борго — графу Нессельроде. Paris, le 8/20 avril 1817.

⁹ Stendhal. *Courrier anglais*, t. IV, p. 87: «Ce discours, mémorable en politique a pris rang sur le champ en littérature. L'opinion publique a dit: l'on n'a rien vu d'égal depuis les beaux jours de Mirabeau».

¹⁰ Stendhal. *Correspondance*, t. VI, p. 285, № 837-g. Versailles, le 10 janvier 1830.

¹¹ Stendhal. *Courrier anglais*, t. IV, p. 81 (le 1 février 1825) «...Cet homme d'Etat adroit qui depuis trente ans témoigne tant de clairvoyance politique en prévoyant les destins futurs de la France a démontre aux ultras dans les mémoires divers qu'il est impossible de restaurer l'ancien régime».

Там же, стр. 99. «Vieux et rusé Talleyrand qui malgré ses soixantedix printemps est encore la meilleure tête de la France... Mais les chefs actuels ont tellement conscience de leur propre insuffisance en présence du génie de Talleyrand qu'ils ont refusé de lui confier la direction de

leurs affaires sous le ridicule prétexte qu'il est un des hommes les plus immoraux de France».

Там же, p. 101: «...les chefs des émigrés, les Montmorency, les Talaru etc. sont tout-à-fait dépourvus de capacité, aussi s'ils ne se laissent pas conduire par Talleyrand, le coquin le plus adroit d'Europe, ils ne feront qu'accumuler stupidement sottise sur sottise».

¹² Stendhal. Lucien Leuwen, t. II. Paris, 1929, p. 240—241. «Et que désirez vous que je soie?» — demanda Lucien d'un air simple. «Un coquin, reprit le père, je veux dire un homme politique, un Martignac, je n'irai pas jusqu'à dire un Talleyrand...» «...II me faut un premier ministre coquin et amusant, comme Walpole ou M. de Talleyrand» (там же, т. I, стр. 175).

Глава VIII

¹ Sir Henry Lytton-Bulwer. Historical characters vol I p. 299.

² «Puisque M. de Talleyrand — avait-il dit — se rattache au nouveau gouvernement français, ce gouvernement doit avoir nécessairement des chances de durée». Так читаем в мемуарах графа Моле.

Я искал, но не нашел в нашем Архиве внешней политики подтверждения точности слов, приписываемых Николаю I.

³ Архив внешней политики. Мин. ин. дел. Copie d'une dépêche du comte Pozzo di Borgo au comte Matuszewic en date de Paris, du 3/15 septembre 1830.

⁴ Архив внешней политики. Copie d'une dépêche en chiffres du comte Pozzo di Borgo en date de Paris, le 11/23 septembre 1830, № 102.

⁵ «Mélanges» («Ecrits inédits de Talleyrand»), p. 275.

⁶ «Mélanges», p. 190—192.

⁷ См. отрывок из неизданной рукописи Ремюза, опубликованной в «Mélanges» на стр. 196—199.

⁸ Sainte-Beuve. Monsieur de Talleyrand, p. 229.

⁹ Перевод поэта-революционера М.И. Михайлова, погибшего на каторге в 1865 г.

¹⁰ Здесь слово «l'impatience» означает скорее «раздражение», чем «нетерпение».

¹¹ В очень хорошем переводе «Парижских писем» Людвиг Бёрне, изданных Гослитиздатом в Москве (1938), оно помещено на стр. 148—149.

¹² «Le public de Paris, — ajoutait mon père — s'il entend parler d'une bassesse ou d'une trahison utiles, s'écrie: Bravo, voilà un hon tour à la Talleyrand, et il admire» (Stendhal. Lucien Leuwen, t I, p. 110).

¹³ Stendhal. Lucien Leuwen, t. I, p. 114. «...Je ne puis vivre avec des hommes incapables d'idées fines, si vertueux qu'ils soient; je préférerais cent fois les moeurs élégantes d'une cour corrompue. Washington m'eût ennyé à la mort, et j'aime mieux me trouver dans le même salon que M. de Talleyrand».

¹⁴ Stendhal. Correspondance, t. V, p. 149. A baron de Mareste, le 22 avril 1818.

¹⁵ Louis Blanc. Histoire de dix ans 1830—1840, t. V. II-ème édition. Paris (s.d.), p. 265.

¹⁶ «On heroes, hero-worship and the heroic in history». Книга Карлейля вышла в 1841 г. Она была переведена на русский язык под названием: «Герои и героическое в истории».

¹⁷ G. Ferrero. La reconstruction. Talleyrand à Vienne, 1814—1815, Paris, 1941.

¹⁸ А.И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией Н.К. Лемке, т. III, стр. 405.

¹⁹ А.И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем редакцией Н.К. Лемке, т. III, стр. 125.

²⁰ «Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles», t. III, p. 458.

Содержание

ГЛАВА I

Талейран — дипломат раннего буржуазного периода 5

ГЛАВА II

Талейран при «Старом порядке» и революции 16

ГЛАВА III

Талейран при консульстве и Империи 80

ГЛАВА IV

Талейран и реставрация Бурбонов.

Парижский мир 30 мая 1814 г. 147

ГЛАВА V

Талейран на Венском конгрессе.

Сто дней.

Сентябрь 1814 г. — июнь 1815 г. 193

ГЛАВА VI

Министерство Талейрана — Фуше.

Второй Парижский мир

9 июля — 24 сентября 1815 г. 240

ГЛАВА VII

Талейран в отставке

24 сентября 1815 г. — 6 сентября 1830 г. 261

ГЛАВА VIII

Талейран при июльской монархии.

Посольство в Англии.

Последние годы

6 сентября 1830 г. — 17 мая 1838 г. 288

Комментарии 331

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

В Москве:

- м. «ВДНХ», г. Мытиши, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL-2», т. (495) 641-22-89
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (499) 267-72-15
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Маяковская», ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 8, т. (495) 251-97-16
- м. «Менделеевская», ул. Новослободская, д. 26, т. (495) 251-02-96
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, стр. 1, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, т. (495) 306-18-97
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (495) 977-74-44
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТРК «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, т. (495) 229-97-40
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, корп. 1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Иридиум», Крюковская площадь, д. 1

В регионах:

- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Екатеринбург, ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, д. 50, т. (343) 216-55-02
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 71-85-64
- г. Краснодар, ТЦ «Красная площадь», ул. Дзержинского, д. 100, т. (861) 210-41-60
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, т. (3912) 23-17-65
- г. Новосибирск, ТЦ «Мега», ул. Ватутина, д. 107, т. (383) 230-12-91
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ТЦ «7 пятниц», ул. Революции, д. 60/1, т. (342) 233-40-49
- г. Ростов-на-Дону, ТЦ «Мега», Новочеркасское ш., д. 33, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, ТЦ «Виктория Плаза», т. (4912) 95-72-11
- г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 185, т. (812) 766-22-88
- г. Самара, ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, д. 30, т. 8(908) 374-19-60
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Уфа, пр. Октября, д.26-40, ТРЦ «Семья», т. (3472)293-62-88
- г. Чебоксары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д. 105а, т. (8352) 28-12-59
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88а, т. (8202) 53-61-22

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой» или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосквовью:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Научно-популярное издание

Тарле Евгений Викторович
Талейран

Компьютерная верстка: О.С. Попова
Технический редактор О.В. Панкрашина

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 — научная и производственная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.09 г.

ООО «Издательство АСТ»
141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

ООО Издательство «АСТ МОСКВА»
129085, г. Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru

Шарль-Морис де Талейран-Перигор.

*Выдающийся европейский политический деятель
конца XVIII — первой половины XIX вв.*

*Его имя стало нарицательным для определения
гениального и циничного политика-конформиста,
с легкостью меняющего взгляды и убеждения
и процветающего при любом политическом режиме.*

*Он вовремя признал революцию, свергнувшую
монархию. И так же своевременно встал
на сторону набравшего силу Наполеона,
а потом — примкнул к противникам императора.*

*Талейран сохранял добрые отношения с Англией
даже в эпоху Наполеоновских войн, блистал
во время Реставрации Бурбонов, но предал
и их незадолго до падения.*

*Е.В. Тарле, обратившийся к образу Талейрана
в своем известном историческом исследовании,
отвечает на вопрос — что же руководило
этим человеком? Беспринципность, доведенная
до высокого искусства? Или политическая
дальновидность и обостренное чувство
реальности?*

www.elkniga.ru

ISBN 978-5-17-057577-0



9 785170 575770